
Некод Зингер
МАНДРАГОРЫ



Salamandra P.V.V.

Некод
ЗИНГЕР

МАНДРАГОРЫ

Роман

Salamandra P.V.V.

Зингер Н.

Мандрагоры: Роман. Обл. Г.-Д. Зингер. – Б.м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 408 с. – (Иерусалимский архив).

Новый роман израильского писателя и художника Некода Зингера – фантасмагорическая, написанная в стиле «магического реализма» история о маленькой плантации мандрагор и ее влиянии на тела и души обитателей Иерусалима середины 1880-х годов. Впрочем, герои этого романа-коллажа (не последнюю роль в нем играют отрывки из палестинских еврейских газет того времени) – не столько волшебные растения, сколько, по словам израильского литературоведа проф. Р. Кацмана, люди-мандрагоры, «дарящие друг другу свою страсть – эротическую, творческую, магическую, мессианскую. Это “конструктор конца времен”, размышление о женской и мужской жажде плодородия, медитация на “Песне песней” о кабалистическом единении всех начал и любовей, притча о мученике языка – переводчике... И наконец, это роман-исследование о возвращении мандрагор-возлюбленных в Землю Обетованную, в их неонативную цивилизацию, буйно цветущую разнообразными языками, красками, лицами, одеждами, а главное – иерусалимскими “прожектами”, столь же гениальными, сколь и безумными, составляющими особую разновидность иерусалимского синдрома».



МАНДРАГОРЫ

Гали-Дане

שָׁם אֶתֵּן אֶת-דֹּדַי לָךְ

I

Глава, в которой читатель знакомится с кварталом Бейс Яаков и с тремя его жителями, а также узнает кое-что о чудном растении

– «There will I give thee my loves»[1], – бормочет Гедалья Бухбиндер, с заметным раздражением водя пальцем по раскрытой на «Песни Соломона» Библии короля Иакова, которую доктор Файн, при последнем визите, преподнес ему, с видом заговорщика.

– Вот именно: «loves»! – легонько усмехается Гедалья в коротко подстриженную бородку. – Сколько их у нее, этих любовей? А сколько ни есть – все отдаст ему... О-хо-хо... Дальше еще веселее. «The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant fruits, new and old, which I have laid up for thee, O my beloved»[2].

Тут, впрочем, с него взятки гладки. Как ни страдает он от явного несовершенства перевода, у него нет намеренья его переделывать. Достаточно мучений с другими языками. Семьдесят мудрецов, под страхом смерти вынужденные переводить Писание на язык эллинов, не страдали так, как страдает Гедалья Бухбиндер. Чего, например, стоит русский: «Там дам я ласки свои тебе. Мандрагоры испустили запах, и у дверей наших всякие плоды, новые и старые, для тебя сберегла я, возлюбленный».

– «Припрятала» что ли? Или вообще «попридержала»... Ха!

---

[1] *There will I give thee my loves* – Там отдам я тебе любови мои (*англ.*). – *Здесь и далее прим. авт.*

[2] *The mandrakes give a smell, and at our gates are all manner of pleasant fruits, new and old, which I have laid up for thee, O my beloved* – Мандрагоры дали запах, и у наших ворот все разновидности приятных плодов, старые и новые, что я сберегла для тебя, возлюбленный мой (*англ.*)

Бухбиндер смотрит на сидящую рядом жену и широко улыбается.

Авигайль этого не видит. Она погружена в чтение:

Растет и строится Святой Град Иерусалим, выйдя за грубо очерченные пределы крепостных стен султана Сулеймана, в коих хоронился, окруженный кишащей разбойниками степью. Сперва робкими шагами двигался он, примеряя каждый новый настороженный шаг свой к сулящему сплошные угрозы окружению. Жители иерусалимские, от иудеев до греков и от латинян до магометан, долгие века страдали тяжким недугом боязни открытого пространства, коему лишь недавно немецким доктором Карлом Вестфалем присвоено было ученое название «агорафобия». Да и то сказать, страшна была земля вокруг Иерусалима, да и ныне остается такою. Но чем долее, тем смелее стали двигаться горожане за пределы укрепленного гнезда своего.

Множество перемен, больших и важных, происходит в Иерусалиме. Русские возвели вблизи города большое и роскошное Сергиево подворье. Немецкие протестанты построили сиротский приют г-на Иоганна Людвига Шнеллера с церковью, мастерскими и странноприимным домом. Греки прикладывают руку ко всякому земледелию. Армяне купили большой луг и к нему весьма большой дом. Евреи же, начав два десятилетия назад строить многочисленные здания на горе Сион для бедноты и под странноприимные дома, на том не остановились. Под эгидой достославного благотворителя, сэра Моше Монтефиоре, построен был квартал Мишкенот Шаананим, за коим последовали Нахалат Шива, Бейт Давид, Маханэ Исраэль для выходцев из Магриба, именуемых в Земле Израиля «западными», и Меа Шеарим для приверженцев литовских ешив.

И ежели все общины сии идти будут таким путем и не устанут, границы Святого Града весьма расширятся в самое краткое время. А буде присоединится к сему строительство железных путей из Яффы, произойдут в нем перемены великие, не снившиеся прежде жителям его.

Авигайль любит пересматривать и перечитывать старые и новые газетные заметки, репортажи, письма в редакцию и различные печатные рассуждения, именуемые «фельетонами», которыми ныне изобилуют наши издания, с легкой руки господ Йоэля Моше Соломона и Исроэля Дова, печатающиеся на языке Эвера. Она собирает все это уже не первый год и хранит в бордовом кожаном бюваре.

Вырезка семилетней давности отправляется в бювар. Госпожа Бухбиндер искоса посматривает на мужа. Больше всего на свете ей хочется, чтобы он поскорее закончил свои переводы страстной песни древних времен. На дворе ночь. Она стосковалась по теплу его тела.

– Dort will ich dir meine Liebe schenken?[3] – с вопросительной интонацией произносит Гедалья, глядя на жену. Их взгляды встречаются, и оба одновременно разражаются долго сдерживаемым смехом. Гедалья машет рукой и делает запись графитным карандашом на листе бумаги.

– Так-то, сударыня, – говорит он, сердито сдвинув брови. – «Die Alraunen geben ihren Duft, und an unserer Tür sind allerlei köstliche Früchte, frische und alte, die ich, mein Geliebter, dir aufbewahrt habe»[4]. Да нет же, нельзя чтобы были Alraunen, это проклятье какое-то! Звучит зловеще и сразу представляется какая-то нечисть. Liebesfrüchte[5], что ли? Нет, там другие Früchte! Боже мой, что за мучение!... Liebesäpfel?[6] Надо еще подумать...

С итальянским языком выходит как-то более складно: «là ti darò il mio amore. Le mandragore mandano profumo, alle nostre porte c'è ogni specie di frutti squisiti, freschi e

---

[3] *Dort will ich dir meine Liebe schenken?* – Там дам я тебе свою любовь? (*нем.*)

[4] *Die Alraunen geben ihren Duft, und an unserer Tür sind allerlei köstliche Früchte, frische und alte, die ich, mein Geliebter, dir aufbewahrt habe* – Альрауны уже испустили свой аромат, и у нашей двери все виды вкусных фруктов, свежих и старых, которые я, моя любовь, сохранил для тебя (*нем.*)

[5] *Liebesfrüchte* – любовные плоды (*нем.*)

[6] *Liebesäpfel* – любовные яблоки (*нем.*)

secchi: amato mio, li ho conservati per te»[7]. Хоть сейчас в уста оперной примадонны...

Больше всего он хотел бы все бросить и утащить жену на новую кровать. Что за кровать! Пружинная, да не скрипит, а стонет. Сладострастная кровать. Ах, как бы она стонала до самого восхода солнца, будь их воля! Но чуть свет нужно сдавать заказ.

Новый житель квартала Бейс Яаков[8] мечтательно поглаживает новый письменный стол. Впервые в жизни у него есть письменный стол, и это настраивает на глуповато-торжественный лад. По правую руку от него сидит обожаемая жена, жена юности его, подносит близко к большим усталым глазам пожелтевший газетный лист. Десять лет они вместе. Десять лет дух его норовит вырваться из тела, когда он видит, как она приближает к глазам лист бумаги, как движутся вдоль строчек глазные яблоки, как легко трепещут пушистые ресницы, как иногда едва заметно приоткрываются мягкие бледные губы, как нервные пальцы проводят по тому месту на шее, где завивается выбившаяся из туго собранного пучка тонкая каштановая прядка. Десять лет они вместе, Гедалья и Авигайль. Десять лет – молодая парочка без детей. По старой доброй традиции – самое время дать бесплодной жене развод. Десять лет, словно во сне. Вот уже и дом у них теперь свой собственный, как положено по уставу товарищества «Архавас а-боним»[9], утвержденному отцами-основателями. Конечно, реб Мойше Граф из Брянска, реб Лейзер Камениц, реб Шлойме Залман Бааран, реб Шмуэль из Березина, реб Ицхок Меир из Ставика и реб Йосеф Биньомин из Слонима вправе со всей строгостью требовать от них прибавления семейства. Каждый ев-

---

[7] *Là ti darò il mio amore. Le mandragore mandano profumo, alle nostre porte c'è ogni specie di frutti squisiti, freschi e secchi: amato mio, li ho conservati per te* – Там я дам тебе свою любовь. Мандрагоры испускают аромат, у наших дверей все виды вкусных фруктов, свежих и сушеных: возлюбленная моя, я сохранил их для тебя (*ит.*)

[8] *Бейс Яаков* – Дом Иакова (*ашкеназский иврит*).

[9] *Архавас а-боним* – Распространение строителей (*ашк. иврит*).

рей обязан внести свой вклад в общую копилку – родить сынов и дочерей. Но в них все еще, видимо, верят, раз согласились продать дом о двух комнатах на гуманных условиях товарищества, «не делая различий между великим и малым, богатым и бедным».

В первые годы замужества Авигайль еще спрашивала Гедалью, не страдает ли он оттого, что у них все нет детей, не мучает ли его то же самое чувство, которое не давало покоя праотцу Аврааму. И Гедалья в свою очередь спрашивал жену, не терзает ли ее тревога праматери Сарры, не находившей себе покоя, пока не закончилось у нее «обычное женское». Но, поскольку оба они в ответ на эти осторожные расспросы всякий раз отвечали шутками, с особой нежностью улыбаясь друг другу, а страстные ночи, отнюдь не превращавшиеся с годами в привычное исполнение супружеского долга, не меняли положения вещей, тема потомства постепенно почти исчезла из их разговоров. Избавленные от традиционных сыновних тяжб о первородстве и дочерних капризов, Гедалья и Авигайль изредка возвращались к вопросу о деторождении только под влиянием внешних обстоятельств, спровоцированные нескромным вопросом соседки или поднятой в печати кампанией. И тогда у Авигайли, не привыкшей лезть за словом в карман или рыться в комментариях древних мудрецов, находилось, что сказать по этому вопросу.

– Авраам был великим человеком и шел впереди своего времени, – однажды заявила она. – Но и его величия оказалось недостаточно. Он совсем немного не дотянулся до той цели, которую поставил перед ним Всевышний. В те времена, когда род определял все представления людей о жизни, он продолжал держаться за него, как... как... обычный патриарх. Хотя свыше ему постоянно указывали на то, что его путь – иной, что его отцовство должно быть иным, что ему суждено стать духовным отцом всем тем, кто заходит в его шатер. Если бы он это понял, то мир, возможно, был бы спасен еще в те далекие дни, люди стали бы не зловредными завистливыми братьями, а добрыми друзьями, и история приняла бы совсем другое направление. Но он

продолжал вымаливать себе кровного потомка. А Всевышнему свойственно посылать своим возлюбленным то, о чем они просят, если уж они так упираются, что не понимают даже самых ясных намеков. Ты этого хотел, Авраам? Пожалуйста! Только потом, будь любезен, не рви на себе волосы, наблюдая за тем, к чему все это привело...

Такую лекцию прочла Авигайль своей подружке Двойре, с которой они бок о бок, дверь в дверь росли в Старом Городе и с которой вновь оказались соседками в новом квартале, той самой Двойреле, засидевшейся в девушках до двадцати семи лет, пока не сосватали ее за колченогого ешиботника Реувена Вильденштейна, прозванного в насмешку «Верх Достоинства и Верх Могущества». И эта Двойра, едва вышедши замуж за своего красавца, с первой же недели стала страдать, что все никак, с Божьей помощью, не затяжелеет – ведь ей уже столько лет! А эта «образованная» выскочка, эта «мадам Бухбиндер» позволила себе отвесить ей такую звонкую оплеуху...

Но сейчас речь не о Двойре и не о ее муже, хотя очень скоро они вновь появятся в нашем повествовании. Сейчас, если вы еще не забыли, речь идет о довольно приятных вещах, вошедших в жизнь Гедальи и Авигайли Бухбиндер: о собственном доме, о пружинной кровати, о письменном столе, о керосиновой лампе...

У самой двери, на вешалке для верхней одежды, восседает деревянная кукла, которую Гедалья считает своим alter ego[10] и называет его, в зависимости от настроения, то Полишинелем, то Пульчинеллой, то Карагезом, то Кара-Георгием, то Петрушкой, то Каспаром, то, в самом ласковом расположении духа, – Кашпареком.

Чего еще требовать от жизни? «Его виноградник у него при себе». Все, конечно, суета сует и всяческая суета, но это уже из другой книги того же автора. А он сейчас там, где «носильный одр сделал себе Шломо из дерев Ливанских, столпцы его из серебра, локотники его из злата, седалище его из пурпуровой ткани». Этого приподнятого настроения

---

[10] *Alter ego* – Второе «я» (лат.)

он немного стыдится, но слишком скоро расставаться с ним не желает: когда еще у него возникнет новый повод чувствовать себя царем? Письменный стол! Вообразите: письменный стол в новом доме! Стоит тот дом в самом центре возвышенности с южной стороны Яффской дороги, а за ним еще один ряд домов – пограничная застава перед бескрайними областями кочевников-бедуинов и крестьян-феллахов. Йемениты, потомки царя-сластолюбца Шломо и мудрой царицы Шебы, явившиеся два с половиною года назад в Святой Град с крайнего юга далекой Аравии, как увидели на въезде в Сион этот передовой отряд каменных городских стражей, эти новенькие одноэтажные домики, выросшие посреди сурового безлюдья гор Иудейских, – упали ниц в дорожную пыль и долго проливали в нее горячие сладкие слезы счастья...

Смех и слезы. Вот именно, смех и слезы вокруг нас. Это почему, дамы и господа? Откуда столько эмоций? Разве все кругом такое уж уморительно смешное и нестерпимо грустное, что и сдержаться невозможно? Нет бы, взирать направо и налево с философским равнодушием и выдержкой стоиков. Куда там! Автор и сам пробовал – не получилось. Помнится, начал он как-то писать нечто хладнокровно-созерцательное, да на середине первой же страницы и скис – так ему тоскливо стало, что едва не разрыдался и, увидав себя со стороны этаким Иеремией, долго еще хохотал от души. Нет, эти языческие доблести не для нас...

Всякий раз, въезжая в Иерусалим или только приближаясь к нему, он испытывает какой-то совершенно необъяснимый подъем чувств, словно сейчас непременно случится с ним нечто такое, чего ранее ни с кем не случалось. А ведь все это – сплошной обман чувств, тем более нелепый, что повторяется раз за разом, вопреки постоянным разочарованиям.

Вот и начало работы над новой книгой можно сравнить со въездом в Сион. Первые абзацы ее напоминают только что выросшие на пустом месте дома квартала Бейс Яаков, а самого автора можно уподобить... Впрочем, не стоит увлекаться метафорами и сравнениями, не то авторскому красно-

речию конца не будет, и мы никогда не узнаем, что же такого происходило в этом месте и в это время с этими и другими людьми, и не поймем, действительно ли было тут что-то заслуживающее нашего внимания. Как говорится на жаргоне: «Вос цу из иберик» [11].

Кстати сказать, смешнее всего «Песнь Шлоймэ» звучит именно на жаргоне, на тайч-идиш: «Дорт вэл их шенкен майн либшафт цу дир. Ди мандрайк лозен дуфт аройм, ун бай ундзер тойерн зэнен алэ тхиере пейрос, фрише ун алте, их хоб бахалтен фар дих, гелибтер».

– И рисуночек нарисовать соответствующий: а шэйне мэйделе ун ешиве бохур[12] под ручку! – в голос хохочет Гедалья. – Ну, реб Довид порадуется!

Остался только французский перевод. Tres bien[13]…

Во всем квартале Бейс Яаков, населенном сплошь людьми необыкновенными, сынами и дщерями Яакова, каждый из которых мог бы занять достойное место среди самобытных персонажей книг Царств и Судей Израилевых, и даже, не сочтите за дерзость, самой книги Бытия, нет человека более многостороннего, наделенного талантами и дарами многими, но при том и более скептичного, чем Гедалья Бухбиндер.

– Он не скептик, но притворяется скептиком, – добавляет свой комментарий Авигайль. – Иногда даже циником. Но не верьте ему! На самом деле он – дитя малое.

И автору этих строк остается только почтительно склонить голову в знак полного согласия. Вы уже успели заметить, что комментарии Авигайли неизменно свежи и оригинальны. Мы еще не раз прибегнем к ним в этой летописи, как прибегают к ключу чистой и студеной родниковой воды утомившие и иссушившие празднословием уста свои. Видимо, пора ей и самой начать писать фельетоны в газету. А то и что-нибудь более существенное, чем фельетоны.

---

[11] *Вос цу из иберик* – Все, что [сверх того], излишне (*идиш*).

[12] *А шэйне мэйделе ун ешиве бохур* – барышня-красавица и ученик ешивы (*идиш*).

[13] *Tres bien* – Очень хорошо (*фр.*).

Мнимый скепсис Гедальи Бухбиндера проистекает от ежедневного столкновения с глухим невежеством и узостью горизонтов великого множества его земляков и современников. Он, однако, как пристало истинному мудрецу, познавшему тщету и суету жизни, старается не роптать и ищет утешения в жене юности своей. Мало того, что ищет, но еще и находит постоянно. А это, согласитесь, отнюдь не каждому дано.

Подобно нашим древним мудрецам, с которых не мешало бы и нам иногда брать пример, он форменный полиглот, иными словами – с молодых ногтей овладел языками и наречиями многих народов. Где он только не учился всему понемногу! Пообтрепал ботинки о парижские мостовые, побывал и в Риме, и в Берлине, и в Праге. Смелые пробы пера в разнообразных жанрах, занимающие в его жизни все больше и больше места, вызваны не столько стремлением к дополнительному заработку, сколько творческими порывами и благородным желанием к просвещению великого, но до поры дремлющего народа, к которому сам он имеет неосторожность принадлежать.

Некоторые жители Святого Града, особенно усердные в вере отцов, считают, что Гедалья и его жена, не про нас будь сказано, апикойресы, то есть, опасные вольнодумцы, косящие в сторону нечестивых язычников, ибо, хоть и не замечены были в прилюдном нарушении субботней святости, но позволяют себе, что он, что она, читать подозрительные книжки. А еще они говорят на святом языке по будничным поводам, к тому же, на испанский манер, то есть, акая на «камац», упирая на «тав» без «дагэш» и норовя где только можно поставить ударение на последнем слоге. Да и не только говорят, но даже и молятся таким манером, словно среди сефардов в Оэль Моше, смущая всех верных литовской традиции прихожан Бейс Ми́драш, который, конечно, у них Бейт Мидра́ш[14], не иначе. Среди книг на его столе, ничуть не смущаясь, не только расположилась некошерная англий-

[14] *Бейс Ми́драш… бейт мидра́ш* – дом учения (*иврит, ашкеназ. и сефард.*)

ская Библия, но и красуется новенький первый том Оксфордского Энциклопедического Словаря, чьи страницы еще пахнут свежей типографской краской, да и прочие издания, без которых порядочному еврею было бы гораздо проще прожить свой добрый век и чинно приложиться к народу своему. Сам Бухбиндер, как уже было замечено, коротко стрижет бороду, а благоверная его, если и покрывает голову, то не иначе как парижской шляпкой.

Если уж упомянули мы тут бородку и шляпку, то читатель наш потребует, пожалуй, и полного описания наружности наших героев. И что тут делать автору, не желающему никого разочаровывать? Положение его весьма опасно. Ведь наиболее ретивые читатели и особенно читательницы, верно, уже представили себе внутренним взором и Гедалью, и Авигайль, и теперь, чего доброго, станут возражать автору, если тот скажет, что герой его росту среднего, черноволос и нос имеет весьма длинный и с горбинкой, а героиня наделена интересной бледностью, чудо как хороша собой и немного близорука. Но куда от правды денешься? Лучше хоть на этих общих замечаниях остановиться и не раздражать вас дальнейшими подробностями. Потом как-нибудь, в другой раз... Пока же замечу, что молодая госпожа Бухбиндер страдает мигренями, и это заставляет супругов знаться с докторами, а более всего с доктором Файном, выкрестом из англиканской миссии, от которого, впрочем, как и от всех других опытных эскулапов, ее голове здоровья ничуть не прибавляется.

Господин Фрумкин, стоящий во главе газеты «Хавацелет» (сиречь, «Лилия»), некоторое время пользовался плодами гедалиева пера. Когда же выписанный им из Парижа, словно новый патентованный печатный станок, Элиезер Бен-Йегуда ушел от него и начал под эгидой Ицхока Гиршензона издавать своего собственного «Оленя» (на святом языке: «А-цви»), вольнодумством затмившего «Лилию», Гедалья стал писать для этого издания.

А известно ли любознательному и просвещенному читателю, что господин Бен-Йегуда, в прежней жизни Лейзер Ицхок Перельман, вел долгую переписку с властями, пы-

таясь добиться для своей газеты права называться «А-ор» («Свет»), но все его прошения были встречены в штыки, ибо название сие представлялось туркам чрезмерно дерзким и вольнодумным? «Оленем» же нарек он свое детище, как говорится, не от хорошей жизни, не из любви к фауне в пику флоре господина Фрумкина, но в знак искренней благодарности господину Гиршензону, чья фамилия на жаргоне означает «сын оленя». Если же, как и предполагал автор, вам это ранее известно не было, то уж теперь-то положение коренным образом изменилось. Много еще, по мере чтения этой книги, станет известно нашему читателю, о чем ранее не имел он ни малейшего представления. И в этом просвещении жадной до знаний публики автор видит высокое предназначение всякого homme de lettres[15], что роднит его и с Гедальей Бухбиндером, и с издателями и редакторами наших прогрессивных газет.

Не ждите, однако, ни от автора, ни от персонажей его раскрытия всех тайн бытия, опознавания всех знаков и расшифровки всех шифров, которыми изобилует наша удивительная эпоха и то исключительное место, в котором мы живем. Вспомните Уильяма Шекспира, устами Гамлета, принца датского, заметившего, что отнюдь не все на этом свете известно нашим мудрецам, да будет их память благословенна. Автор убежден, что, чем более станет открываться роду человеческому сокровищница ранее скрытых знаний, тем больше новых загадок и тайн будет вставать перед его ненасытным умом. Да и вам, вероятно, ведомы такие вещи, о которых ни автор, ни герои его понятия не имеют. Так что ваш покорный слуга не обольщается и не примеряют на себя облачение всезнайки. Да и с чем можно сравнить жизнь, в которой не осталось места для тайны? С...

Вот ведь, как назло, никакое остроумное сравнение на ум не идет. А вертится, почему-то, только «Песах без мацы», что совершенно тут и ни при чем. Следовало бы подать мысль господину Бен-Йегуде, чтобы объявил в своей газете

---

[15] *Homme de lettres* – литератор (*фр.*)

конкурс на лучшую притчу по этой теме. Непременно завтра же с ним переговорю!

– С юбкой, под которой совсем ничего нет, кроме пустоты, – подсказывает Авигайль.

Что за мужской ум! Победа в газетном конкурсе непременно досталась бы ей, не будь наша публика в большинстве своем столь ханжески настроена.

Опять-таки, возвращаясь к газетам: даже двум столь достойным изданиям, как «Лилия» и «Олень», дано осветить лишь ничтожно малую часть реальности, что нисколько не умаляет важности всех тех газетных вырезок, которые сберегает на память Авигайль Бухбиндер.

Господин Бен-Йегуда весьма поощряет переводы различных иностранных сочинений на возрождающийся язык Эвера, справедливо считая, что редко какое упражнение поможет обогащению и оттачиванию развивающегося языка более, чем поиск слов и выражений, способных передать новые понятия, ранее в нем отсутствовавшие, если при том используются великие возможности его живородных корней.

Не так давно, исключительно для собственного удовольствия, взялся Бухбиндер за перевод старинного итальянского сочинения, весьма фривольной комедии для театра Никколо Макиавелли «Mandragola»[16]. Случайным толчком к тому послужил специальный интерес к этому растению одного из соседей, о чем речь пойдет ниже. В Святом Граде, конечно, нет, не будет и не может быть такого языческого заведения, как театр, что бы там ни придумывали господа вроде Шертшпирера, Гольдфадена, Исроэла Аксельрода, Фальковича, Могулеско и иже с ними. Иерусалим это вам не Бухарест и не Одесса, и даже поучительные драматические сочинения самого рабби Моше Хаима Луцатто, написанные полтора века назад и безупречные в моральном смысле, не увидят у нас, как говорится, огней рампы. Что уж говорить о комедии безнравственного интригана эпохи Возрождения! Возрождения чего? Греко-римского идолопоклонства. Доста-

[16] *Mandragola* – мандрагора (*ит.*)

точно и одной цитаты из этой комедии, чтобы понять, о каком этическом поучении тут идет речь, и догадаться, что ей не видать у нас не только сцены, но и печатного станка. Вот, например, такой пассаж, только что переведенный нашим просветителем:

> Каллимако*. Только учтите, что первый мужчина, который с ней сойдется после того, как она примет питье из мандрагоры, помрет в течение восьми дней, и ничто уж его не спасет.*
>
> Нича. *Тьфу! Не желаю такого угощения! Как бы не так! В хорошенькое дело вы меня втравливаете!*
>
> Каллимако. *Уймитесь, от этого есть противоядие.*
>
> Нича. *Какое?*
>
> Каллимако. *Немедленно подложить к ней другого мужчину, который, переспав с ней ночь, всю заразу от мандрагоры принял бы на себя. И потом уж вы будете совокупляться с ней совершенно безопасно.*
>
> Нича. *Я этого не желаю!*
>
> Каллимако. *Почему?*
>
> Нича. *Потому что не желаю, чтобы моя жена стала шлюхою, а я рогоносцем.*
>
> Каллимако. *О чем вы, доктор? А я вас считал человеком разумным. Вы не решаетесь сделать то, на что отважился сам король Франции и множество вельмож!*

Читатель просто обязан воздать должное усилиям автора, вынужденного ради его удовольствия также взяться за перевод с итальянского, чтобы не одолжаться у господина Островского, недавно переведшего всю комедию с французской версии Луи Жаколио. Сил у него на это, впрочем, мало, хоть на русский язык переводить, может быть, и легче, чем на еврейский. Так что большего, чем этот отрывок, он вам представить не может. Но и по такой малости нетрудно вообразить, какие последствия ожидают здесь переводчика и издателя, буде таковой сыщется...

Сейчас, пока автор вот так легкомысленно болтает со своими читателями, повсюду на земле между тридцатым и сороковым меридианами восточного полушария поздний вечер, следовательно, и в квартале Бейс Яаков, где принято экономить керосин, царят тишина и покой. Большинство его жителей уже легли спать, а если некоторые, вроде Гедальи Бухбиндера, еще не погасили лампы, то, видимо, заняты какими-то особенно важными тихими делами, не дающими им сомкнуть глаз.

За пять лет в квартале Бейс Яаков выстроено, с Божьей помощью, уже без малого тридцать домов из семидесяти намеченных, в память семидесяти сынов Яакова, сошедших в землю Египетскую, как о том сказано в Писании: «Всех душ дома Яакова, пришедших в Египет, семьдесят». Добавьте к этим жилым домам большой общий колодец, общинную пекарню и великолепный дом учения и молитвы. А посреди квартала имеется даже дерево. Не древо познания добра и зла, Боже упаси, – просто фиговое дерево. Никто его там не высаживал, оно, казалось, росло там испокон веков, и квартал рос вокруг этого дерева, не пренебрегая плодами его, по примеру наших древних предков. Первый из построенных домов так и прозвали – «дом у дерева». Так вот, если быть совершенно точными, то кроме драгомана из восемнадцатого дома, что-то выписывающего графитным карандашом на лист бумаги из обратного немецко-древнееврейского словаря Йегуды Лейба Бен Зеева «Ozer Haschroschim»[17] в старинном венском издании Антона Шмида, и кроме Авигайли, пристроившейся за тем же письменным столом со своей коллекцией газетных вырезок, во всем квартале долго не спал только один человек, живущий прямо напротив, в «доме у дерева», да и тот уже успел заснуть, пока мы рассуждали о душах дома Яакова.

Заснул реб Довид. Смежил очи над раскрытым трактатом «Ирувин». Тяжелая голова его склонилась на руку, пятерней распластавшуюся поверх темных столбцов, что усеяли изжелта-белый участок просторного виленского фолио

---

[17] *«Ozer Haschroschim»* – «Помощник корней» (*иврит*).

и глаголют загадками под видом разъяснений. Усталые очи за стеклами неснятых очков смежены, не в пример единственному вечно бдящему и надзирающему оку Хранящего Израиль. Спящий реб Довид являет собой весьма примечательную фигуру: левая рука свесилась к полу, ища и не находя опоры, так сказать, в твердом грунте, правая – легла на книгу, захватив беспочвенный надел столбцов и пробелов, голова прижалась раковиной правого уха к тыльной стороне правой ладони – воплощенная аллегория «сделаем и услышим», чуть выдающийся средний палец, словно указка, касается ногтем комментария Раввы:

«Мандрагоры испустили запах» – это сыны Израиля, не пробовавшие вкуса греха, «и у врат наших всякие плоды превосходные» – это дщери Израиля, открывшие врата свои мужьям своим...

И снится реб Довиду сон. В этом сне он идет по бесконечному, плоскому, как раскрытая книга, участку, поросшему прерывистыми рядами каких-то низкорослых растений с обширными сморщенными листьями. Пустырь, пустошь. Не розетки травянистых растений – буквы без звука, складывающиеся в слова без смысла, в длинные фразы без начала и конца.

– Где конец одного стиха и где конец другого, и где конец третьего? Где? – спрашивает идущий среди молчащих строчек. – Где толкование и где ответ на толкование? Где рейша и где сейфа[18]? Где?

Но кого он спрашивает? Кто может дать ему хоть какой-то ответ, неважно, мудрый ли, бестолковый ли? Куда они все скрылись – Мальбим, Рамбам, Маарша, Сфорно, Рабейну Бахья и прочие мудрецы-толкователи?

Пустошь, плоская, как раскрытая книга, и бескрайняя, как владение Царя над царями царей. Пустыней назвал бы

---

[18] *Рейша и сейфа* – буквально: голова и конец (*арам.*) – вводный и заключительный параграфы мишны, а также в целом – начало и конец высказывания.

ее бредущий вдоль строчек немых восклицаний, когда бы не знал, что пустыня не только внемлет, но и говорит. То Богу внемлет, то человеку пересказывает и перетолковывает Его волю. А тут такое безмолвие, что каждый шаг должно засчитать ему за сорок шагов, если не более того.

– Это, – отвечает себе спящий реб Довид, – нерожденный народ Израиля, немой, бесформенный, бесчисленный, как песок на берегу морском. Бессчетное множество немых букв. Темно-зеленые сморщенные тела, безмолвно и безропотно ждущие, когда войдут в них светлые, обретшие звучание души. Глубоко сидящие в земле еврейские тела без голоса и движения. Нет у них плодов превосходных. Лишь тогда, когда вдохнет в них Святой Израиля неприкаянные, беспочвенные души, витающие по четырем сторонам света, воспрянут немые тела иерусалимской пустоши. Заговорят, словно читая по книге, словно следуя за указкой по рядам свитка, каждая буква в свой черед, соединятся в точнейшие слова, у каждого из которых несчитано значений, в глубокие звучные фразы – череда за чередой, заговорит лист виленской Гемарры, засеянный семенами сгущенных смыслов. Двое станут комментировать третьего, ссылаясь на радостную весеннюю песнь далекого друга. И за берегом морским появится море. И в море увидим мы великую рыбу Левиафана.

И вот одно из бесчисленных неподвижных и немых растений с громким воплем выскакивает из земли, прямо изпод ног реб Довида, и принимается голосить, потрясая воздетыми зелеными руками-крыльями и топая кривыми бледными корнями-ножками, торчащими из короткого кособокого тельца:

– Я – алеф, бейт, гимел и далет вашей святой речи, рейш и тав ее, вав, заин и хет вашего дневного сознания, тет ночных страхов, йуд и шин последнего дня творения, мем жидкостей вашего общего тела, детородный аин вашей взаимной снисходительности, нисходящей и восходящей по ступеням облачным. Я вышел в поле и обрел поле. Пустите меня на свет Божий!

Тут же все растения срываются с мест своих и кидаются бежать в сторону далекого, невидимого моря. И под мерный шелест призывных речей человека-растения, под непрерывный топот коротких кривых ножек бесчисленных повстанцев и под взмахи их больших сморщенных крыльев спит реб Довид и во сне строит великие планы.

Он, с недавних пор, сильно изменился, словно стал совсем другим человеком. И сны его, и явь, ранее бывшие такими простыми и будничными, начали больше походить на легендарные истории, рассказанные нашими древними мудрецами. Тот еврей, которым был реб Довид Фридляндер еще два года назад, словно исчез из этого мира, из сердца его – Святого Града и из тех исторических хроник, которые пишут ныне газеты господ Фрумкина и Бен-Йегуды. А на его место в этом мире, в этом городе и в этих хрониках заступил какой-то иной субъект – вроде и реб Довид, а вроде и нет – полный совершенно новых идей, грандиозных планов и еще большего воодушевления.

Приветствуем тебя, собрат наш в обществе прожектеров Святого Града Иерусалима! Добро пожаловать в клуб спасителей человечества! Не ты первый, не ты и последний – по слову мудрых: «не тебе дано завершить работу, но и не тебе уклониться от нее».

В «доме под деревом» спит реб Довид Фридлянлер, пять лет назад овдовевший и три года назад выдавший замуж в Двинск единственную дочь Нехаму. Реб Довид – муж зрелый, много повидавший в жизни, за которой вот уже без малого пять десятков лет пристально наблюдает сквозь толстые стекла круглых очков острым взглядом пытливых серых глаз. В наблюдениях своих особое предпочтение отдает он природе Святой Земли и всему, что в ней произрастает, цветет и приносит плоды, что бегает и пресмыкается по ней, кишит в ее водах и порхает в ее небе. Поднаторел реб Довид и в книгах, как священного, так и научного содержания. Сложения он богатырского, способен не хуже любого заправского грузчика лихо закинуть на саженные плечи куль с цементом или с сухой известью и нести хоть от Новых ворот до Яффских. Во многие двери приходится реб Довиду

входить, пригнувшись, и это свидетельствует как о выдающемся росте его, так и об убожестве жилья, в котором ютится народ наш внутри городских стен. Иное дело – новые кварталы иерусалимские: высота, простор, свет, воздух.

А к чему тут помянуты такие материи, как известь и цемент, к чему рассуждение о просторном новом строительстве? Только ли для красного словца и связности речи? Отнюдь нет! Ибо реб Довид из Режице – потомственный строительный подрядчик, начавший производить в Иерусалиме известь и цемент и планировавший уже заняться строительством жилых домов для народа Израиля, да умножится он всемерно, на новоприобретенных за городскими стенами земельных участках.

И вот случилось ему в позапрошлом году, в третий день месяца ияра, прогуливаться на участке к северу от Яффской дороги, аккурат между лютеранским посадом Иоганна Людвига Шнеллера и кварталом Бейс Яаков. Реб Мойше Граф из Брянска, владевший этим участком с виноградником, объявил все растущее в его владениях «эфкер» – бесхозной собственностью – по законам субботнего года.

Еще совсем недавно и помыслить нельзя было о том, чтобы забраться в такую даль. Самому Шнеллеру с семьей пришлось некогда бросить свой дом и бежать от разбойников в тесноту Старого Города. И только принадлежащий англиканской миссии Виноградник Авраама с домом покойного консула, сэра Джеймса Финна, оставался на плаву, словно британский дозорный корабль посреди нелюдимого вражеского моря. Но после того как паша укрепил вооруженные посты на всей дороге, лютеране вернулись и расширили свои владения, да и самые решительные из сынов Израиля отважились искать удачи к западу и северо-западу. Реб Мойше Граф, по примеру немцев и англичан, тоже построил там себе дом-крепость.

И вот, как уже было сказано, в третий день ияра прогуливался реб Довид по участку реб Мойше Графа из Брянска и с интересом рассматривал разные травинки и былинки, листки и колоски Святой Земли, о которых самый любознательный из наших читателей имеет, верно, весьма

расплывчатое представление. И вот, взору его предстали круглые золотистые плоды размером с крупную виноградину. Мандрагоры, эти таинственные плоды скудной, засушливой земли нашей, испустили неземное благоухание, от которого с древности у многих голова идет кругом. И в жизни реб Довида и многих других все в корне переменилось.

Корень тут пришелся к слову весьма кстати. Ведь именно в корнях мандрагоры, строением своим напоминающих уродливых кособоких человечков, заключена творящая пользительная сила, ведомая еще древним, как сынам Яакова, так и народам мира. При виде мандрагор реб Довид сразу же понял, что только ленивый и непонятливый пройдут мимо подобного сокровища и только простак ограничится тем, что отведает сладких ягод, отчего у него, скорее всего, зарябит в глазах и разболятся голова и живот, и не протянет руки к целебным корням. А о том, что особенно важны во врачевании именно корни, в которых откладывается львиная доля плодотворных веществ дивного растения, реб Довид, изучивший немало ботанических и медицинских сочинений старины, знал уже ранее. Само древнее имя этих растений – ***дудаим*** – намекает на их особое назначение: ***дод*** или ***додим*** – читай: любовь.

Работавшие на винограднике йемениты знали об этих золотых ягодах уже с прошлого года и отдавали должное их превосходному вкусу. Иные, высасывая мякоть, выплевывали кожуру и семена, иные же съедали ягоды целиком, от чего у них случались разнообразные видения и болели тощие животы и горячие головы. Но чем удивишь это страннейшее племя, для заглушения вечного голода жевавшее у себя в Аравии какие-то наркотические листья, да и по сей день, говорят, не избавившееся от столь пагубной привычки!

Корни Mandragora officinarum, как на латыни нарекли во всем ученом мире таинственные ***дудаим*** Священного Писания, живут многие годы, в то время как цветы и листья их сохнут и погибают к концу каждого лета. Корни эти, в юности напоминающие мужские детородные органы, а с

возрастом, благодаря разветвлению, делающиеся, как сказано, похожими на человеческие фигуры, уходят на большую глубину и распространяются в разные стороны. Великий Баал А-турим обратил наше внимание на то, что гематрия слова ***дудаим*** – 66 – равнозначна гематрии ***ке-адам*** – «как человек». Через месяц после первых зимних дождей на поверхности земли появляется венчик из зеленых, сильно сморщенных листьев. Затем из центра венчика поднимаются длинные цветоножки, а на них – фиолетовые цветки с желтыми тычинками. Из этих цветков образуются круглые зеленые плоды с глянцевитой кожицей, весною постепенно становящиеся золотыми и струящими на дальние расстояния пьянящий аромат.

Реб Мойше Граф, настолько равнодушный ко всему телесному и целиком преданный духовным материям, что даже резкое кислое вино из собственного виноградника не может отличить от вполне пристойного вина из подвалов барона де Ротшильда, сразу же предоставил реб Довиду полную свободу пользоваться своими сорняками не только в год субботний, но и во всякий другой, раз уж на уме у него такое святое дело, как умножение народа Божьего и разверзание чрева неплодных дщерей Израилевых. И пусть всякий денежный доход, который реб Довид от того станет иметь, будет ему на здоровье, ибо реб Мойше знает его достаточно, чтобы не сомневаться: милостыня отделена им будет от этих средств двойная и тройная. А ежели реб Довиду угодно будет упоминать его, реб Мойше Графа из Брянска, имя при всяком применении чудодейственного средства и печатать его во всяком газетном или ином объявлении или на обертке и этикетке настойки, порошка, пилюли или иного пользительного препарата, из тех мандрагор с его участка приготовленного, то он почтет это за честь. И уж помимо того, ежели реб Довид полагает, что ему в его святом деле потребны лишь корни, а плоды не важны, и посему готов оставить их в лакомство охочим до любого стручка и всякой ягоды бедным йеменским работникам, то тем самым, несомненно, приближено будет пришествие Помазанника.

Покуда бедняки-йемениты наслаждались золотыми ягодами поспевшей мандрагоры, реб Довид углублял свои книжные исследования, изыскивая наиболее верный рецепт и ждал разгара лета для выкапывания части корней.

Множество суеверий было связано с этим необычным растением. Даже мудрецы наши, да будет их память благословенна, отдавая дань своему времени, иногда сообщали странные вещи. Взять, к примеру, комментарии к известным событиям главы «Вайеце», где говорится о том, как Реувен нашел мандрагоры в поле и дал их Лее, матери своей, и за те мандрагоры родились у нее два сына. Один мидраш рассказывает:

*«Иссахар осел костистый» (**гарэм**). Не читай **гарэм**, читай **гарам** (был причиною), ибо, когда Реувен вышел в поле и привязал осла своего к растению, которое оказалось мандрагорою, а Реувен не знал, и пришел забрать осла своего, нашел его мертвым, и стал смотреть, кто убил его, и увидел, что осел вырвал из земли мандрагоры, ведь всякий, кто вырвет их, умирает, и, следовательно, тот осел был причиною рождения Иссахара.*

По-арамейски корень мандрагоры именуется **яверух** – название, до сих пор имеющее хождение в языке местных исмаильтян. Потому мудрецы наши назвали его **йавруах**, да еще вывели из этого, что всякого, кто его извлечет из земли, покинет дух его – **йиврах руах**. Не мудрено, что корни эти вызывали суеверный страх и, хоть их и продолжали выкапывать ради приносимой ими пользы, но практиковали при этом чтение вслух некоторых стихов Торы, дабы отвести угрозу смерти. Мудрецы запретили такое чтение и, вслед за ними, реб Довид тоже не принимал в расчет народные суеверия. Он выкапывал корешки, действительно походившие на корявых уродцев с руками, ногами и детородными членами, обычной лопатою без специальных ритуальных предосторожностей. Ничуть не боялся он также прикасать-

ся к ним руками и, слава Богу, не испытал от того ни малейшего вреда своему здоровью.

А каких только способов употребления чудодейственных корешков не предлагали различные веками проверенные традиции! К примеру, выходцы из Марокко имели обыкновение сжигать мандрагоры на камнях, с известной целью окуривая исходящим от них дымом свои половые органы, равно мужские и женские.

Тут тоже реб Довид придерживается методов более современных, по строжайше выверенной рецептуре готовя из свежевыкопанных корней настойки, а из высушенных – порошки для принятия внутрь с водою. Каждому пациенту даются подробнейшие распоряжения касательно точной дозировки с убедительным наставлением ни в коем случае ее не превышать, ибо действие мандрагоры на весь организм человеческий столь мощно, что требует большой осторожности. Реб Довид также убедительно просит заинтересованных в мандрагоре не добывать ее самостоятельно и не пробовать самолично изготовлять из нее какие-либо снадобья.

Вскоре коллекция Авигайли Бухбиндер пополнилась газетным объявлением такого содержания:

В винограднике, купленном рабби Мойше Графом из Брянска, обнаружил муж из жителей Святого Града, известный под именем рабби Довид Фридляндер (из города Режице Витебской губернии России) мандрагоры, кои, как известно, обладают свойствами против бесплодия мужского и женского, и многие излечились благодаря тем мандрагорам, как здесь, так и за пределами Святой Земли. Посему всякий, кто пожелает прибегнуть к этому испытанному лекарству, пусть обратится письменно к вышеназванному рабби Довиду по указанному адресу и получит желаемое.

Объявление это было опубликовано в газете «Лилия» незадолго до того, как чета Бухбиндеров вселилась в новый дом в квартале Бейс Яаков, став с вышеупомянутым

реб Довидом Фридляндером добрыми соседями. Авигайль прочла мужу это объявление с насмешливой интонацией, добавив нечто вроде того, что это все же лучше, чем вымачивать мужской уд в уксусе или подвязывать яички красной шерстяной ниткою.

– Это, впрочем, только первая ступень, – заметила она. – Чудесное, хоть и не беспорочное, зачатие еще не обещает, что на свет появится не только что грядущий царь Иудейский, но и вообще благочестивый потомок Яакова, а не Бог весть что. Прочти-ка вот это:

В недавние дни одна из евреек Тверии разрешилась шестимесячным выкидышем вида страшного и ужасного: от пупа его и выше – облика человеческого, а книзу – подобие трупа конского. По слухам, коими полнится местное общество, обстоятельства происшествия сего таковы, что женщина та положила глаз на коня, обитавшего на дворе, и затяжелела, и вот, родила по образу и подобию его.

– Занятно! – рассмеялся Гедалья. – Если реб Довиду не посчастливилось видеть это чудо нашей библейской природы, он много потерял.

Впрочем, наши острословы испытывали к иерусалимскому естествоиспытателю искреннюю приязнь, справедливо почитая его одним из умнейших жителей Святого Града. Ежедневно встречаясь с ним, они приветливо здоровались, учтиво интересовались не только здоровьем, но и состоянием захватившего его прожекта. И если бы хвалебные песни чудодейственным мандрагорам, которые вдруг, словно по команде начальника хора, в один голос полились со всех сторон из уст мудрецов, вроде рабби Шломо Залмана Лейви, рабби Биньомина Бейниша Саланта и рабби Мендела А-Коэна, и даже некоторых самых дремучих карлинских и брисских фанатиков, так не резали их слух... Кто знает, быть может, и сам этот прожект не казался бы им более смехотворным, чем героические усилия господ Фрумкина и Бен Иегуды.

И вот в минувшую пятницу реб Довид, едва закончилась утренняя молитва, прямо в синагоге, взял Гедалью под локоть и, с видом человека совершенно потрясенного, коротко спросил:

– «Лилию» давешнюю читали?

– Еще не читал, реб Давид, – признался тот, – но верно уж Авигайль мне расскажет, какие перлы на этой неделе добыли со дна моря житейского ныряльщики реб Исроэля Дова. Прямо за обедом и преподнесет на блюде...

– Постойте, реб Гедалья! Обождите немного! Мне нужен ваш совет, вернее, ваша помощь. Я этот выпуск при себе ношу, все обдумываю, не могу успокоиться. Вот, присядьте и прочтите, что тут он сам написал:

Публикуйте объявления о ваших товарах и ремеслах в моей газете, дабы умножить на них спрос!

Число объявлений в Германии, Франции и Англии отнюдь не вызывает сожаления, но гораздо большее количество сообщений публикуется в Соединенных Штатах Северной Америки. Американцы составляют свои объявления в стиле, вызывающем великое удивление читателей. Совсем недавно глава большой американской торговой фирмы поместил такое объявление: «Президент Честер Артур скончался». Естественно, сообщение привлекло внимание наивных читателей, которые пожелали узнать, в чем была причина внезапной смерти президента, который не страдал никакой болезнью. Присмотревшись внимательнее, они заметили, что, наряду с крупными буквами, там есть еще и мелкие, и все вместе читается так: «Возможно, что президент Артур скончался бы от холода, не купи он теплое пальто нашей фирмы». Сие объявление привлекло большое число покупателей.

Молодой человек в Америке застрелился из ружья. Владелец оружейного завода, который выпустил это ружье, пошел на большие траты и установил на могиле самоубийцы большой и роскошный мраморный монумент и заказал высечь на нем следующие слова: «Здесь покоится N, застрелившийся из ружья оружейного завода NN. Качество ружей этого завода

весьма высоко, ибо при самых минимальных усилиях ему удалось не промахнуться и лишить себя жизни с первого же выстрела. Такое ружье вы не сможете найти ни у одного из конкурентов фирмы NN».

Один из аптекарей сообщает в газетной заметке: «Г-жа А, шедшая под венец, потеряла сознание, но шаферы не дали ей упасть, подхватили под руки и привели в аптеку г-на К. Благодаря таким-то и таким-то каплям она пришла в чувство и окрепла настолько, что ныне способна поднять тяжелейший камень или железную гирю, чтобы запустить ею в голову супруга».

В последнее время и европейцы пошли в объявлениях по стопам американцев. Например, в Берлине владелец посудной фабрики совершенно бесплатно поставил владельцу кафе чашки, на которых написано объявление его фабрики, только ради того, чтобы пьющие кофе принуждены были его читать. Он утверждает, что благодаря этому его фирма в Берлине стала процветать. Рекламы в последнее время стали необходимой частью того, что должны предпринимать торговые фирмы, желающие продать свой товар. Это показывает, что без оных торговцу ничего не продать, и товар его подобен телу без души!

– Эта заметка сначала возмутила меня грубостью этих, знаете ли, американских вкусов, – признался реб Довид,– но затем заставила сильно призадуматься. Настолько, что я до сих пор не могу об этом не думать. Вы, может быть, знаете, что я уже помещал объявление, и не в одну газету. Думал, достаточно сообщить, что у меня, с Божьей помощью, есть важное медицинское средство и его можно просто от меня получить. И тут вдруг такое… Вы не смеетесь? Я вдруг представил себе мое скромное объявление в окружении всех этих невероятных историй, зазывных воплей, изощреннейших трюков тех, знаете ли, господ, которые на таких делах руку набили. Это… это – словно честный потертый грош среди груды фальшивого золота: он-то хоть и честный, но сверкают-то они, эти фальшивые золотые, да еще

так, что моего грошика и не разглядеть в их блеске. И стал я думать, что мне необходимо найти какой-то свой подход, что-то сделать для того, чтобы мои объявления производили не меньшее, а даже большее впечатление, чем вся эта трескотня. Вы со мной согласны? Одним словом, я понял, что мне тоже не обойтись без этой так называемой «рекламы»...

Реб Довид утер пот со лба и умоляюще посмотрел на своего собеседника страдающими серыми глазами сквозь толстые круглые очки.

– И вот я понял, что моя реклама должна начинаться с «Песни песней», вы понимаете? Вы согласны? Большими буквами. Читатель, как увидит эти стихи, напечатанные большими буквами, так сразу, будто бы... Вы понимаете? Этот читатель в России, Франции, Америке, Бессарабии, Германии услышит древний напев, почувствует благой аромат Святой Земли... А?

Гедалья молча кивнул, пряча улыбку.

– Сперва я еще думал про главу «Ваейце». Но это слишком, знаете ли, длинно и сложно. Да, слишком длинно... К тому же, простой человек, не особенно искушенный в комментариях наших мудрецов, да будет их память благословенна, только запутается в том, какую же роль в зачатии играют там мандрагоры... Нет, нет, слишком сложно и запутанно для рекламного объявления! Но вот «Песнь песней»!..

Реб Довид сделал резкий жест обеими руками снизу вверх и в стороны, обозначающий внезапное и мощное воспарение духа.

– Но вы согласны, не правда ли?

– Это само собою напрашивается, – согласился Гедалья, еще не представляя себе, что от него ждут не только одобрения и благословения сей коммерческой идеи, но и перевода всей рекламы, включая библейский стих, на шесть языков. (Реб Довид мечтал о семи, однако познаний в испанском у нашего драгомана было крайне недостаточно, в чем он немедленно и с облегчением признался).

Вот теперь и сидит за работой, не имеющей никаких шансов удовлетворить его тонкий лингвистический вкус. Ну

как тут переведешь на какой угодно язык эти двусмысленные корневые игры и переливы созвучий: «*Ша*м **этэн** эт-**дод**ай *лах* а-**дуд**аим на**тн**у-рэй*ах* вэаль-пт*ах*ейну коль-мегадим хад*аш*им гам-йе*ша*ним **доди** цафанти *лах*»...? Не писать же ученые примечания в рекламном объявлении...

Иногда ему кажется, что все его ремесло есть не что иное, как сплошное надувательство, некий бессовестный заговор людей, владеющих разными языками, против простаков, едва воспринимающих одну-единственную, с младенчества шатко затверженную речь, и оттого особенно наивных и доверчивых. В чем же цель этого заговора, в чем выгода поднаторевших в многоречии господ? Этого он не знает, но чувствует, что в руках его какое-то мощнейшее орудие, которое производит форменный обман даже без того, чтобы обладатель его к тому стремился, даже вопреки его наичестнейшим намерениям и просветительскому пылу. Ибо, с тех пор как Всевышний смешал языки, сказанное на одном из них может быть верно понято лишь на нем самом, всякий же перевод отнимает от оригинала нечто неотъемлемое и добавляет нечто совершенно новое и непредусмотренное. И, поскольку наш жизненный опыт есть бесконечный перевод неких исконных понятий с предыдущего перевода, уже искаженного, да так, что иногда слова и даже целые фразы возвращаются в тот же язык, из которого вышли, проделав долгий путь через несколько последовательных искажений, даже и сами «полиглоты» начинают терять почву под ногами, и собственное плутовство ловит в сети их самих. Наши древние мудрецы, склонные по каждому поводу приводить притчи, сказали бы, что это похоже на то, как если бы соседка Двойра стала пересказывать мужу, ешиботнику Реувену, своими словами газетную новость, которую пересказала ей Авигайль, приспособив для ее весьма ограниченного разумения, а Реувен, вполуха выслушав сей пересказ, обогащенный бесконечными «Пресвятой, благословен Он», «с Божьей помощью», «не приведи Господь» и «если будет на то воля Имени», назавтра изложил бы ее старому реб Залману на тайч идиш, и тот, в свою очередь пересказал бы ее в письме к зятю в Житомир, пользуясь своим южным жар-

гоном и по естественной забывчивости восьмидесятилетнего старца заменив одни детали другими. (А что? Неплохая вышла притча, вполне достойная наших учителей, кстати, имевших обыкновение чуть что вставлять в свою речь иностранные выражения).

Но что остается Гедалье Бухбиндеру, кроме как продолжать участвовать в этом невольном надувательстве и благодетельстве наивного человеческого стада?

В вещах практического свойства, допускающих языковое своеволие во имя простых деловых выводов, вред от перевода, конечно, не столь велик и, может статься, даже ничтожен в сравнении с непосредственной пользой. Взять к примеру господина Арье Лейба Гойзмана, для которого он перевел с английского языка книгу некоего Александра Пола, американца, «Практический красильщик страусовых перьев». Тот ему не только оплатил труды, но еще и благодарен и от себя, и от всего человечества, жаждущего в тщеславии своем разноцветных страусовых перьев. Работа, ясное дело, простая, с «Песнью Шломо» ни в чем не сравнимая. Все 190 александровых страниц за один соломонов стих можно отдать, не задумываясь. Никаких мучений, и даже известное удовольствие для переводчика:

Перья страуса, кои используются для украшения платьев, взяты из крыльев и хвоста птицы, чьи крылья, в силу особенностей их строения, делают ее совершенно непригодной для полета. Перья сии пригодны лишь для того, чтобы держать тело птицы в равновесии при движении и предохранять ее от погружения в зыбучий песок пустынь, кои являются для страуса родным домом. Естественные цвета страусовых перьев: белый, черный и серый, или, точнее, темно-серый. Они сортируются в соответствии с их естественным цветом, дабы быть отбелены до молочной белизны или же окрашены в светлые тона, либо для использования в темных расцветках. Сторонники практичности в красильном деле считают, что нет необходимости предварительно отбеливать перья для окрашивания в различные темные цвета и достаточно

осветлить их только до определенной степени, оставив подцветок, коий они могут с успехом использовать для нанесения на него нового красителя. Метод сей представляется правильным и практичным, ибо ведет к экономии расходов и труда; но при том очевидно, что цвета максимальной красоты таким образом достигнуты быть ни в коем случае не могут, ибо подцветок будет всегда ухудшать чистоту наносимого цвета. Однако следует сказать, что смешанные цвета могут быть получены с весьма хорошими результатами, при условии, что сам подцветок входит в их состав. Все сказанное, безусловно, верно и для страусовых перьев, отчего красильщик нередко поневоле должен быть готов к тому, чтобы отбелить серые или черно-белые перья, дабы окрасить их в любой светлый оттенок. Необходимость же в отбеливании целиком черных перьев возникает редко, ибо сии обыкновенно оставляются такими, какими создала их сама природа, и лишь чистятся для усиления их красоты и блеска.

Чтобы читатель не подумал, будто нет в работе переводчика вовсе никакого искусства, автор готов еще немного поднапрячься и продемонстрировать, что для передачи некоторых понятий иногда необходимо, как говорится, прыгнуть выше головы:

***Кофейный цвет**: Подготовьте ванну при температуре 170 градусов по Фаренгейту с таким составом: три процента квасцов (от веса перьев), индиго кармин, бордо и желтый азо, в соответствии с образцом, и окрашивайте перья, медленно повышая температуры до уровня, близкого к точке кипения, но не доводя до кипения. Менее сильный и прочный цвет получается из лишайника ликанора, индиго кармина и пикриновой кислоты.*

Гедалье, признаться, греет душу и то, что эти смешные, в сущности, перья, эта модная безделка, могут способствовать великому делу освоения Святой Земли, не менее важному, чем возвращение к языку Эвера. Ибо прожект госпо-

дина Гойзмана из колонии Петах-Тиква, кстати, намеревающегося вскоре посетить Иерусалим, не ограничивается окраской перьев. Гойзман метит выше. В прошлом году он привез из Египта одиннадцать маленьких страусят, чтобы проверить, приспособятся ли они к климату страны нашей. Шесть из них сдохли и были утеряны навеки, но пятеро по сей день живы и здоровы. И господин Гойзман надеется завезти в Святую Землю еще множество страусят.

Реб Довид, узнав о страусином прожекте, тоже был весьма воодушевлен им и горячо обсуждал с четой Бухбиндеров это начинание, всей перспективы которого, возможно, и сам Гойзман еще не сознавал. Ибо страус, по словам реб Довида, возвращаясь в Землю Израиля, приносит с собою возвращение ей былого библейского величия. Эта гигантская нелетающая птица, восемь раз упомянутая в Писании, ныне в наших землях истреблена, подобно льву и сернобыку. И, быть может, именно с ее возрождения и широчайшего расселения в пустынных ныне степях отчизны нашей, начнется возрождение всей библейской природы. А без этого немыслимо подлинное возвращение сынов Яакова в Сион. Вот какой грандиозный прожект, даже если сам его зачинатель и не помышляет пока ни о чем, кроме коммерческой пользы от продажи перьев!

Реб Довид, мечтающий о том, чтобы все ныне дремлющие силы древней природы нашей пробудились к новой жизни, и всякая заповедь Торы, связанная с растительным и животным миром, обрела реальную жизнь, знает: недалек тот день, когда и моллюск-хилазон (Murex trunculus) вновь даст нам синюю кровь свою, ***тхелет,*** для нитей видения, и собратья его Murex brandaris и Thais haesmastoma принесут багряный ***аргеман*** на мантию царю Израилеву, и понятна станет персона такого загадочного животного, как ***тахаш***, и сыщется красная корова без малейшего ущерба. И голос горлицы станет слышнее в земле нашей!

Мало еще у него союзников в этой дерзновенной мечте. Евреи в Святой Земле покуда чувствуют себя испуганными гостями, платя день многовековому изгнанию и отчуждению от земли, а магометане всякую живую тварь первым

делом стремятся умертвить любым способом, не задумываясь о последствиях, и уже превратили некогда богатый край в почти полную пустыню.

Несколько лет назад произошел такой редкий случай, о котором писал в ныне покойной газете «Иудея и Иерусалим» некто, подписавший свою корреспонденцию: «ваш друг АБИР»:

Яффа. В связи с нездоровьем прибыл я сюда, чтобы принять морскую ванну. И вот, собственными глазами наблюдал в тот же день явление странное и пугающее, о котором даже городские старожилы могут свидетельствовать, что подобного оному не доводилось им здесь наблюдать. Во время утреннего купания на городском пляже внезапно предстала нашим глазам огромная рыба, лежащая на песке в десяти локтях от морской кромки, каковая, подобно льву, яростно разверзла пасть свою, готовая губить и пожирать. Когда же я, вкупе с прочими купающимися, возопил о помощи, поспешно устремилось нам на помощь множество людей с соседней скотобойни, и стали камнями обстреливать голову сего царя морских зверей, прежде чем окружили его. И связали его веревками по рукам и ногам (ибо руки и ноги были у него, как у тварей земных), и привязали к большому камню. Однако он живо разорвал веревку острыми своими зубами и пожрал бараньи ножки со скотобойни, и бросился бежать к морю. И тогда поспешил один из людей, отважный сердцем, и вонзил острый нож в голову его, и многие другие поспешили и побили его повторно. И после доставлен был сей змей в здание Карантина. Длина его — пять локтей, а ширина и высота — один локоть, вес — триста фунтов. Многие скажут, что это морская львица, однако мне представляется, что это ***коркодал****, обитающий в Реке Египетской.*

«Наш друг АБИР» был слаб в естественных науках. Но реб Довид, едва прочтя этот сбивчивый репортаж, воодушевился необычайно и немедленно отправился в Яффу. Там он с великим трудом добился от английского консула,

в чье распоряжение поступил поруганный труп несчастного животного, осмотреть шкуру и скелет. Как он и предполагал, кровожадные мясники прикончили одного из последних тюленей вида monachus. Реб Довид в буквальном смысле слова оплакал ластоногое, павшее жертвой невежества. Процитированную же выше газетную заметку сохранил и впоследствии пожертвовал соседке Авигайли Бухбиндер для ее коллекции.

Вот уже середина ночи, и Авигайль не выдерживает. Она целует мужа в висок и объявляет ему, что отправляется спать.

Интермедия, в которой автор, стараясь заснуть, принимает важное решение

Автор не может скрыть от своих читателей, что ему тоже очень хочется спать.

Мы пребываем в начале месяца элуль. А это значит, что еще до зари невыспавшиеся евреи отправятся в синагоги, чтобы читать покаянные молитвы, бить себя в грудь, тяжко вздыхать и предаваться прочим подобным усладам, своеобразную склонность к которым столь метко обрисовал в своих сочинениях большой друг народа нашего, господин Леопольд Риттер фон Захер-Мазох.

В конце концов, не только в новом иерусалимском квартале, на описание которого автор уже потратил немало слов, но и во всей Земле Израиля, во всем дальнем вилайете Османской империи, почти все давно заснули.

Друг нелетающих птиц Арье Лейб Гойзман крепко спит у себя в колонии Петах-Тиква, страстно обнимая подушку, набитую обыкновенными куриными перьями. При этом он совершенно убежден, что обнимает молодую жену, и сон видит соответствующий... Господин Гойзман еще не женат. Это знаменательное событие в его жизни произойдет только через три месяца. Пока же еще не просватанная невеста «страусятника», Рашель, дочь местного земледельца, спит в далекой Франции, в славном городе Париже, куда отправлена бароном де Ротшильдом завершать свое образование.

На постоялом дворе в Старом городе, на возмутительно узкой кровати спит Офелия Грэйс Патриша Годсон, писательница, автор популярных романов и путевых заметок, до полусмерти измученная многочасовым переездом из Яффы. Рядом с супругой спит, храпя и стянув на себя одеяло, мистер Клиффорд Годсон, адвокат и успешный коммерсант из города Ковингтона, штат Кентукки. Они только что явились в Святой Град и еще не успели принять участие в

развитии событий. Впрочем, уже само их прибытие из Соединенных Штатов – событие исключительное.

Доктор Файн и его супруга спят в отдельных спальнях. И что же тому причиной? Об этом вам, любезные читатели, станет известно со временем. Пока же ограничимся замечанием о том, что в доме доктора, в минуте ходьбы от Яффских ворот и в пяти минутах ходьбы от клиники Протестантской Миссии, его спальню от спальни супруги отделяет обширный холл, а заодно сообщим, что миссис Файн не позволяет себе храпеть никогда.

Спят, намучившись любовью на жестком супружеском ложе, Реувен и Двойра Вильденштейн.

Спит в компании кур и козы горькая вдова Хая Малка Вильденштейн по прозвищу «Вильде Хае»[19].

Спят хосиды различных дворов, воспитанники литовских ешив и преданные поборники просвещения. Спят выходцы из Персии, Йемена, Марокко и Салоник.

Спит даже обычно бессонный молодой человек с длинными тоненькими соломенными пейсами, известный в Иерусалиме под именем Альбрехт.

Кроме Гедальи Бухбиндера, заканчивающего французский перевод «Песни Шломо», не спят только созерцатели звезд и страдающие бессонницей, в ряды которых автору очень не хотелось бы попасть. Посему он усилием воли заставляет себя отправиться в постель и начать пересчитывать черных, белых и пестрых коз.

Сначала ему это прекрасно удается и он доходит до 613[20] – числа, вечно вызывающего у него чувство невыученного урока, хотя и перестает отличать черно-белых парнокопытных от бело-черных. Еще он успевает подумать, что, если сейчас заснет, то непременно увидит сон прародителя нашего Яакова, тоже считавшего мелкий рогатый скот. Только в его сне гигантская лестница, наподобие Воронцовой лестницы в Одессе, должна соединять не небеса с землею,

---

[19] *Вильде Хае* – дикий зверь (*идиш*).

[20] *613* – согласно традиции, полное число заповедей Господних, обязательных для евреев.

а квартал Бейс Яаков с Храмовую горой. Но сон нейдет, и мысли о том, как продолжить повествование, прерванное в самом начале, не дают ему покоя. Автор пытается отогнать их и вернуться к козам, но это ему не удается, и он понимает, что лучше уж сейчас, пока солнце еще не взошло, обдумать следующий шаг в развитии сюжета.

Многотерпеливый читатель наш, с самого начала, едва лишь намекнули ему на то, что впереди ждут его некие не совсем обычные события, едва познакомили его мельком с некоторыми из действующих лиц и вскользь коснулись темы чудодейственного растения, уже немало услышал о наших газетах. Настало время отправиться вместе с ним на место действия, туда, где новое еврейское слово на языке Эвера приобретает осязаемую форму, преобразуя умственные усилия господ «корреспондентов» в бумажную продукцию, выходящую из-под печатного пресса.

Гедалья Бухбиндер, вероятно, все-таки проспит молитвы покаяния (не в первый и не в последний раз в жизни), заслужив порицание мужей, подлинно усердных в исполнении заповедей Господних. Явившись же в Бейс Мидраш, давясь зевотой, как говорится, «к шапочному разбору», он отправится оттуда, в сопровождении реб Довида, в дальний пеший поход. Пройдя до конца Яффской дороги и пересекши половину Старого Города, они явятся в типографию Исроэля Бака, прозванного «Друкером», сиречь «Печатником», туда, где на одном и том же станке печатаются оба конкурирующих издания – «Олень» и «Лилия». Именно там чаще и успешнее всего плетутся многочисленные захватывающие сюжеты иерусалимской жизни...

Прекрасный ход!

Довольный собою, автор немедленно проваливается в глубокий сон. Но в этом авторском сне его ждет изрядный подвох: он не может позволить себе видеть собственные сновидения, совершенно не интересные читателю, и потому обречен наблюдать ночные грезы своих персонажей. В сущности, он сам виноват. Кто его просил пересказывать сон реб Довида Фридляндера, а потом еще и полную чепуху, привидевшуюся «страусятнику» из Петах-Тиквы? Стоит толь-

ко начать по неосторожности какую-либо сомнительную практику, а уж Обвинитель Израиля тут как тут. Захотел покрасоваться, продемонстрировать глубину проникновения в тайные стороны жизни своих героев – и вот, пожалуйста: даже во сне не будет тебе покоя от чужих личностей, без спросу вселяющихся в тебя пестрой компанией, словно ватага разноголосых диббуков[21].

Однако пытливый читатель, желающий, как водится, скорейшего интересного развития событий и быстрого раскручивания тугой сюжетной спирали, будет избавлен от нескольких страниц совершеннейших нелепиц, в которых смысла примерно столько же, сколько в бреде умалишенного, да и связи с основным действием ровно никакой. Автор ограничится тем, что предложит вниманию читателя (при условии, что тот сам не заснул между делом) краткий сон Гедальи Бухбиндера.

Гедалья засыпает последним, не отходя от стола, незадолго до рассвета, когда вставший из-за стола реб Довид отправляется каяться перед Творцом в своем несовершенстве.

Гедалье снится, что у него на старости лет родился сын. Родился сам собой, так, что ни он, ни Авигайль, не знают, откуда взялся этот младенец, поразительно похожий на своего деда, покойного Аарона Бухбиндера. Нет, он не просто похож на него, это именно он самый и есть, такой, каким Гедалья видел его в последний раз – маленький седобородый старичок с кустистыми бровями и прищуренными глазами в сетке морщин.

– Благослови меня, сынок! – просит Гедалья.

Но сын-отец только грустно улыбается – он еще не умеет говорить. Гедалья плачет в голос, вспоминая, что Авигайль предостерегала его: если недосмотреть, то родится отец, потом у отца родится дед, у деда – прадед, и так будет продолжаться до тех пор, пока все не возвратится в землю, из которой взято без спроса...

---

[21] *Диббук* – в еврейском фольклоре: злой дух, душа умершего злодея, входящая в тело живого человека.

II

Глава, в которой появление героев в типографии Бака вызывает резкое ускорение бега времени и обострение сюжетных коллизий

В самом сердце мусульманского квартала, между Виа Долороза и улицами Эль Вад, Аль Байрак и Аль Такиа, находится трехъярусное строение, принадлежащее Исроэлу Баку. К этой постройке, представляющей собою целый квартал в миниатюре, давно уже пристало наименование «Двор Лилии», в честь печатающегося там еженедельника Исроэла Дова Фрумкина. Три яруса выстроены таким образом, что крыша нижнего служит двором среднего, чья крыша, в свой черед, является двором верхнего. На нижнем этаже квартируют еврейские и христианские жильцы, а также одноглазый Али, исполняющий многочисленные обязанности прислуги за все. Из нижнего двора ступени ведут в чахлый садик, в котором предприимчивая вдова Хая Малка Вильденштейн держит кур и козу, а усатый владелец гладильной для фесок на рынке благовоний, Шалом Маймун – любимого осла. Здесь, окруженный заботами матери-вдовицы, вырос вместе с выводком старших братьев и сестер Реувен «Верх достоинства и Верх Могущества». Здесь же находится погреб для вина, зерна и дров. В месяце элуле в этом садике как раз начинают давить виноград, несколько возов которого господин Фрумкин ежегодно заказывает в Хевроне. Специально приглашенные для этого давильщики являются со своими чанами, спозаранку моют ноги и топчут виноград, и реб Довид с Гедальей, пришедшие в типографию, слышат в их исполнении странные каркающие напевы, в которых трудно разобрать внятный мотив или вразумительные слова. Специально приготовленные бочки наполняют виноградным соком, а потом несколько недель

наблюдают за его брожением, прежде чем эти бочки запечатать. (Так и настоящий роман должен бродить в своей посуде до поры до времени, пока автор в должный момент не поставит точку, чтобы не сквасить вино прозы и не дать ему превратиться в уксус разглагольствований.)

Среди жителей нижнего яруса, кроме семейства Фрумкиных и брисского даяна, реб Мойше Аарона, в двух тесных комнатках проживает с женою Дворой, младенцем Бен-Ционом и еженедельником «Олень» Элиезер Бен-Йегуда.

Верхний двор, из которого виднеется пышный дворец несчастной госпожи Тунщук, покоящейся тут же в своей купольной гробнице, мощен. В левом углу его насыпана куча камней, поднявшись на которую можно через дыру в стене пройти в дом благородного семейства потомственных муфтиев Аль-Хусейни.

В среднем ярусе несколько комнат принадлежат типографии. За переплетной и складом бумаги и книг, в южной части двора, расположена любавичская синагога, в которой господин Фрумкин по весне раздает нуждающимся талоны «кимха де-писха»[22] на получение мацы, а также вина́ к празднику у виноторговца Шлойме Шейнкера с Хевронской улицы. С противоположного конца находится постоялый двор в пять комнат. В одной из них только что проснулись мистер и миссис Клиффорд Годсон из штата Кентукки. Посреди типографии возвышается массивный и причудливый, словно нечистая помесь трона Шломо, арфы Давида, Бегемота, Левиафана и Ковчега Завета, печатный станок. Это фантастическое сооружение подарено самим сэром Мозэсом Монтефиоре, финансировавшим создание типографии во имя своей знаменитой «Productivisation Programme»[23]. (В ордене иерусалимских прожектеров сэр Мозэс, с позволения сказать, великий магистр – желает повернуть дело так, чтобы наши евреи все как один продуктивно трудились!) При черном монстре на золоченых копытах с орлиными пальцами, украшенном золотым орлом и змееподобными

---

[22] *Кимха де-писха* – буквально: мука́ на Пасху (*арам.*).

[23] *Productivisation Programme* – Программа продуктивизации (*англ.*).

рыбами, почти неотступно находится молодой Ашер Грубер, сын рабби Йуды.

В этот день его ждет особенно много работы. Редактор «Лилии», господин Яаков Гольдман, явится после обеда, чтобы лично следить за тем, как печатается его детище. Господин Элиезер Бен-Йегуда только что вышел, видимо, стараясь избежать присутствия в нашем повествовании. (Скажем сразу: это ему не удастся.) Чудо-станок сэра Мозэса печатает первый разворот «Оленя».

Реувен, всю долгую дорогу из квартала Бейс Яаков сопровождавший своей чудной приседающей походкой реб Довида и Гедалью, принес заказ, который призван спасти его и Двойру от нищенства, по крайней мере, осенью и зимой: «Календарь на 5645 год, рассчитанный по горизонту Иерусалима, да будет он отстроен и возрожден, коий горизонт приходится на 32 градуса долготы и 53 градуса широты от острова Перрера в море Атлантическом, изданный Реувеном Вильденштейном, сыном старости покойного отца моего, Гершона Файвиша Вильденштейна, величайшего и старейшего издателя календарей в Стране Израиля». Он явился, не назначив времени, и потому Ашер немедленно сообщает ему, что сегодня календарь набирать не будут, и он может оставить свои листочки и задаток реб Боруху, наборщику, а сам спокойно идти домой. Реувен боится двух вещей. Прежде и больше всего, он боится встречи со своей матушкой, которую жена его, Двойра, столь метко прозвала «Вильде Хаей», и поэтому хотел бы оставаться незамеченным во Дворе Лилии. Но, с другой стороны, он боится оставлять свой драгоценный календарь наборщику – мало ли что может случится! Это, знаете ли, не просто какой-то там календарь, который всякий может составить. Это – произведение точной мысли и благих помыслов.

Хотя во всяком месте подобный календарь покупается задешево, печатаются они в изгнании тысячами тысяч, но сей календарь не такой, как другие, напечатанные в изгнании в нечистой земле, — сей календарь отпечатан и сшит в Сионе. Удостоившийся приобрести его верно исполнил за-

поведь, ибо отец мой давно в лучшем мире, рядом с праведными отцами, а мать, выдавшая замуж дщерей и женившая сынов многих, бедна, и нет у меня в руках дела прибыльного, но я учусь дни и ночи и надеюсь на Господа, так что всякий муж щедрый, заплативший мне сполна, удостоится всякого блага.

Самое поразительное в этом вопле души то, что гематрия каждой его строчки равняется гематрии наступающего года. В каждой строке таится число 5645! Разве можно оставить такое сокровище реб Боруху, который по рассеянности, чего доброго, засунет его куда-нибудь или, Боже нас упаси, разожжет им керосинку!

Реувен хотел бы делать еще более сложные и богатые календари. Пусть они будут не на один, не на два года, а на все сто лет. А лучше всего, до конца времен, который уже не за горами. Чтобы все в нем было рассчитано, включая рождение и приход Помазанника, и войну Гога и Магога. И пусть он будет украшен картинами из Святой Земли, а заодно снабжен всяческими полезными приложениями: таблицей мер и весов, денежными курсами, правилами почты и телеграфа, благочестивыми и поучительными проповедями, статистикой о положении братьев наших в общинах изгнания и в городах и колониях Святой Земли, сообщениями о положении учебных и благотворительных заведений, торговых домов и всяческих ремесел. Но на любое дерзкое новое начинание нужно очень много денег. Ох, сколько денег нужно на стоящий прожект! Потому-то такой прожект, верно, и называется «стоящим», что стоит кучу денег, которых у него, Реувена, нет...

Он в нерешительности топчется по второму этажу Двора Лилии.

Можно было бы печатать поздравительные карточки с добрыми пожеланиями и с какими-нибудь трогательными стихами на идиш. «Верх достоинства и Верх Могущества» выдумывает прямо на месте, и прожект его приобретает почти осязаемую форму. Он закажет рисунок, на котором будет изображен благородный старик, благословляющий

двух, нет, трех маленьких мальчиков, положив им руки на головки, словно Яаков, праотец наш, благословляющий Эфроима и Менаше: левая рука на головке Эфроима, стоящего справа, а правая – на головке Менаше, стоящего слева... или наоборот – он вдруг забыл. Впрочем, непонятно, что делать с третьим мальчиком. Пусть уж это лучше будет девочка, она может скромно стоять чуть позади и в сторонке, тогда сложность с недостающей рукою решится сама собой. И еще он закажет рисунок, изображающий ташлих[24] – семеро благочестивых евреев всех возрастов, от седобородого старика до мальчика, только что отпраздновавшего совершеннолетие, выворачивают над водою карманы своих капот, расставаясь с прегрешениями уходящего года. И еще пусть ему нарисуют праздничный стол, и во главе стола он сам, Реувен, в белых одеждах, а рядом его жена Двойра, только чтоб была изображена покрасивее, так что можно было бы не стыдиться, да и он сам пусть сидит за столом высоко, словно в нем росту на две головы больше, чем в действительности (кому нужно отчитываться, что он подложил себе на стул полено, а на него подушку), и все его двенадцать сынов, которые, с Божьей помощью, у него еще родятся...

– Я вам скажу, реб Довид, что каждому, у кого не желают родиться дети, я готов выдать парочку своих бедокуров, – говорит реб Борух, наборщик.

Этот реб Борух – чудо-наборщик, всем наборщикам наборщик. Наборщик Божьей милостью. Он может набрать вам страницу на любом языке, не понимая на нем ни слова, только бы вы правильно написали ему все от руки. Дайте реб Боруху разборчивую абиссинскую надпись – он и ее вам сработает в лучшем виде. Сэр Мозэс Монтефиоре давно озаботился тем, чтобы в типографии Бака были самые разнообразные наборные шрифты. Так что у наборщика вдосталь всяческих свинцовых антикв Гарамона, Палатино, Каз-

---

[24] *Ташлих* – буквально: «ты выбросишь» (*иврит*), церемония отречения от грехов, проводимая на берегу моря или реки в первый день нового года.

лона и прочих Баскервилей, Шельтер-гротесков и всего, чего только можно пожелать и что совсем не часто идет в дело. А уж священных букв арамейского квадратного письма, на коих печатают книги и газеты на трех еврейских языках, и милых сердцу каждого талмудиста литер Раши тут и вовсе куры не клюют. Реб Борух самолично отливал многие из них в формах, изготовленных в Англии и Германии.

Он рассматривает принесенные ему «рекламы» на семи языках и громко цокает языком.

– У меня их девятеро, этих негодяев, дай им Бог здоровья. Пятеро мальчишек. Две девочки умерли, не дожив до года, и один мальчик родился мертвым, ни про кого не будь сказано. Ривка рожает, не морщась, ей уже сорок шесть, и никакие мандрагоры ей не требуются. А когда это кончится, я вас спрашиваю? По-моему, никогда не кончится.

Наборщик, по своему обыкновению, развешивает перед собою на стене листки с «рекламами», которые ему предстоит набрать. Для этого он мажет каждый листок рукописи мучным клейстером, прижимает его к покрытой кучей старых, сморщенных и грязных бумажек стенке и проглаживает ребром ладони.

– Конечно, дай вам Бог побольше бесплодных клиентов, а мне побольше ваших объявлений, но и при том, я не очень-то представляю себе, как их всех кормить, одевать и обувать, этих спасителей Израиля. Одна сторона нашей продуктивности, прямо скажем, не поспевает за другой. Вы меня понимаете? Скажите, реб Довид, а нет ли в достойной восхищения земле нашей такой травки, которая, что называется, кошерно затворяла бы чрево дщерей Израиля? А? Выпила настоечку или приняла порошочек – и спит спокойно, добросовестно исполнив заповедь. А не так, чтобы мучить добропорядочную женщину, начиняя ее изнутри лимоном, словно гусыню яблоками, или вовсе лишать супружеского внимания...

Реб Довид смущенно протирает стекла своих круглых очков. Он, конечно, знаком с тем, что говорили по поводу предотвращения нежелательной беременности наши мудрецы, но сам никогда не задумывался на эту тему. И кто мог

бы предположить, что она будет поднята именно сейчас, когда все его помыслы устремлены к обратному!

Гедалья переводит взгляд с реб Боруха на реб Довида и обратно. Разыгрывающаяся у него на глазах сцена его очень забавляет.

В то же самое время по верхнему ярусу мечется странного вида молодой человек, все движения которого резки и порывисты. Вот он, словно петух на насест, взлетает на кучу камней в углу двора и просовывает голову в пролом. Вид дома муфтиев его, видимо, отталкивает. Он чуть ли не кубарем скатывается на мостовую, перебегает двор наискосок, запрокидывает голову, рассматривая каменную резьбу на дворце госпожи Тунщук, и в сердцах плюет себе под ноги.

Молодого человека в младенчестве, при вхождении в завет с Господом, нарекли Йехиэлем, но все вслед за ним самим называют его странным именем Альбрехт. Почему же назвался он этим немецким именем, не упоминающимся ни в Пятикнижии, на в свитках, ни в книгах больших и малых пророков? Все из-за того, что в Мюнхене, где он родился и провел детство и отрочество, впечатлительный Йехиэль однажды увидел в публичной королевской Пинакотеке две картины знаменитого живописца Альбрехта Альтдорфера, жившего три века назад. Одна из них изображала битву Александра Великого с персами, а другая – купание Шошаны из греческого апокрифа, который католики прибавили к книге Даниэля. Йехиэль и раньше уже видел в своем воображении невероятные картины. Однажды, например, ему привиделись две его старые тетушки, светящиеся в темноте ночного двора. Тетушка Хана светилась пронзительным лимонно-желтым цветом, а тетушка Александра – угрожающе-фиолетовым. Но все же, такого, как на этих двух досках... Крошечные вооруженные всадники не были похожи ни на людей, ни на воробьев. Если же приглядеться по-настоящему, то есть, перестать воспринимать каждую фигурку в отдельности и охватить взглядом целое, то общая их масса, уловленная художником в извилистом движении, производила впечатление не то водоворота, не то вьющихся по земле корней невиданного растения. На другой кар-

тине того же живописца, праведная Шошана, дочь Хилкии, жена Йеоакима, мыла ноги в медном тазу, обслуживаемая тремя служанками, а в огромной красивой синагоге или в храме, уходящем куполами в небеса и украшенном фонтанами, множество ярко окрашенных существ делали что-то совершенно непонятное. Некий ученый господин, остановившийся перед картинами, рассказывал двум мальчикам о том, что там происходит, и Йехиэль стал прислушиваться. В «Битве Александра», за кипящей баталией, оказывается, открывался вид на гору Арарат, на панораму кобальтовых Средиземных вод с купающимся в них островом Кипр, а далее, вглубь сцены – Святой Земли, Синая, африканского берега и утопающего в солнечном свете Красного моря. Красным оно лишь называлось, будучи составленным при этом из чистейшего белого огня. В «Купании» два старика, спрятавшиеся сзади под деревьями, по мнению господина, рассматривали голые ноги Шошаны. Эти ноги так им понравились, что они стали требовать от красавицы пойти и уединиться с ними. Когда же Шошана отказалась, то старики обвинили ее в том, что она уединилась с неким юношей. За это замужней женщине грозило побиение камнями, но пророк Даниэль сумел вывести стариков на чистую воду. Он прекрасно разбирался в деревьях, а старцы запутались – один сказал, что Шошана с юношей уединились под дубом, а другой – что под мастичным древом. Выслушав все это, Йехиэль понял, что ученый господин очень мало понимает в картине, зато много выдумывает. Ведь он ничего не сказал о том, что происходило в храме. Кажется, там окунались в микве[25]. Но что еще? Пировали, плясали... Ничего не знал господин о том, почему на некоторых нижних куполах синагоги были изображены грозящие кулаками смуглые руки. К тому же, было совершенно ясно, что ноги жены Йеоакима, даже оголенные по колено, даже тщательно вымытые, эти бело-розовые ноги

---

[25] *Ми́кве* (микв́а) – буквально: скопление[вод] (*иврит*). Водоем для ритуального омовения.

идеальной формы, не способны сравниться с ее колдовскими золотыми волосами – это Йехиэль понял немедленно.

С того самого дня он называл себя не иначе как Альбрехтом, уверенный, что в него вселилась душа великого живописца, и именно ему предстоит завершить на этом свете то, что не доделал немец. Что именно? Это новый Альбрехт чуть ли не каждый день решал заново. Ясно было только одно: содеянное им принесет исправление всему миру. Самое главное – понять, что происходило в той синагоге с грозящими небесам кулаками и каким магическим деланием занимались бессчетные, как песок на берегу морском, существа. Со временем все прояснится. Скорее всего, это произойдет в одно ослепительное мгновение.

– Что они там делают в этом храме? – серьезно переспросил его сегодня доктор Файн. – Принимают душ профессора Шарко. Вам бы тоже следовало.

Недоверчивый читатель, конечно, желает знать, откуда английскому доктору знакома Шошана Альтдорфера. Да не только знакома – искусно выполненный с нее eau-forte[26] висит в его кабинете в тонкой деревянной рамке, вместе с пятью другими гравюрами. С первого взгляда вы, может быть, не определите, что их объединяет и сплачивает на этих, во всех прочих отношениях скучных, белых стенах врачебного кабинета. Но присмотритесь – и замысел миссис Файн, украсившей ими приемную мужа, станет вам внятен. Каждая из гравюр, скопом приобретенных ею по случаю в какой-то лондонской лавке, имеет прямое отношение к вопросам гигиены, санитарии и медицины. Шошана занята мытьем ног, да и все жители Вавилона, которых изобразил классик немецкого Возрождения, так или иначе принимают водные процедуры. Рядом с этой картиной висит деревянная гравюра великого Дюрера, также носившего имя Альбрехт. На ней изображен умывающий руки Понтий Пилат. Римский прокуратор совершает сей гигиенический акт с помощью прислуживающего ему человека в странном колпаке, причем оба поражают нелицеприятным портретным сход-

---

[26] *Eau-forte* – офорт (*фр.*).

ством с преставившимся несколько лет назад епископом Самуэлем Гобатом и самой докторшей. Далее – «Доктор Николас Тульп, демонстрирующий коллегам анатомию руки» – произведение Рембрандта ван Рейна из Мауритиуса в Гааге. Сразу же за углом, возле окна, врачебная тема поддерживается гравюрой некоего Картари, изображающей сидящего Асклепия со змеиным жезлом и неизвестно как пристроившейся к нему козою. По другую сторону окна помещена литография с «Больного ребенка, принесенного в храм Асклепия» нашего современника Джона Уильяма Уотерхауза. И, наконец, на третьей стене красуется берлинское «Воскрешение Лазаря» Альберта ван Оуватера, на котором евреи, не привыкшие к условиям анатомического театра, так потешно зажимают носы.

Надо отдать должное миссис Файн – она воздержалась от пугающих с первого взгляда анатомических гравюр Альбрехта фон Халлера и от прочих подобных ужасов, выбрав для интерьера доктора произведения в высшей степени пристойные и сдержанные. Эти достохвальные пристойность и сдержанность характеризуют собою все, к чему прикасается ее рука, на что ступает ее нога, падает взгляд ее глубоко посаженных маленьких глаз незабудкового цвета, и все, ради чего тонкие уста ее считают должным подвергнуть воздух процессу волнового колебания.

Смертельно испугавшись, что его сейчас же начнут поливать водою, Альбрехт вырвался из дверей Английской больницы и скачками помчался по узким улочкам еврейского квартала, потом, стараясь запутать след, изрядно покружил и, наконец, выбрался на Виа Долороза. Но доктор Файн был хорошим психологом и не слишком сомневался в выбранной Альбрехтом цели. Поэтому он мог позволить себе зайти, как было условлено, за четой американцев и не торопясь направиться в сторону Двора Лилии.

Доктор Джеймс Файн – человек, выражаясь с предельной осмотрительностью, корпулентный. Благообразное лицо свое, явно выраженного семитского типа, он чисто бреет, чтобы не быть слишком похожим на Янкеле Файна, двадцать лет назад принявшего крещение по англиканскому об-

ряду. Евреи, хоть и держат кукиш в кармане, когда он рассуждает о Спасителе и новой вере, вынуждены прибегать к его врачебной помощи, ибо, с тех пор как скончался «Солантер доктор», рабби Зэев А-рофэ, умевший исцелять без диплома, даже брисские хосиды нуждаются в пилюлях и микстурах.

К доктору Файну, впрочем, ни один хосид, ни брисский, ни любавичский не пойдет. А пойдут они, когда совсем скрутит понос или замучит лихорадка, в «еврейскую» больницу барона Ротшильда на горе Сион. Там, если увидят господа ученые доктора, что болящий одной ногой уже в лучшем мире, проявят к нему неслыханное милосердие и выдадут бесплатную пилюлю, врачующую все недуги. А если страдалец окажется еще и подданным его императорского величества Франца-Иосифа, то вдобавок будет удостоен чести быть выслушанным, и не просто ушами, но диковинным инструментом, именуемым Hörrohr, он же stethoscope[27]. Умирать в этой замечательной больнице – одно удовольствие, да вот беда: всех-то коек в ней 18, 9 для мужчин и столько же для женщин, так что, уж не обессудьте, вряд ли для вас найдется место. Число это не меняется вот уже без малого 40 лет. Да и как можно? Ведь 18 – это гематрия слова «***хай***» – «живой». Впрочем, вот уже куплен участок на Задней дороге, неподалеку от русского подворья, под новую больницу, и уже начали ее строить, так что скоро будет простор – болей, не жалуйся. А что «у Ротшильда» австрияки обделяют российских и прусских подданных, так ведь нигде в мире нет полного совершенства. Но, так или иначе, главы «литовцев» не просто обвинили их в этом, но и вовсе запретили своим людям пользоваться услугами обидчиков. Они даже открыли свою собственную больницу «Посещение недужных» бок о бок с англиканской, но она оказалась хуже всех прочих и, к тому же, самой бедной, так что долго не просуществовала. Вот и остается у праведного еврея выбор: либо маяться вообще без доктора, либо идти к Янкеле Файну.

---

[27] *Hörrohr, stethoscope* – стетоскоп (*нем., англ.*).

Со временем, с одной ослепительной вспышкой все прояснится – считает Альбрехт. Доктор Файн тогда уж точно или прозреет, или ослепнет. Он, Альбрехт, поставит все на свои места.

Зачем же явился сюда, во Двор Лилии, молодой Альбрехт Йехиэль Вайнтрауб? Бежав от доктора Файна, желающего ему только добра, он захотел объявить всему Иерусалиму, то есть, всему миру, очень важную новость, и, к тому же, не одну, провозгласить ее перед всеми, пока она не забылась или не перестала быть новостью. Куда же еще и бежать в поисках всего мира как не в типографию Бака?! Но тут Альбрехт начинает размышлять иначе.

А настало ли время для того, чтобы все узнали то, о чем я хочу сообщить человекам? Не рано ли сей новости, вернее, сим новостям или, гораздо правильнее было бы сказать, сей вести становиться всеобщим достоянием? Готовы ли евреи к тому, чтобы ее принять? Готовы ли к ней христиане, магометане, язычники? Вот это знатное семейство, эти Аль Хусейни – да разве они примут от него эту весть? Да никогда! Что там – от него, даже если слова эти будут золотыми огненными арабскими буквами написаны в небе над Святым Градом, они пройдут мимо или отвернутся. Уткнутся носами в землю – так им привычнее. В конце концов, если глубоко задуматься и признаться самому себе, то и он, Альбрехт, человек, которому суждено исполнить нечто неслыханное, еще не готов возгласить собственную весть, обратив смутное предчувствие в словесное и буквенное выражение. Нет, тот трепет, который он испытывает, скорее указывает на близость раскрытия великой тайны, которое суждено ему именно в этом месте. Именно в этом! Потому, что оно столь же прочно связанно незримыми нитями с духовным эфиром, как телеграф своими проводами связан с миром физическим.

– Ах, вы все равно ничего не поймете! – кричит он сверху гуляющим по нижнему двору курам. – Вы глупы, неотесанны! Вы, с Божьей помощью, – нелетающие птицы! Все же знайте, что на свет Божий уже явилось создание рук человеческих, именуемое «телефон», что означает: «вещает

вдаль», и так же, как «телеграф» готов писа́ть вдаль, так «телефон» станет вдаль разговаривать. Скоро сыны и дщери человеческие, разделенные сотнями миль, смогут беседовать, слыша знакомые и дорогие голоса друг друга через дальние страны, и под звуки музыки, играемой в Париже, пустятся в пляс в Лондоне, Вене и Берлине. Шошана станет из Мюнхена сообщаться по телефону с двумя безмерно отдаленными старцами и при этом не нарушит законов супружеской верности, ибо один старец будет в тот миг находиться в Вавилоне, а другой – в Нью-Йорке. А я, тот самый юноша Альбрехт, с которым она на самом деле уединилась, я буду жить невидимым, пребывая в лишенном зримого образа электричестве. Но вы, прикованные к земле пернатые, этого не поймете!

Эта длинная надсадная тирада выдает его. Доктор Файн, заслышав снизу петушиные ноты своего пациента, крадется за ним, как упитанный лис, навостривший уши. Он плавно принимает Альбрехта в отеческие объятия и успокаивает:

– Сегодня – никакого душа. Но помойте хотя бы лицо, когда придете домой. Вы ведь идете домой, разве нет?

(На гладкой поверхности немецкого языка, на котором Джеймс Файн разговаривает с Альбрехтом, внимательный и компетентный слушатель заметил бы множество родимых пятен еврейского жаргона.)

– Мне надо в типографию, доктор, – умоляюще просит Альбрехт. – Мне надо повидать станок и проверить буквы реб Боруха.

Доктор Файн сопровождает его на второй этаж.

Гедалья собирается уже проститься с реб Довидом и реб Борухом, чтобы спросить на постоялом дворе в первом этаже, не изволили ли проснуться и позавтракать мистер и миссис Клиффорд Годсон из Ковингтона, штат Кентукки, в распоряжение которых он должен был поступить с этого дня. Как вдруг словоохотливый наборщик неожиданно произносит странную фразу:

– Вот ведь как, учители мои: одни никак не рождаются, другие – рождаются без остановки. Одни никак не родятся,

другие – никак не помрут. Но и это еще не все: одни не желают рождаться, а другие, однажды родившись, не желают жить и распоряжаются и своей, и чужой жизнью так, словно Господь подарил им эти игрушки – делай что хочешь...

Оба посетителя смотрят на него с некоторым недоумением, требующим разъяснения.

Реб Борух продолжает, указывая большим пальцем правой руки в направлении печатного станка:

– Вы еще не слышали, что вчера произошло в городе? Вот уж, не про нас будь сказано! Сейчас, видно, как раз печатают. Скоро все только об этом и будут говорить. Вы ведь знали старика Альтшулера – Мотке Альтшулера, у которого сын служил в банке Валеро?

Гедалья и реб Довид устремляются в типографию, прозванную «уделом Ашера». Там черно-золотой монстр сэра Мозэса Монтефиоре как раз закончил изрыгать первый разворот «Оленя» – теплые сыроватые листы, пахнущие свежей типографской краской. На второй странице краткое сообщение без подписи:

Мы получили из полицейской управы следующие детали убийства, произошедшего в среду в квартале Нахалат Шива в Иерусалиме: Молодой человек двадцати двух лет – Шауль Альтшулер, служащий банка Валеро, недавно призванный в армию, пришел к себе домой и выстрелил несколько раз в своего отца, Мотла Альтшулера, турецко-подданного 64 лет, а затем выстрелил себе в лоб и покончил счеты с жизнью. На столе его найден большой лист бумаги, на коем было написано синим карандашом на немецком языке: «Семь причин привели меня к смерти». Следствию придется изрядно потрудиться, чтобы установить сии причины, ибо ни одна из семи причин столь страшного преступления на этой бумаге не упомянута.

«Почему вдруг на немецком языке?», недоумевает Гедалья. «Ах, да, конечно – немецким языком в компании господина Бен-Йегуды из вежливости называют идиш...»

(Не успел он это подумать, как уже устыдился своих мыслей, то есть того, что первым его вопросом был именно этот, насчет немецкого языка, а не какой-нибудь другой, куда более естественный для всякого обычного человека, склонного сочувствовать горю ближнего и проливать слезы при... Совершенно не важно при чем, но все-таки проливать слезы! А он опять со своим языком!)

И все-таки, какая странная вещь – семь причин, ни одна из которых не названа! Погоди-ка... Ведь он помнит этого Шауля! Ну да: в прошлом году тот приходил к нему с просьбой перевести письмо, написанное по-французски. Там была замешана какая-то барышня... Потом Авигайль показывала ему фельетоны этого молодого человека, напечатанные за границей, да-да, фельетоны на иврите из журнала «А-леванон». Что-то одновременно унылое и смешное.

Он непременно должен выяснить все, что удастся, у полицейского чиновника, занимающегося этим делом. И еще ему нужно, во что бы то ни стало, побывать в доме Мотла Альтшулера и все осмотреть своими глазами. Он попросит у господина Бен-Йегуды полномочия называться «корреспондентом по полицейским вопросам».

На этом мысли его резко прерываются, ибо как раз в тот момент, сопровождаемая доктором Файном и следующим позади Альбрехтом, в типографию входит пара, в которой мой проницательный читатель, достаточно уже подготовленный заботливым автором, немедленно узнает мистера и миссис Годсон.

Клиффорда Годсона трудно не узнать – он типичный американский янки из штата Кентукки, и вряд ли тут требуются какие-то дополнения и уточнения. Следует лишь добавить, что ему с небольшим пятьдесят лет и что большую часть своей полной свершений жизни он занимается измышлением и осуществлением различных прожектов, так что мудрое Провидение и созидательная авторская воля привели его в Иерусалим совершенно неотвратимо.

Офелия Грэйс Патриша Годсон – дама во всех отношениях прогрессивная. Если читателю не довелось ознакомить-

ся с ее «Commission», «Salt Valley», «After the Storm»[28] и другими романами, то он все же может проникнуться уважением к самому роду ее деятельности, становящейся все более и более распространенной среди представительниц прекрасного пола. Впрочем, непременной надобности читать эти или другие ее романы, конечно, нет, если только вы не особенно заинтересованы в истории и быте североамериканских Соединенных Штатов. Иное дело – книга ее путевых записок «On the Irtysh and Other Great Siberian Rivers»[29], написанная во время совместной с супругом поездки по Сибири и полная множества колоритнейших деталей, которых вы больше не найдете нигде.

Происходит знакомство. Гедалья, все еще рассеянный, жмет руку мужу, раскланивается с женою.

– Я в вашем распоряжении! Что вы успели осмотреть в Яффе?

– Клиффорд, как нам повезло с переводчиком – такой любезный господин и совершенно без этих нелепых локонов! Как они называются, мистер Букбиндер? Как, простите? Пэ-от! О, я это обязательно запомню. У меня прекрасная память. А этот господин в очках? Мистер Фридлэндер. О-о, библейский натуралист, *восхитительно*! Мистер Грувер-младший, печатник! Спросите его, мистер Букбиндер, какую самую *восхитительную* новость он сегодня напечатал в газете?

На эту тему двух мнений быть не могло. Приходится перевести заметку о семи неведомых причинах двух страшных смертей. Миссис Годсон тут же заявляет, что Гедалья просто обязан расследовать это темное дело и сообщить ей результаты.

– Это, видимо, готовый роман! А чем в настоящее время изволит заниматься наш ученый друг, мистер Фридлэн-

---

[28] *«Commission», «Salt Valley», «After the Storm»* – «Поручение», «Соляная долина», «После бури» (*англ.*)

[29] *«On the Irtysh and Other Great Siberian Rivers»* – «На Иртыше и других великих сибирских реках» (*англ.*)

дер? Как вы сказали? Мандрагоры? Мандрагоры! *Восхитительно!*

Все то время, что знаменитая писательница ведет оживленную светскую беседу в типографии, бизнесмен из Кентукки хранит молчание и производит даже несколько сонное впечатление. Но, когда Гедалья начинает рассказывать про мандрагоры, мистер Годсон оживляется и придвигается к говорящему вплотную.

– Вот как: десятки благодарственных отзывов!

В глазах его зажигается огонь предпринимательства. Всего месяц назад он с разбитым сердцем вынужден был отказаться от производства волшебного напитка из листьев коки и коловых орешков. Некто Смит из штата Джорджия, готовивший это средство, способное лишить сна на неделю, уперся, словно баран рогами, и – ни в какую! Ему, видите ли, нужно еще пару лет на эксперименты. Вот и проводил бы свои эксперименты под эгидой фирмы Клиффорд Годсон. Так нет! Ему нужна свобода! Вот пусть и целуется со своей свободой. А тут, похоже, что-то значительно более грандиозное, чем кока и коловые орешки...

Вся компания перемещается в комнату наборщика. Развешанные по стенам «рекламы» захватывают всеобщее внимание.

Пока чета Годсонов с глубоким интересом, хоть и не понимая ни слова, всматривается в исписанный «*библейскими письменами*» листок, доктор Файн потихоньку протягивает Гедалье свое сочинение «О гигиене зубов». Тот рассеянно засовывает свернутый в аккуратную трубочку листок в карман. (Еще один заказ! Слишком много глупостей на одного переводчика, вечно находящегося на скрещении больших и малых сюжетов, частных и общественных интересов, мышиной возни и мощного движения планет...)

Дело в том, что и сей корпулентный джентльмен, имеющий вполне солидную практику и не жалующийся на скуку, в глубине души тоже имеет неодолимую тягу к прожектам, то есть к чудесным картинам абсолютного общественного блага, немыслимого в нашей ограниченной реальности. Да, да, за основательным фасадом деловитого позитивиста

скрывается тайный романтик. В доказательство вышеприведенного утверждения можно привести странную дружбу, связывающую доктора Файна с Вильгельмом Мозэсом Шапиро.

Как, наш просвещенный читатель не знает, о ком идет речь?

Действительно, сей последний не только еще не появлялся на страницах этой рукописи, но и само имя его не упоминалось. А ведь сколько шума было в последние годы связано с этим именем и в Иерусалиме, и далеко за его пределами! Ибо господин Шапиро, такой же новый христианин, как и доктор Файн, имел неосторожность открыть изумленному человечеству и предложить на продажу одну за другой самые невероятные археологические древности, какие таила или, по крайней мере, могла таить Святая Земля наша. Чего только не было выставлено в его лавке на Христианской улице! Изобилие бесценных сокровищ рождало недоверие скептиков. Ведь каково обыкновенно первое восклицание всякого, кто видит перед собою нечто потрясающее? «Невероятно!» – вскрикивает пораженный величием увиденного. Невероятно! То бишь, говоря попросту: мы этому не верим, ибо в это и поверить никак нельзя. А почему нельзя в это поверить? Да потому, что сие как раз невероятно, то есть, не поддается нашей нынешней скептической вере, слишком уж не соответствует привычным нашим меркам и нормам. И выходит замкнутый круг: не верим оттого, что это невероятно, и невероятно оно оттого, что мы в это не в силах поверить.

Вот и господину Шапиро чем дальше, тем меньше верили, и уже пошли вокруг его лавки чудес различные слухи. Один почтенный ученый из Базеля написал про его памятные камни в газете «Allgemeine Zeitung» уже и вовсе недвусмысленно:

В Иерусалиме, видимо, создана фабрика, из коей выходят древние памятные стелы. Г-н Шапиро (крещеный еврей) заявил, что нашел камень, на коем написано «Моисей», и еще камень, на коем приказ царя Ирода всем инородцам под страхом

смерти явиться во храм, и третий, на коем надпись, сделанная письмом, сходным с письмом на камне Миши, царя Моавского, а содержание ее – глава 72 из книги Псалмов… Я встречал этого Шапиро лицом к лицу, и в характере его вполне совершить такую махинацию.

А господин Бриль из Майнца в своем еженедельном приложении «А-леванон», которым гордится газета «Der Israelit», мало того, что повторяет такой нелестный отзыв в переводе на святой язык, так еще и добавляет от себя:

И сердце наше радуется, что мы не были такими глупцами, чтобы в простоте своей поверить, будто нашелся камень с могилы учителя нашего Моше. А касательно г-на Шапиро можем добавить, что человек сей поднял шум в стане еврейском также и имеющимися у него древними свитками Торы, писанными на красных бараньих кожах. И уже сподобился пленить сердце некоего мудреца, дабы тот написал книгу об одном таком свитке Торы, но покуда не сыскал дурака, готового отвесить ему столько денег, сколько ему угодно получить за сей свиток.

Так вот, доктор Файн до сих пор нимало не сомневается в искренности своего друга и в подлинности его сакральных находок, хотя уже и самый видный авторитет в библейской археологии, профессор Клод Клермон Ганно, восстал на Шапиро, когда свитки Второзакония, писанные рукою величайшего из пророков, были выставлены в Британском музее. Только что, 21 августа сего года, в газете «Таймс» появилась статья ученого француза, в которой тот утверждает, будто эти бесценные свитки – всего лишь обрезки йеменских пергаментов семнадцатого века, на которых-де сам Шапиро древним самаритянским письмом написал текст Второзакония с христианскими поправками. Но доктор Файн слишком хорошо знает, что французу доверять нельзя. Что же, все прочие эксперты, все эти достойнейшие английские и немецкие профессора, признавшие свиток подлинным, ни-

чего не понимают, и только он один, Клермон Ганно, непогрешимо зорок?!

Нет, господа! Просто все человечество делится на два непримиримых лагеря: на тех, кто «за» и на тех, кто «против», на сторонников великих прожектов и на их противников. Те, кто против – всегда против, к тому же – против всего. Иногда доктору Файну представляется, что люди эти вовсе не хотели бы узреть царство Божие и сделают все возможное, чтобы как-то отбрыкаться от него и убедить себя и других в том, что все это одни «фантазии». Но он, он принадлежит к тем, кто «за», и, следовательно, вынашивает как минимум один собственный прожект.

Будучи истинным позитивистом, а вовсе не отвлеченным мечтателем, как мог бы после всего сказанного выше подумать скорый на выводы и недалекий читатель из тех, что читают, да не вчитываются в суть, он задался целью всеобщего оздоровления методом «санации». А насколько его цель труднодостижима, по причине косного упорства жестоковыйного племени, он прекрасно понимает. Люди, в близорукости своей не уверовавшие в Спасителя и не принявшие Сына Божия, не поверят и в микробов и бактерий, ибо не могут увидеть их собственным невооруженным глазом. Но трудности его не остановят! Ради этой высокой цели замыслил он для начала серию просветительных газетных публикаций в «Олене», успев заручиться одобрением редактора. Вопрос же о том, кто будет переводить эти сочинения на святой язык, можно, конечно, считать совершенно излишним. Впрочем, принимая во внимание крайнюю двусмысленность своего положения, доктор Файн не решается поставить под этими сочинениями собственное имя и предпочитает подписываться совершенно нейтральным псевдонимом: «Д-р Жюль Пикар из Парижа». Эта маска не только освобождает его от необходимости собственной персоной присутствовать за каждой из справедливых фраз, обращенных к читателю (то есть показывать, хоть бы и умозрительно, свой крупный нос с изрядной горбинкой, гладко выбритый двойной подбородок и весьма выразительные миндалевидные глаза), но и более того: она при-

дает всей его гигиенической проповеди еще более солидный тон, который всегда внушают любым словам названия мировых столиц.

Луч солнца падает на стену в комнате наборщика.

В тот момент, когда взгляд Альбрехта ловит немецкий перевод «Песни Песней», и четкий прописной готический шрифт, старательно выведенный опытной рукою Гедальи, складывается в осмысленные фразы, его осеняет. На картинах Альтдорфера изображены вовсе не люди. Это же... Und an unserer Tür sind allerlei köstliche Früchte, frische und alte... Господи, как он до сих пор этого не видел! Это же мандрагоры! Загадка, мучившая его более десяти лет, разрешается внезапно, как он и предвидел, словно повязка спадает с глаз. Бессчетная рать идущих в наступление посланцев любви. Ничто их не остановит! Они пройдут корнями глубоко под дном морским, они вынырнут из-под земли и наполнят ликованием Святую Землю, Африку и Кипр. В один прекрасный день мандрагоры принесут Царство Божье на землю. Шошана станет отдавать свои любови каждому, и не будет ни обделенного любовью, ни виновного в прелюбодействе. Мандрагоры с победным криком выскочат из-под земли прямо на дворе храма, станут петь и веселиться, и предаваться любви, и погрозят отросшими в темной почве кулаками скрывающим солнечное сияние облакам.

Гедалья, тем временем, не откладывая дела вдаль, на ходу записывает в тетрадь:

В канун Нового Года в наш город прибыл господин Клиффорд Годсон из города Ковингтона, что в штате Кентукки, в Северной Америке.

Сей господин приехал по делам основанной им там компании, поставившей себе целью поставлять воду из Иордана всему христианскому миру для крещения и прочих ритуальных нужд. Господин Годсон привез с собой специальные бочки для доставки воды из Иордана во все четыре стороны света. Воду сперва прокипятят, затем наполнят ею бочки, которые запечатают печатями американского консульства и пат-

риарха.

– Думает ли сударь мой, – спросил я господина К. Годсона, – что это будет серьезным предприятием, приносящим большую выгоду?

– Я надеюсь, – ответил мне сей решительный господин. – Я уверен. Конечно, два-три года пройдут без барышей, и за это время компания потратит немало средств, но затем доход будет немалым.

Вот ведь как, подумалось мне: если в земле нашей нет месторождений золота, серебра и драгоценных камней, возможно, есть в ней иные сокровища, и одно из них – воды иорданские. Хватит ли вод иорданских для всех нужд христианских в целом мире?

К вышесказанному добавлю, что господина Годсона сопровождает в поездке его супруга, весьма известная в Соединенных Штатах писательница Офелия Грэйс Патриша Годсон, работающая над путевыми очерками Святой Земли и сообщившая мне по секрету, что обдумывает план романа из библейских времен.

Это его маленькая политическая уловка. Он подкупит господина Бен-Йегуду этим interview[30]. И сразу попросит его санкции называться «корреспондентом по полицейским вопросам», чтобы добраться до полицейского следователя и до квартиры несчастных Альтшулеров.

[30] *Interview* – интервью (*англ.*)

Краткое отступление,

в котором автор не может удержаться от того, чтобы не поделиться с читателями любимой своей естественнонаучной «корреспонденцией», опубликованной в еженедельнике «Олень», каковую позволяет себе оставить без всякого комментария

Из колонии Ришон-ле-Цион нам сообщают: доктору Зусману принесли курицу, коя только что вышла на свет Божий из скорлупы своей, и у ней четыре ноги.

III

Глава, в которой персонажами предпринимаются некоторые попытки в разных направлениях, пока что не приносящие ожидаемых результатов, иерусалимские «прожекты» продолжают зреть и мандрагоры набирают силу под землей

Весь день Гедалье Бухбиндеру пришлось провести в роли драгомана и чичероне при чете американцев. Результатом этого бесконечно долгого и душного дня, проведенного под палящим солнцем в вонючих закоулках Старого Города и ушедшего, по его собственному выражению, «псу под хвост», стало «множество бессмысленно выброшенных слов» и приобретение в лавке ювелира у Яффских ворот на редкость крупного ограненного рубина изумительного цвета для миссис Годсон, а также флакончика ароматического розового масла для Авигайли.

Дома пыльного и потного Гедалью встречает соблазнительно прохладная Авигайль. Осторожно, чтобы не осквернить ее совершенство пагубным влиянием улицы, он целует ее в оба уголка губ по очереди и тянется в карман за купленным для нее подарком. Тут его рука хватается за свернутый в трубочку листок: статья доктора Файна! Он собирается перевести ее прямо за чашкой холодного чаю, в какие-нибудь пять минут, и как можно скорее забыть. Но Авигайль, выхватив у него бумажку, начинает читать, смеясь с первой же строки, и заявляет, что сама непременно должна перевести этот шедевр:

До чего же неприятно, когда миловидная дама откроет рот, а из него выглянут желтые нечистые зубы! Все лицо ее тем самым будет изуродовано!

– Можно, пожалуйста?!

Гедалья не сопротивляется. Потягивая холодный чай господина Высоцкого, настоянный на веточке лаванды, – гениальное изобретение Авигайли – он вслух, с глубоким чувством и экспрессивным выражением, словно монолог со сцены, декламирует жене вдохновенные фразы доктора Файна, а та с ходу записывает перевод с языка Шекспира на язык Экклезиаста:

Верно, искусственные зубы весьма красивы, но они обычно слабы и никогда не смогут прожевать пищу столь же успешно, как натуральные. Некоторые оставят искусственные зубы в мясе, ежели оно слишком жесткое, и в иной пище, ежели она недоварена. Смех и жалость вызовет подобное происшествие в сердцах его свидетелей. Тот же, кто желает уберечься от подобной беды, должен посещать зубного доктора периодически, даже если не чувствует никакой боли, дабы убедиться, что во рту его не завелся дурной зуб, требующий лечения. Так можно избежать удаления зубов, ведь если вырвать зубы, то щеки западут и лицо до времени приобретет старческий вид.

– Зубы твои подобны стаду овец, вышедших из купальни, все они без порока и бесплодной нет среди них! – заливается Гедалья, расплескивая чай. – Ох, доктор, пощадите!!!

Важнейшая вещь – чистка зубов после еды. Не следует чистить между зубами иглою или железной проволокой. Зубная щетка не должна быть ни жесткой, чтобы не повредить стеклянную поверхность зубов, ни слишком мягкой, ибо тогда она не снимет с зуба нечистоты. Как мы будем чистить зубы? Станем двигать щетку не справа налево и слева направо, как делает большинство, ибо это только сдвигает и прячет остатки пищи на зубах в недостижимые места, но сверху вниз! Сначала кажется, что это трудно, но мы скоро привыкнем.

Слишком горячие, слишком холодные и слишком сладкие блюда и напитки весьма вредны для зубов. Многие врачебные порошки, приятные для рта, содержат вредные вещества. Лучше всего чистит хорошо измельченный порошок морских раковин, после которого следует полоскать зубы чуть теплой водою. Знайте, что чистота рта избавляет нас от миллионов микробов, попадающих в организм с дыханием, и сколько бы ни чистил человек рот свой, никогда не будет того достаточно.

Автор надеется, что читатель на него не в обиде за дословное воспроизведение этого поучительного сочинения. В конце концов, разумные слова никогда не бывают лишними, даже если к сюжету они имеют весьма отдаленное касательство. К тому же, это первая газетная статья, к которой приложила свою руку Авигайль, и уже одним этим она заслуживает внимания. От удовольствия у Авигайли даже прошла мучившая ее с ночи мигрень. Через неделю она аккуратно вырежет эту проповедь чистоты из нового выпуска «Оленя» и поместит в свой любимый бювар, в коллекцию перлов журналистики.

Что же до розового масла, то по его поводу изрядно дожившийся торговец торжественно сообщил, что масло особое, *казанлыкское*, привезено из Болгарии, где его добывают паровой перегонкой из лепестков дамасского и мускусного шиповника, и такого ароматического розового масла не делают ни в Сирии, ни в Турции, ни даже в Персии: «Достаточно одной капли, и царица твоих грез, возлюбленная сердца твоего, станет благоухать, как гурия, и разум господина моего помрачится от страсти и неги».

Длинный нос Гедальи, мучительно переносивший городской смрад, умел наслаждаться тонким благоуханием смешанного с лавандой чайного листа, пряным духом молотого кофе и бесконечными оттенками специй. Он обожал щекочущий намек на запах, исходивший от корней каштановых волос Авигайль, резкий пьянящий удар чистого пота, внезапно выступающего у нее подмышками, но

более всего, до помрачения рассудка – изливающийся из нее в минуты самозабвенной нежности поток того аромата, о котором поэты, начиная с автора «Песни Шломо», говорят лишь иносказаниями, за неимением лучшей замены поминая нард, мирру, кофер и мандрагоры. Он любил огромное множество запахов, от сладковатого керосина до терпкого выдержанного красного вина (запах белого он отчего-то не выносил), от горящей и только что догоревшей восковой субботней свечи до покоящегося в кедровом ларце обернутого в льняное волокно этрога. Различал и такие деликатные оттенки, как запахи сухого и «доходящего» под крышкой вареного риса, новой писчей бумаги разных сортов и старых книжных страниц, по разному сочетающихся с видавшей виды кожей и пересохшим коленкором. Этот нос был так же чувствителен к характерам и ситуациям, немедленно улавливая и едва пробивающийся душок тления в общественной атмосфере, и унылую кислоту залежавшихся идей, и едкий дымок еще не разгоревшегося, но тлеющего скандала.

А как же семь загадочных причин страшного преступления? Их длинный нос Гедальи все еще не может распознать в сбивающем с толку смешении смутных иерусалимских умонастроений и коллизий. Но некий расплывчатый душок этого происшествия, окруженного заговором молчания, ощущается им в полной мере.

Прежде всего, стало известно, что хранивший инкогнито автор газетной заметки исполнил свои обязанности не самым лучшим образом. То ли по рассеянности, которой подвержены многие жители Иерусалима, постоянно перекатывающие в уме свои прожекты, которые уводят их в сторону от повседневной рутины, то ли по иной неведомой причине, он не сообщил читающей публике о том, что своего отца, Мотла Альтшулера, молодой Шауль Альтшулер вовсе не убил. Пять пуль, выпущенных из бельгийского шестизарядного револьвера Nagant модели 1878 года, были обнаружены в разных местах комнаты, но ни одна из них не задела пожилого турецко-подданного, трагическая смерть которого от руки собственного сына столь ужаснула чита-

телей. Мотл Альтшулер, судя по его сбивчивым показаниям, данным полиции, после первого же выстрела лишился чувств и больше ничего из происходившего в тот момент в доме не помнил. Старик продолжал пребывать на этом свете, в квартале Нахалат Шива, безвыходно проводя время в комнате, поделенной надвое большим дубовым шкафом и старой шелковой ширмой, в той самой комнате второго этажа углового дома, где в силу семи неведомых причин прозвучали роковые пистолетные выстрелы. Проникнуть в эту комнату власти не позволяли никому.

Узнав у господина Бен-Йегуды, что сообщение в газету принес некто Йохай Аренштам из Еврейского квартала, несколько раз по собственному почину поставлявший «Оленю» мелкие городские новости, Гедалья встретился с ним, но ничего нового не узнал. Оказалось, что все сообщенные им сведения были получены от некоего уведомителя из низших полицейских чинов, которого Аренштам держал в строгом секрете. Сам же он не имел об этом происшествии никакого представления. «Как, впрочем, и ни о чем другом», – язвительно подумал Гедалья.

Шли дни, и между докучливыми обязанностями драгомана и домашними радостями Гедалья не продвигался ни на шаг к раскрытию тайны. Он проделал путь от скромного и молчаливого ***комисери муавини*** Кочак-Эфенди, через резкого и антипатичного ***комисери*** Абдул-Бея до самого ***меркез мамури*** Хайдар-Бея-Эфенди, смотревшего на всякого посетителя, без различия чина и звания, как на грязь под подошвами своих сияющих матовым глянцем хромовых сапог, ибо значительнее ***меркез мамури*** во всем иерусалимском санджаке, да и в целом вилайете Сирии уже никого не было, и выше на служебной полицейской шкале находился лишь имперский начальник полиции, ***полис мюдюр***, он же ***субаши***, в далеком Константинополе. Но результат всех усилий Гедальи, всего этого скорбного восхождения по должностной полицейской лестнице, был равен нулю. Ответ оставался одинаково односложным и невразумительным: похорон не будет, больше ничего знать не положено.

Перед дверью старика Альтшулера уже целую неделю стоит никого не пропускающий кавас,[31] и именно от него Гедалье удается услышать нечто неожиданное:

– Никакого тела-то и не было, так что и хоронить нечего. Шли бы вы домой, эфенди!

– Как так, позвольте, не было никакого тела?

– Йок!

Ну, хорошо, старик жив, но ведь Шауль-то застрелился. Оставил записку: «*Семь причин привели меня к смерти...*», а потом *«выстрелил себе в лоб и покончил счеты с жизнью»*. Или и тут не все так просто?

Пока что Гедалья по крохам собирает все, что было известно о несчастном самоубийце.

Образование его состояло, главным образом, из пробелов, словно карта некой неведомой, совсем недавно открытой и почти не исследованной земли. Он не много преуспел в ешиве, а в светских науках был и вовсе не подкован. Начинал покойный с неудачной торговли письменными принадлежностями в отцовской лавке в Еврейском квартале. Этому достойнейшему занятию, приносившему одни убытки, пришла на смену немногим более удачная торговля бакалеей. Молодой Альтшулер, испробовавший письменные принадлежности отца еще в ранние годы, тянулся к перу, бумаге и печатному станку, словно невинный и жадный младенец к вожделенной материнской груди. Едва ли не все мы с некоторых пор стали старательно влачиться по писательской стезе. Видимо, в этом многотрудном занятии есть что-то столь привлекательное для человеков, что, вопреки умножаемой словесными трудами скорби, многие из нас готовы без оглядки брести по пути, ведущему в сомнительное бессмертие. Только что читатель имел перед собою пример доктора Файна. Но это, как образно заметил один норвежский поэт, всего лишь «вершина айсберга». От опрометчивых мудрецов, принявших трагическое решение записать устную Тору, до скромного автора сих строк,

[31] *Кавас* – страж, облеченный низшей полицейскою властью (*тур.*)

если задуматься, – всего один шаг, словно от великого до смешного, по меткому определению покойного Бонапарта.

Первый свой фельетон, написанный на святом языке, Шауль Альтшулер послал в Майнц, в то самое приложение «А-леванон», которое столь нелестно отзывалось об открывателе древностей, господине Шапиро. Этот номер Гедалья не нашел, но в коллекции Авигайли обнаружилось следующее сочинение начинающего автора, опубликованное вскоре в том же издании. Оно свидетельствует о том, какую радость доставила молодому автору его первая публикация:

Вот сижу я здесь, а идеи мои вскипают и бушуют, словно волны в бурном штормовом море, а голова кружится на мне, как колесо, от тревог о ничтожности дохода моего, и скорбными глазами высматриваю я покупателей: пусть приходят и покупают! Но покупатели проходят мимо. Ибо карманы их пусты, и оттого не спешат они купить то, чего жаждет душа их и требует желудок. И так сижу я в полном конфузе, и не знаю отчего: от покупателей ли с пустыми кошельками или же от товара моего, не потревоженного на его постоянном месте. К тому же, навлек я на себя гнев власть предержащих первой своей статьею, о них написанною.

И вот, идя по рынку, наткнулся я на одного из сих власть предержащих, который еще и назывался раввином, и тот набросился на меня и стал читать мне мораль, и сказал: «Альтшулер, Альтшулер, жаль мне тебя, ибо проторил ты себе недобрую дорожку! Ты – уроженец Иерусалима, а выбрал путь пресловутых “штудентов” – поносить Иерусалим с руководителями и наставниками его! Сойди с пути сего, опомнись!» И тому подобное…

Вот с какими словами обратился ко мне сей руководитель и наставник. Не раз слышал я подобное и от носителей просвещения, да будет перо мое верным истине, и я оставляю за собой право сообщить о том почтеннейшим читателям. Тем временем, я слишком затянул сие письмо. Посему закругляюсь, но в следующий раз позволю себе изъясниться определеннее.

Следующего раза, однако, не последовало. Неизвестно, что именно стало причиной сошествия молодого Альтшулера с тропы гениев и бумагомарателей, но, так или иначе, он устроился работать приказчиком в банк господина Хаима Аарона Валеро и выкинул из головы фельетоны. Эта должность позволила ему почувствовать себя, наконец, зажиточным молодым человеком, способным встать на ноги и послужить примером многим. Но не тут-то было. Явилась – не запылилась новая напасть: призыв в армию.

Не так давно власти изобрели совершенно новое уложение в правилах и процедуре военного набора, благодаря которому всякий без исключения подданный Великого Полумесяца должен отдать дань сему воинственному рожку – кто кровью, кто потом, а кто звонкой монетой. Вот каков ныне установленный порядок: каждому новобранцу подаются в урне билеты трех различных цветов: черного, красного и белого. Вынувший черный билет немедленно отправляется в действующую армию, куда бы ни пришло в голову начальству – хоть в Фессалоники, хоть в Алеппо; вынувший красный – объявляется «резервистом» и обязан подождать, пока начнется война, чтобы пожертвовать собою во славу султана; тот же, кому достался белый, становится «мустахафизом» – хранителем города, и остается на службе в своем месте. Новая система немедленно принесла правительству немало денег, ибо тот, кому выпадет жребий попасть в ряды армии, должен выкупить себя за 50 лир серебра, но и «резервист», и «мустахафиз» не могут отделаться меньшим.

Шауль Альтшулер, которому выпало стать хранителем города, вопреки всеобщему ожиданию, не стал выкупать свою вольную жизнь. Он получил тесноватую потертую униформу с чужого плеча и пистолет, бельгийский шестизарядный революльвер Nagant модели 1878 года, которым вскоре воспользовался.

Вот практически и все, что знает о нем Гедалья Бухбиндер, если не считать любовной драмы годичной давности. Тогда, если ему не изменяет память, на пути счастья Шауля и некой юной девицы из колонии Петах-Тиква вста-

ла железная воля родителей с обеих сторон. Барышня, вместе с несколькими товарками, была отправлена на учение в Париж, на деньги «известного благотворителя», и однажды написала молодому Альтшулеру письмо, в котором твердо просила его забыть об их прошлом. Письмо она, явно гордясь собою, написала по-французски, нимало не смущаясь тем фактом, что французского языка Шауль не знал совершенно. Пришлось бедняге искать переводчика. Так и произошла их единственная встреча с Гедальей.

Но все это было уже довольно давно. Неужели несчастная любовь так долго ждала случая, необходимого стечения обстоятельств, такого, как получение револьвера, чтобы подтолкнуть молодого человека к гибели от собственной руки?

Liebestod – смерть от любви. Но мы также можем истолковать это выражение как смерть из любви... Из любви к чему? Из любви к смерти, например. Чем не причина покончить счеты с жизнью!

Перед глазами нашего добровольного следователя всплывает старинная немецкая гравюра из книги баллад, которую он как-то рассматривал у доктора Файна, пока тот, по обязанности прочитав Авигайли краткую душеспасительную лекцию о смысле непорочного зачатия, пытался убедить ее использовать против мигрени медицинских пиявок или заказать очки. Баллада называлась «Спор Жизни со Смертью». Смерть изображалась в виде таинственного незнакомца, аристократа, столь искусно задрапировавшегося в свой изысканно наверченный плащ с капюшоном, что, за исключением одного костлявого указательного пальца, его не за что было ухватить. Жизнь олицетворяла дебелая крестьянка со снопами в толстых руках, пышущая оптимизмом, словно взошедшее на дрожжах тесто, и взывающая к скабрезным щипкам налившихся пивом мужиков. Обе стороны были совершенно уверены в собственной непобедимой правоте и после каждого куплета повторяли: «Сей мир – мой». Когда бы несколько поубавить в этой фигуре немецкой пивной похабности, госпожа Жизнь могла бы персонифицировать традиционную еврейскую «жену доблестную»,

о которой с наступлением каждой субботы поют вслед за царем-философом и баснописцем наши мужья в назидание своим несовершенным половинам. И шерсть, и лен ее не пугают, и руки ее сами тянутся к рукоделию, издалека, словно торговое судно, доставляет она пропитание, вскакивает с супружеского ложа еще затемно, чтобы дать домочадцам мясо, а служанкам – указания, покупает недвижимость, на доход от рукоделия высаживает виноградники и наслаждается тем, как хороша прибыль ее. Бедра такой достойной подражания матроны перепоясаны крепостью, она, безусловно, не преминет народить мужу и всему народу Израиля как можно больше сынов и дочерей, не менее крепких и ладных, чем она сама, и так далее, и тому подобное... Вот вам вполне достаточная причина преисполниться неприязни к этой земной жизни.

Возможно, думает Гедалья, тяга к смерти – не более чем оборотная сторона нашего, как теперь выражаются доктора, «психоза» по поводу деторождения. И то, и другое, доведенное до абсолюта, ведет к концу времен и к решению всех проблем, так измучивших человечество в целом и еврейство в особенности. Мы устали, смертельно устали от всего, связанного со временем, от временности всего сущего, от всего материального – рождающегося, зреющего, испускающего запах и, перезрев, умирающего. Душа стремится туда, где все неизменно, где рождение и рост так же нелепы, как загнивание и смерть. В тот момент, когда в мир пришло время, душа, войдя в бренное тело, рассталась с чем-то, о чем не перестает тосковать.

В далеком детстве, в Варшаве, ежедневно проходя с отцом по рынку, Гедалья постоянно видел старика, сидевшего на углу у входа в зеленной ряд. Он всегда сидел на одном и том же месте, и его присутствие казалось Гедалье таким же непреходящим, бессрочным и само собой разумеющимся явлением, как небо над головой, как неспешный цокот лошадиных копыт, как мерный гомон рыночной толпы. Когда в один прекрасный день старика не оказалось на его вечном посту, произошел взрыв, равный известному каббалистам «разбиению сосудов». Мальчик вдруг

отчетливо понял: в мир пришло Время! Теперь ничто уже не будет как прежде! Он явственно почувствовал, что и сам меняется со страшной скоростью: растет, портится, умирает... Отец и мать со всех ног побежали навстречу могиле, годы бросились лететь с неудержимой скоростью, перемены сделались главным содержанием жизни. Это происходит с каждым по-разному, но возврата прежнему нет – Время вошло в мир, и мы, тайно или явно, в открытую или скрывая это от самих себя, с надеждой ждем смерти, которая одна только может положить всему этому конец.

Однако представить себе самоубийство Шауля Альтшулера как Liebestod он почему-то не может. Что-то мешает ему, и прежде всего, ему мешает это глупое число семь. Семь причин, одна из которых любовь? Сомнительно. Ведь этой причины и одной было бы более чем достаточно, а так выходит явный перебор. Чтобы к смерти привело семь причин, все они должны быть недостаточными... Подошел бы какой-нибудь глуповатый набор, например: из-за долгов, от скуки, из страха жизни, от тяготеющего отеческого проклятия, из боязни военной службы, ради вызова общественному мнению и Божию запрету и просто ради драматического эффекта.

В последнее время тяга к смерти и готовность с легкостью наложить на себя руки настолько перестала быть чем-то немыслимым и из ряда вон выходящим, что вопросом о причинах самоубийств задавалась уже сама «Лилия»:

Несколько дней назад возле городской стены был найден мертвым один из сефардских хахамов. Городской доктор счел, что тот был удушен злоумышленниками, но публика определила его в самоубийцы из-за некоего греховного проступка. Муж сей – уже девятый из евреев города нашего, покончивших с собою в последние годы. Позволим себе перечислить причины сих происшествий:

Первый утопился в колодце, дабы избавиться от долгов; второй прыгнул в колодец, дабы спастись от печально известной в Иерусалиме жены своей; третий повесился, лишившись

имущества; о четвертом говорили, что духи и бесы заманили его в колодец, а поводы и резоны, двигавшие сими вредителями, неизвестны (но возможно, как некоторые поговаривали, оттого, что на совести его была ложная клятва); пятый утопился по пьяному делу; шестой была женщина, сжегшая себя при помощи керосина в приступе безумия; седьмая – молодица – прыгнула в колодец оттого, что родители выдали ее замуж за сумасшедшего; восьмой сжег себя в припадке безумия; девятый – мальчик одиннадцати лет – прыгнул в колодец в страхе пред учителем своим. И быть бы еще и десятому, когда б не великая милость раввина Эльяшара – Первого в Сионе. А дело было так: месяц тому назад пришли феллахи из деревни Силуан, известной своими ворами, к одному сефардскому ювелиру и предложили ему купить у них серебряные и золотые изделия. И взял ювелир тот все свои деньги, да еще и в долг у купца г-на Эльяшара (брата зятя Первого в Сионе) всего 100 лир, и пошел с ними. И вот в пути ограбили они его и лишили всех денег, а самого отпустили с миром. Первый в Сионе в великом сострадании своем обратился с призывом через нашу газету к благотворителям народа святого, чтобы поспешили помочь несчастному, пока тот не наложил на себя руки.

Как видим, число достаточных причин для самоубийства намного уже превышает те семь, которые сбили с пути истинного Шауля Альтшулера. И, если поддаться природной тяге к умственным спекуляциям, то так можно выйти и за пределы десятков, а то и сотен причин. Молодежь наша особенно подвержена любви к смерти, и всякое разочарование в дебелой и румяной жизни, в этой «жене доблестной» с ее хозяйством и потомством, возбуждает в юношестве известную симпатию к «противоположной партии», представляющейся более чистой, возвышенной и не в пример более таинственной.

Не так давно в Яффе утопилась, бросившись в волны морские, некая совсем еще молодая барышня. В предсмертном письме своем, писанном по-русски, она не стала туманно

намекать на семь или более причин, но прямо высказалась о том, что жизнь, если взглянуть на нее вблизи, весьма груба и нехороша. И это воззрение, если так и дальше пойдет, может вскоре превратиться уже в такую моду, которой не будет сил сопротивляться. Дурной пример, как известно, заразителен, и подражание ему вполне могло стать еще одной причиной самоубийства злосчастного молодого мустахафиза.

Авигайль приводит еще один возможный резон.

– Этот твой Альтшулер, – говорит она как-то за завтраком, словно продолжая недавно начатый разговор, хотя со времени обсуждения этой темы с мужем прошла уже неделя, – может быть, вовсе не отчаялся в жизни, а задумал какой-то прожект.

Усмехнувшись словечку «твой», которое Авигайль нередко вставляет в определение самых порой посторонних людей и предметов: «этот твой градоначальник», «этот твой Бен-Йегуда» и даже «этот твой телеграф», Гедалья вострит уши.

– И я даже могу предположить, что именно входило в его цели. Ну, представь себе, что главной его затеей было всех озадачить, сочинить такой сюжет, чтобы заинтриговать весь город и чтобы никто не догадался. И вот, пожалуйста: все ломают головы!

Последнее ее утверждение – это уже явное преувеличение. Бóльшую часть жителей Святого Града загадка самоубийства и таинственного письма, если и взволновала на первых порах, то по прошествии нескольких дней уже более не будоражила. Их мысли теперь целиком занимали домашние дела, приготовления к дням трепета и счеты с Предвечным, от снисходительности которого зависело их относительное благополучие в новом году.

– Посуди сам: странность на странности, как нарочно. Тебе не приходило в голову, что это и вправду нарочно? Причины не указаны, тела нет, да и папаша, кажется, живздоров. Ну кто пишет такую предсмертную записку?

– Да, странностей предостаточно, – соглашается Гедалья, – но что все это, по-твоему, означает?

– Я бы не удивилась, если бы узнала, что все это он устроил с умыслом, как в том анекдоте: «чтоб ты спрашивал»… Кажется, он метил в писатели. Но не все сочинители загадочных сюжетов имеют достаточно усидчивости и любви к словам, чтобы написать, скажем, роман. Вместо этого можно привести всех в недоумение одним махом.

– Самоубийство ради необычайного сюжета? О таком объяснении вряд ли кто подумал.

– Иногда мне кажется, – говорит Авигайль, прищурив левый глаз и взглянув на их комнату правым сквозь сложенные в кружок большой и безымянный пальцы, – что Всевышний больше заинтересован в нашем недоумении, чем в наших представлениях о справедливости, в нашем послушании и вообще – в нашем понимании чего бы то ни было.

В последнее время Авигайль то и дело повторяет этот жест, словно смотрит на мир в монокль или в окошко фотографического аппарата. Дело в том, что Авигайль Бухбиндер мечтает снимать фотографические картины. Громоздкие камеры-ящики, стоявшие в ателье фотографов на массивных подставках или выносившиеся наружу на деревянных треногах, те самые, с помощью которых снимали все свои превосходные виды и Фрэнсис Фрит, и Фрэнк Гуд, и Эрметте Пьеротти и даже сами Питер Мелвилл Бергхайм и Феликс Бонфис, пугали ее своею неподъемной тяжестью. Эти монструозные кузены печатного станка сэра Мозэса Монтефиоре, выйди они на улицу целой компанией, неуклюже шагая своими раскоряченными деревянными ногами, могли бы застращать до полусмерти городских жителей, и даже доблестные вооруженные силы паши бежали бы от них в панике, катясь на задах через горы, до самого Мертвого моря. Но появление в Европе и Америке аппаратов, которые можно без напряжения удержать в руках, вселяло в нее надежду, что когда-нибудь и у нее появится такой аппарат, и она, вместо того, чтобы подобно богобоязненной мусульманской жене прятаться под покрывалом и снимать с объектива крышку, станет уверенно щелкать затвором, словно охотник или снайпер в засаде – одним словом, посвоему останавливать бег времени и течение жизни. А пос-

ле будет рассматривать эти почти нематериальные трофеи, тонкие фотопластинки, легкие, но несомненные свидетельства ее победы над временем. И новая ее коллекция заметно превзойдет собрание газетных вырезок. Но она вовсе не откладывает осуществление своего прожекта на неопределенное будущее. Пока у Авигайли нет фотографического аппарата, она проделывает все профессиональные процессы в воображении. Ее близорукость и мигрени, известные соседям, позволяют избежать неловкости и докучливых объяснений, отчего это, проходя по кварталу или покупая у феллаха зелень на рынке, недавно возникшем на соседнем пустыре, она порой прищуривает левый глаз и складывает моноклем два пальца правой руки.

Иногда ей даже не нужно видеть перед собою ничего реального, не нужно прищуривать левый глаз и подносить руку к правому, чтобы заключить картину в рамку, а достаточно одного воображения. Например, слушая мужа, читавшего вслух статью доктора Файна, обдумывая и записывая свой перевод, она одновременно видела мысленным взором голову самого доктора, совершенно отделенную от тела и находившуюся в каком-то открытом металлическом футляре. Голова эта, зажмурив, будто в пароксизме наслаждения, глаза, широко открывала рот, показывая два ряда ровных и чистых, однако излишне крупных зубов. И Авигайль во всех подробностях представляла себе эту картину сразу в двух вариантах: и в жизнеподобном отпечатке на чуть тонированном бежевом картоне, и в виде негатива на стекле, где зубы скалящегося доктора вместо того, чтобы сиять снежной белизною, зияли непроницаемой угольной чернотой.

Или, например, глядя на Двойру Вильденштейн, она однажды совершенно отчетливо представила себе, как ее следует «фотографически» представить, чтобы из этой неказистой Двойреле получилась почти что романтическая красотка. Прежде всего, ее совершенно необходимо поместить в легкую тень, чтобы как можно меньше бросались в глаза оспины и рябь на лице. Вместо того чтобы затыкать под туго повязанный платок все волосы и высовывать боль-

шие уши, торчащие по сторонам головы, нужно, напротив, спрятать уши и свободно выпустить пару рыжих завитков, которые, верно, давно уже отросли у нее после свадьбы, а глупый платок заменить шляпкой с полями, которая и тени добавит, и скрасит не слишком деликатную форму двойриной головы. Если уж она совсем упрется и не пожелает надевать шляпку, «чтобы не выглядеть гойкой», то нужно, по крайней мере, сменить платок на какой-нибудь более широкий и свободный, да сделать на нем красивые живописные узлы и складки. Смотреть Двойре следует вполоборота, чуть вверх, и вообще несколько приподнять обычно втянутую в плечи голову, чтобы под ее аккуратным и даже весьма выразительным подбородком расправилось то, что там обычно набухает, придавая ей, вовсе не толстой, а только короткошеей, одновременно недовольный и обрюзгший вид. Лучше всего, если она будет сидеть на высоком стуле, подложив под себя еще пару подушек, а на колени набросит большую шаль, которая, свисая до пола, закроет ноги. Таким образом, совершенно исчезнет впечатление того, что Двойра – коротышка, достающая едва до плеча любой соседке. Все это Авигайль увидела буквально в одно мгновение, и, если у нее появится фотографический аппарат, то она непременно сделает с госпожи Вильденштейн портрет, который поразит всех редким сочетанием красоты с убедительным, хоть и совершенно неожиданным, сходством.

А рослую и даже несколько долговязую миссис Годсон, напротив, следовало «фотографировать» чуть сверху и непременно в профиль, чтобы избежать излишней асимметрии, делающей ее милое лицо чуть более странным, чем ей самой хотелось бы. Авигайль подумала об этом при первом же взгляде на американку.

На встрече с четой Годсонов в «Доме со львами», у сэра Нойэла Тэмпла Мора, британского консула, по примеру покойного Джеймса Финна построившего свою резиденцию подальше от Старого города, Авигайль впервые видит тот самый рубин, который был куплен одновременно с флакончиком ее розового масла. За три дня, прошедшие с его приобретения, этот пленный гигант был заключен в тон-

кую золотую оправу, посажен на цепь и гордо, не стыдясь своего заточения, свисает с прямой сильной шеи известной писательницы.

– Скажите, миссис Букбиндер, ведь в этом *восхитительном* камне есть нечто *библейское*, не правда ли?

Вглядываясь в глубину таившегося в камне застывшего огня, Авигайль задумывается о том, как выглядел бы рубин, лишившись своего совершенного алого цвета на фотографическом отпечатке. Можно ли вообще передать оттенки цветов, отказавшись от краски?

Размышляя над таким странным вопросом, она слишком долго всматривается в рубин миссис Годсон, перескакивая с грани на грань, гораздо дольше, чем позволяли приличия, спускаясь в его бесконечную глубину. Внезапно поняв это, она смущается, но тут же замечает, что и миссис Годсон как-то чрезмерно пристально изучает ее – не глазами, нет, – напротив, американка даже прикрыла глаза, почти вплотную приблизив к ней свое принявшее особенно пытливое выражение лицо.

– Чем вы душитесь, моя дорогая? Что это за *восхитительный* аромат? В нем, право, есть нечто *библейское*! Как это, позвольте... «Мирровый пучок – возлюбленный мой для меня... Нард и шафран, аир и корица!» А-а, конечно же: «мандрагоры испустили благовоние свое», не так ли? Скажите, моя дорогая миссис Букбиндер, ведь это они, мандрагоры?

– О, нет, это розовое масло! – смеется Авигайль. – Кажется, из Болгарии. Гедалья подарил мне его, в надежде прогнать мигрени розовым ароматом...

Популярная писательница едва сдерживает возглас разочарования и протеста, но вовремя спохватывается: в конце концов, сладкое благоухание розы – тоже вполне *библейский* запах, а если склянку с розовым маслом и привезли из Болгарии, то это ничего не меняет.

– Я убеждена, моя дорогая, – заявляет она, – что впервые собирать аромат роз в капли драгоценного масла стали при дворе *библейского* царя Соломона. Именно такой запах должен был царить в его гареме. И никаких мигреней, ми-

лая миссис Букбиндер, никаких мигреней! Ха-ха-ха! Где-нибудь в книгах Соломона сказано хоть слово о том, что женщины страдают головной болью? Я что-то не припомню. Спросите-ка вашего супруга. Это все благодаря розам, благодаря розовому маслу, имейте в виду. Так что извольте поправляться, моя дорогая!

– Еще один иерусалимский прожект, – улыбается в ответ Авигайль. – Вам, дорогая миссис Годсон, верно, уже рассказывали о том, как много в нашем городе выдумано прожектов...

Как раз в это время сэр Нойэл рассказывает Гедалье и доктору Файну недавно услышанную им новость:

– Вот вам, господа, еще один пример великого прожекта всеобщего спасения. Только родился он не в Иерусалиме, а в Бадене. Представьте себе: некто Иоганн Мартин Шлейер, католический священник, изобрел язык, призванный объединить все разрозненное человечество. Волапюк! Вообразите: во-ла-пюк! Вы о таком слыхали, мистер Бухбиндер? Нет? А ведь это угрожает, так сказать, самому существованию вашей профессии. Если человечество благосклонно примет это изобретение, переводчики могут оказаться вовсе не у дел.

– Я очень сомневаюсь в сговорчивости человечества, – шутливо отвечает Гедалья. – Такие попытки совершались уже не раз и не два. В молодости я сталкивался с Communicationssprache Йозефа Шипфера и с Universalglot Жана Пирро. Все эти искусственные языки страдают одним большим недостатком: никто не желает на них разговаривать.

– А в прежние века были еще более смелые прожекты, – замечает доктор Файн. – Например, слышали ли вы о «философическом языке» Джона Уилкинса, в котором каждая буква представляет собою определенную философскую категорию, и оттого значение всякого слова должно становится понятным из самого его написания? Был еще гармонический язык Соль-ре-соль какого-то француза. На этом языке говорить почти не представлялось возможным, зато очень удобно было свистеть. Впрочем, может быть,

мы напрасно смеемся, господа, и именно у этого волапюка впереди большое будущее...

– Посмотрим, посмотрим. Пока что отец Шлейер придумал почти три тысячи слов, – продолжает сэр Нойэл. – Не так давно во Фридрихсхафене прошел даже международный конгресс приверженцев волапюка. Стало быть, у него хватает последователей. Но самое удивительное тут то, как все это возникло. Послушайте: начал он с универсального алфавита из 37 букв, способных передать звуки любого из существующих в мире языков. Впрочем, какое представление имеет он о языках мира – вопрос отдельный. Этот господин утверждает, что знает 60 языков, а в это трудно поверить. Но ведь и это еще не все языки, правда? В одних только джунглях трех континентов ныне известны сотни племен. Не так ли, мистер Бухбиндер?

– В древности считалось, что в мире существует семьдесят языков, которыми обязан владеть подлинный мудрец. Но, видимо, однажды запущенное Господом вавилонское смешение наречий продолжает разрастаться, и наши мудрецы сбились со счета, – смеется Гедалья.

– Ну, так вот: никто не пожелал пользоваться этим универсальным алфавитом, и раздосадованный Шлейер начал страдать бессонницей. И вот, пять лет назад услышал он в ночи голос Господа, повелевший ему изобрести общий для всего человечества язык. Взял для своего изобретения английские корни, или то, что в наивности своей почитал таковыми, убрал из них слишком сложные, по его мнению, звуки, вроде th и ch, да еще заменил нестерпимый для китайцев звук r на l. За это, надо полагать, особенно должны быть благодарны ему японцы, у которых с l та же проблема, что у китайцев с r. Так из слова «friend»[32] у него получилось «флен», а Франция теперь именуется «Флент». Вообразите, как рады должны быть друзья-французы! А нам-то, англичанам, как трудно все это выговаривать! Чего стоят бесконечные umlauts[33], все эти ü да ö, которые не в

[32] *Friend* – друг (*англ.*).
[33] *Umlauts* – умлауты (*нем.*).

силах произнести никто кроме, разве что, немцев, турок и мадьяров! Вот, извольте, тут у меня выписаны кое-какие примеры: Go[34] на этом языке звучит как «Гололӧд» или же как «Голозӧд» , если употребляется во множественном числе. А это что, по-вашему, должно означать: «Вен лэрной пюкивотик, вӧдасток плӧсенон фикулис»? Ну-ка, догадайтесь, господа! «Когда изучаешь другой язык, словарный запас представляет трудности»! Да-с, это вам, господа, не возрождение святого языка, смею заметить! Лифом-ӧс, волапюк! Да здравствует волапюк!

– Потом может выясниться, что на каком-то подобном языке разговаривают существа, которых мы почитали лишенными языка, – с самым серьезным видом высказывает предположение Гедалья. – Те, речи которых нам прежде слышать не доводилось. Например, камни или растения...

– А я совершенно убеждена, – вставляет в разговор свое веское слово миссис Годсон, – что уж где-где, а в Святой Земле камни и растения разговаривают на языке, данном Богом, на вашем языке, мистер и миссис Букбиндер! В своей речи и лилии, и мандрагоры повторяют божественные звуки Песни Соломона...

С первого же утра в Иерусалиме, с того момента, когда во Дворе Лилии, в комнате наборщика, были упомянуты мандрагоры реб Довида, они совершенно захватили воображение миссис Годсон и уже не отпускают его. Хитрые подземные человеко-драконы крепко держат американскую писательницу жадными пальцами своих коротких кривых ручек, нашептывая соблазнительные сказки о благоуханных плодах.

Узнав, что созревания этих дивных плодов нужно ждать не раньше середины апреля, Офелия Грэйс Патриша Годсон заявила своему мужу, что она просто обязана провести в Святой Земле по меньшей мере девять месяцев, иначе никакого смысла во всей этой поездке не будет и библейский роман, который она замыслила, никак не сможет быть написан. Мистер Годсон, конечно, волен вернуться в Аме-

[34] *Go* – идет (*англ.*).

рику, закончив тут все дела. Она прекрасно понимает, что основанная им компания по торговле святой водою не может вовсе обойтись без его присутствия в Кентукки. Но сама она непременно останется до следующего лета, поскольку ей «необходимо пережить здесь все библейские сезоны».

Мистер Клиффорд Годсон, в ответ на такое «претенциозное заявление», позволил себе грубовато пошутить в том духе, что раньше он никогда не слыхал, будто вынашивать роман нужно столько же времени, сколько и человеческого младенца.

Миссис Годсон, услышав такую «туповатую остроту», в ответ позволила себе довольно резко ответить супругу, что, терпеливо выносив и родив ему троих детей – двух сыновей и дочь – а также добросовестно воспитав их в лучших христианских традициях и с материнским благословением выпустив в мир, она считает свой супружеский долг выполненным в достаточной степени, чтобы теперь уделить довольно внимания литературной деятельности, каковая, между прочим, уже принесла ей не только широкое признание, но и известные доходы, позволяющие ей обеспечивать себя. Поэтому, она намерена работать над своими книгами столько времени, сколько потребуется, и без всяких скидок! Без всяких скидок!

– Искусство требует жертв, мистер Годсон! – заявила она. – Жертв со всех сторон. И абсолютной правды. Если я собираюсь писать о вкусе и запахе мандрагор, то я обязана составить себе достоверное представление о том, что это такое, при помощи собственных языка и носа. Так и не иначе. Так и не иначе!

Видимо, наш внимательный читатель уже обратил внимание на то, что и сам мистер Годсон с первой же минуты весьма заинтересовался мандрагорами. Впрочем, его, человека совершенно практического, воодушевили отнюдь не библейские ароматы, но именно то, что стремился распространить по всему еврейскому миру реб Довид. С деловой точки зрения, его интересовало действенное возбуждающее средство, к тому же имеющее свойства преодолевать бесплодие. И если автор иерусалимского прожекта думал о

святой цели умножения племени Яакова, то коммерсант из Кентукки не помышлял ни о чем ином, кроме умножения собственных прибылей. Будучи добродетельным христианином евангелического направления, мистер Годсон глубоко ощущал эгалитарную сущность человеческого рода, не разделяя ни эллина, ни иудея и, таким образом, был бы одинаково рад продать свое чудодейственное средство как папуасам, так и эскимосам, причем по совершенно одинаковой цене. (Заметьте, что, не имея на то никаких реальных оснований, он уже думает о порошке из корней Mandragora officinarum как о «своем средстве»!)

О чем, собственно, может свидетельствовать такое странное мысленное воспарение сего делового человека, как не о его явной склонности к прожектерству самого что ни на есть иерусалимского уклона? Иному практическому деятелю что нового ни предложишь, как он уже кривится, отвертывается и отстраняет от себя это предложение обеими руками, даже не потрудившись мало-мальски вникнуть в его суть. Такое поведение часто именуется «трезвым подходом» и чуть ли не в обязанность вменяется всякому, кто намерен «твердо стоять обеими ногами на земле». Но это, конечно, скорее психическое заболевание, вызванное полным отсутствием воображения и паническим страхом перед всем незнакомым, чем здравомыслие и практицизм. Мистер Годсон этим психическим заболеванием отнюдь не страдает. Напротив, ум его пребывает в постоянном поиске новых путей и комбинаций, жажда обогащения его сродни романтическому стяжательству флибустьеров и буканьеров прошлого, а еще более того – завоевательскому пылу Александра Великого и ему подобных. Он отнюдь не гений, сам он ничего не изобрел и никогда, видимо, не изобретет, но он ни за что не пройдет мимо чужого изобретения, не попытавшись всеми возможными законными способами поставить его на службу фирме Клиффорд Годсон.

Поэтому, параллельно с заботами о плавном и обильном перетекании святой воды из Иордана в Соединенные Штаты Северной Америки, он начал обхаживать всех связанных с мандрагорами лиц. Но тут мистер Годсон, к свое-

му неудовольствию, натолкнулся словно бы на абсолютно непробиваемую стену. Реб Мойше Граф и слышать не захотел о том, чтобы продать свой участок, реб Довид категорически отверг выгоднейшее предложение продать свой business[35], и во всем Иерусалиме не находилось никого, кто был бы достаточно сведущ в предмете, чтобы помочь ему отыскать новые участки, богатые пользительным растением. Не взяв эту крепость моментальным приступом, мистер Годсон, однако, не отчаялся и стал осадой вкруг городских стен, продолжая вынашивать в уме дальнейший образ действий.

Первым делом он подкупил славившегося неподкупностью служащего австрийского почтового отделения, некоего Штрайхенбергера, ничуть не смутившись тем, что обе иерусалимские газеты в один голос писали о том, насколько надежна австрийская почта, не в пример турецкой, ворующей половину отправлений и вскрывающей каждое письмо. В этом отношении, отзывы «Лилии» и «Оленя» оказались весьма даже на руку мистеру Годсону, ибо, благодаря их рекомендации, все читатели газет с недавнего времени перестали пользоваться услугами турецкой почтовой службы и имели дело исключительно с австрийской, тем самым избавив американского предпринимателя от множества лишних хлопот. По частной договоренности между мистером Годсоном и достойнейшим герром Штрайхенбергером, все письма с заказами, отправленные из-за границы на имя Довида Фридляндера (а таких перед осенними праздниками было прислано более дюжины), добросовестно откладывались в отдельный ящик «до лучших времен». Мистер Годсон, немало сэкономивший на том, что не стал входить в соглашение с самим начальником почты, на всякий случай также поручил аккуратному почтовому служащему переписывать для него адреса отправителей, от всей души испросив за то прощения у Господа и искренне уповая на Его понимание. Большому судну, по всей справедливости, полагается большое плаванье и широкий простор, а тут какой-

---

[35] *Business* – бизнес (*англ.*)

то провинциальный чудак, натуралист-любитель, не видящий дальше своего носа и не заинтересованный даже стать главным представителем фирмы Клиффорд Годсон в Османской империи! Да вместо того, чтобы осуществить великую идею, он только заморит и загубит ее.

Почта, прибывающая из-за моря в Яффу, доставляется в Иерусалим в специальной карете с охраной раз в неделю, а именно в субботу. Поскольку в воскресенье почта закрыта, вся корреспонденция, предназначающаяся для евреев и требующая расписки получателя, выдается в понедельник. Перед зданием почты на Армянской улице, под внушительными вывесками на немецком, английском, итальянском и французском языках над тремя арочными входами с тремя парами невысоких окон по обеим сторонам каждого из них с утра выстраивается длинный хвост очереди. Хвост этот то и дело вынужден вилять, сворачиваться и всячески маневрировать в узкой улице, уступая дорогу то каравану верблюдов, то повозке, то армейскому патрулю. Ни одна из импозантных дверей, впрочем, при этой оказии не открывается и толпу евреев внутрь не впускают. Вместо этого в определенный момент, где-то ближе к полудню, наружу выносится деревянный прилавок и занявший за ним позицию герр Штрайхенбергер начинает вызывать получателей по алфавитному списку.

Реб Довид, регулярно являющийся туда по понедельникам и столь же регулярно возвращающийся домой усталый и с пустыми руками, немало удивлен полным отсутствием заказов, на которые искренне рассчитывал, и даже часто вздыхает, но, вспомнив о действенности такой восхваляемой газетами методы, как «реклама», продолжает уповать на будущее, на то недалекое время, когда в сознание читающей публики в Европе и Америке внедрятся его объявления на семи языках и заказы посыплются с неба, как манна в пустыне.

Гедалья Бухбиндер дважды сопровождал мистера Годсона в его деловых выездах на Иордан, в окрестности Иерихона, где черпалась святая вода, нещадно потел под убийственным солнцем Иорданской долины, пропитывался пы-

лью, страдал от кошмарной тряски в нанятом Годсоном походном тарантасе, и однажды привез в подарок реб Довиду несколько сухих шаров Anastatica hierochuntica, именуемых в народе «иерихонской розой».

Миссис Годсон, обычно весьма уравновешенная и сдержанная, все чаще сердится на все и вся вокруг себя. Муж раздражает ее своей баснословной меркантильностью и тем, что старше нее почти на пять лет; арабские слуги на постоялом дворе – тем, что пять раз в день молятся, становясь на карачки в самых неподходящих обстоятельствах; крещеный еврей, жовиальный доктор Файн, и его чопорная английская жена – тем, что так не подходят друг к другу; американский консул Села Меррилл – своим навязчивым антисемитизмом; жители Иерусалима в целом и в отдельности, без различия вероисповедания – всем подряд. И даже, порою, «милый мистер Букбиндер» нервирует ее своей скрытой за безупречными манерами иронией, «этим вечным кукишем в кармане, за который его не ухватишь». Характер ее постепенно делается все более скверным, к раздражительности добавляется рассеянность, она то и дело словно бы теряет всякую связь с окружающей ее реальностью и переносится всеми чувствами в какие-то иные места и времена. Одним словом, она уже находится в самом водовороте «творческого процесса», и потому нет ничего удивительного в том, что реальный до невыносимости Клиффорд Годсон кажется ей жалким тупицей и грубым плебеем в сравнении с обретавшим все более осязаемую, хоть и совершенно условную, кедрово-мраморную, романную плоть царем Соломоном, а царице Савской даже в служанки не годятся все эти грязноватые, хоть и весьма экзотичные, йеменские дамы.

– Если бы я писал роман о Иерусалиме, – однажды стал вслух размышлять Гедалья, рассказав Авигайли об утре, проведенном в компании известной американской писательницы на рынке у Дамасских ворот, где она вела долгие переговоры с торговцем «подлинными серебряными изделиями эпохи Иудейского царства», – если бы мне пришло в голову писать библейский роман, я, наверное, сделал глав-

ным героем не царя и царицу, а скромного, но мудрого переводчика. Представь себе, душа моя, роман о человеке, который должен переводить речи Шломо и царицы Шебы при их государственных переговорах, а потом даже их интимные беседы. Просто, дело в том, что мудрейший из царей был полным профаном в древнеэфиопском языке, хотя история об этом умалчивает... Не стану утверждать, что царь был вовсе лишен мудрости, но вот, что касается владения языками всех народов, включая муравьев и птиц, тут Писание сильно преувеличивает. И, надо сказать, что некоторые, особенно сильные, места в собрании его сочинений – не что иное, как пришедшиеся весьма кстати переводы, сделанные его покорным слугой с иностранных рукописей. Ну, в частности, знаменитый любовный дуэт, прозванный... Как? Вы не ошиблись, проницательная читательница: «Песнь Песней царя Шломо»! «Если бы ты был мне брат, сосавший грудь матери моей, встретила бы я тебя на улице, лобызала бы тебя, и меня не срамили бы!»

– Если бы я писала роман, – откликнулась Авигайль, – то это был бы роман об иерусалимских прожектах и прожектерах. Еще Ахиш, царь Гата, спрашивал: «Разве не хватает мне безумных?» Можно прямо оттуда и начать, с Давида, который чертил на дверях и пускал слюну по бороде своей, а потом, уже в царском достоинстве, скакал перед ковчегом... Впрочем, не нужно забираться далеко в библейскую историю, чтобы собрать прехорошенькую компанию оригиналов и сумасбродов. Я бы просто-напросто описала нескольких наших добрых соседей.

Если читатель возомнил, что знаменитая писательница Офелия Грэйс Патриша Годсон замыслила и вынашивает некое отвлеченное, вовсе оторванное от реальности сочинение, он, конечно же, жестоко ошибается. «Реальная деталь, достоверность, правда каждой картины – вот что делает сочинение произведением настоящей литературы» – эту свою сентенцию, произнесенную несколько лет назад и опубликованную в журнале “Kentucky Lady”[36], она не забыла и на-

[36] *Kentucky Lady* – Кентуккийская леди (*англ.*)

мерена всегда решительно и стойко ей следовать, в какие бы глубины древней истории она ни погружалась. Именно потому, еще только делая первые записи, испытывает она столь жестокие творческие муки, временами превращающиеся в физические страдания, что не имеет возможности прямо списать свою аравийско-эфиопскую царицу с тощей йеменитки и вынуждена собирать ее облик по крохам, словно покойный Кювье, восстанавливавший ископаемых ящеров по отдельным косточкам. Задача эта неимоверно сложна и кропотлива, но миссис Годсон не дает себе поблажки и не собирается сворачивать с пути истинной последовательницы великого палеонтолога ради неясных романтических эмпиреев. От молодой йеменитки она берет цвет кожи, контур носа и характер волос, от Авигайль Бухбиндер – форму и посадку головы на точеной шее, от увиденной в мусульманском квартале невесты – разрез глаз, горевших над скрывшим нижнюю часть лица хиджабом, и так далее, и тому подобное. Она наблюдает жесты торговцев и походку крестьян, словно натуралист, но постоянно разочарована: во всем увиденном она различает вековые наслоения чуждых цивилизаций и вынуждена ради мельчайших деталей просеивать вагоны грубой породы. Труднее всего дается ей образ царя Соломона.

– Несносный, несносный Соломон! – восклицает она по нескольку раз на дню – упрек, который мистер Годсон неизменно принимает на свой счет.

Одна и та же мысль приходит супругам в голову едва ли не одновременно. Во всяком случае, они одновременно заговаривают об этом предмете.

– Офи... Офф...

– Клифф... послушай, дорогой...

– Я вот что скажу, дорогая...

– Клифф, ты не думаешь, что нам следует...

– Я считаю, что нам необходимо...

Быстрый разумом читатель, схватывающий все на лету, конечно, уже догадался, о чем одновременно заговорили друг с другом мистер и миссис Годсон. Такое единодушие супругов весьма изумительно, похвально и заслуживает вся-

ческого подражания. Нельзя сказать, чтобы эта американская пара, прожившая вместе уже более четверти века, всегда и во всем была согласна. Но что касается чудодейственного корня мандрагоры, не только их мнения и желания совершенно совпадают, но и двигавшие ими мотивы абсолютно одинаковы. Оба супруга желают испробовать на себе действие мандрагоры во имя научного опыта. Так же, как, ради спасения рода людского, итальянский доктор Джузеппе Профета привил себе бациллы проказы и немецкий доктор Отто Обермайер привил себе бациллы холеры, писательница и предприниматель из штата Кентукки желают принять любовное снадобье, чтобы их обращение к человечеству не было беспочвенным, необоснованным и голословным. «Я – честный человек и ответственный предприниматель, и я должен знать, что именно я продаю своим клиентам», – рассуждает мистер Годсон, нимало не смущаясь тем, что в настоящий момент он не имеет никакой возможности продавать своим клиентам препараты мандрагоры. «Я должна на себе испытать то, о чем собираюсь писать», – говорит себе миссис Годсон. Она, как уже было сказано, в последнее время пребывает в состоянии крайней экзальтации и, ежели бы имела в виду писать роман об Иисусе Назарянине, чего в Иерусалиме от нее вполне можно было ожидать, то, верно, дошла бы до того, что приказала себя распять на деревянном кресте. Конечно же, целью ее отчаянно смелого эксперимента было переживание *подлинно библейского* любовного экстаза, а отнюдь не зачатие еще одного Годсона, но за один мимолетный взлет чувственного восторга и упоения, да не просто какого-то там *банального продленного оргазма*, но именно такого пароксизма сладостной феерической страсти, которое навевается исключительно дивными мандрагорами, она готова была заплатить даже эту цену. Ведь не побоялась же она проплыть в утлом челноке пять верст вниз по Иртышу, едва сошел лед, не оробела же перед злыми комарами в тайге!

«Пусть этот опыт будет стоить мне тяжелой поздней беременности», – рассуждает она, в глубине души, все же, сознавая, что риск не слишком велик, – «пусть я умру ро-

дами или рожу, не дай Бог, урода, но я должна, я обязана испытать действие божественного *библейского* снадобья!»

Итак, решение принято и порошки мандрагорового корня немедленно приобретены через подставное лицо. (Гедалья Бухбиндер наотрез отказался быть этим подставным лицом и ставить себя в смешное положение, а посему супругам пришлось обратиться через него к одному из тех бедолаг, которые за деньги готовы валять дурака, не испытывая смущения.)

Весь вечер по принятии порошков, запитых двумя стаканами холодной воды, ничего неординарного с ними обоими не происходит. Мистер Годсон, уже совершенно охладевший к своей жене, да и во всем женском поле видящий не плотский соблазн, но лишь возможных покупательниц, не испытывает прилива вожделения, но лишь легкое головокружение и сухость во рту. Миссис Годсон совершенно извелась от напряженного ожидания и уже не может с определенностью сказать, чувствует ли она что-либо особенное или только воображает. Пожалуй, легкую головную боль и резь в животе нельзя считать исключительно плодами ее воображения...

– По-моему, это просто надувательство, Офф! – с нескрываемой досадой заявляет мистер Годсон.

Тихо вытянувшись на постели под тонкой простынею и ожидая какого-то проявления если не страсти, то хотя бы внимания со стороны мистера Соломона, Офелия Грэйс Шеба возводит очи к потолку резного алебастра, и там, в самом средостении сходящихся к центру мерцающих перламутровых дуг сияет из глубины ночи спускающийся к ней на крученой золотой цепи ее красный корунд, волшебный сардис, излучающий алый божественный свет чудо-окисел, тригональная сингония с примесью хрома – огромная граненая головка пылающего соломонова члена. Шеба издает сладостный стон и протягивает ему навстречу легкие смуглые руки с трепещущими, растущими навстречу пламенеющему многограннику пальцами с острыми багровыми ногтями, готовыми вонзиться в пурпуровую мякоть слепящего камня. И вот уже вошел он в источник садов, колодезь

вод живых, текущих с Ливана, и, забившись в экстазе, оросил внутренность царицы горячей жемчужной россыпью. По углам высокой кровати, на башенках из слоновой кости, пляшут, дразнясь и строя уморительные рожицы, маленькие красные человечки, похожие на подземные корешки. Ноздри ее наполняются неземным благоуханием, внутренность ее взволновалась, мирра стекает с пальцев ее на скобы замка́...

Мистер Годсон очень изумлен тем фактом, что совершенно не спит, но при этом видит сон, словно бы он заснул или нечто вроде того. Прекрасно зная, что он находится в Иерусалиме, он все-таки никак не понимает, почему за вход в этот увеселительный сад с забавными восточными павильонами берут по двадцать долларов за один билет. Но с шестикрылым серафимом не поспоришь – огненный меч обращающийся и все такое прочее... И потом, что за безобразие! За вход в этот павильон нужно заплатить отдельно! А что там такого есть, в этом шатре из виссона и пурпурной кожи? «А вот зайди – увидишь!» Это кто сказал прямо на ухо? Жена, жена сказала! Там внутри, кроется жена! Жена! Сколько стоит жена? Это смотря какого сорта. Самого. самого что ни на есть... Сколько! Бесценна! Слышишь, так баснословно дорого, что и цены такой на свете нет. Жена его, кроющаяся в шатре, предстает ему в пламенном видении не одной женою, но одновременно шестью или семью женами, каждая из которых на свой манер старается уклониться от его ласк, вместе с тем, дразня его самым бессовестным образом: Офелия перед самым его носом приоткрывает и вновь закрывает разрез на панталонах, Грэйс – вертит мокрым красным языком возле его рта, но всякий раз, как он пытается ухватить его губами, со смехом увертывается, Патриша – завернулась в простыню и манит его пальцем, но ноги его не способны двигаться к ней навстречу, ибо на них со всей силою повисла, словно ядро на каторжнике, четвертая жена, совершенно голая, которую, однако, он не только не знает, как зовут, но и совершенно не в силах рассмотреть, ибо голова его не поворачивается на шее, крепко охваченной горячими руками пятой

жены, миссис Годсон, шепчущей ему на ухо, что шестую или седьмую жену зовут Саббат, и она умеет делать такие штуки, какие не снились ни одной шлюхе, да только попробуй ее поймай! Крик его, дикий вопль клиента, оскорбленного мошенниками-балаганщиками, сотрясает не только шатер из козьей шерсти, но и весь увеселительный парк Джерузалем. «Плачено! Плачено!!!»

Мистер Годсон первым возвращается на грешную землю. Лежа в скомканной ночной рубахе на каменном полу и глядя на сводчатый потолок комнаты, из центра которого свисает узорный турецкий светильник на длинной цепи, он постепенно приходит в себя. Сперва цепь неистово раскачивается над его головой, словно маятник в часах, и светильник мелькает в глазах, лучась и ослепляя его пучками резкого яростного света. Но мало-помалу метание цепи замедляется и вовсе останавливается, пламя единственного фитиля, горящего в ночном светильнике, сжимается и возвращается к своему обычному тусклому мерцанию. У мистера Годсона сильно болит нижняя часть живота, горло пересохло и невыразимая досада, что чуть-чуть не успел, не дотянулся, не овладел законно приобретенной собственностью, жжет его изнутри. А особенно обидно мистеру Годсону, что совсем рядом с ним, но уровнем выше, на возвышении кровати, мирно и как-то особенно торжественно возлежит его единственная жена с сомкнутыми глазами, а из-под ресниц ее катятся крупные слезы неподдельного счастья, и рот ее сложен в сладчайшую улыбку.

Вовсе не обязательное для чтения приложение, из которого особо пытливый читатель, вслед за миссис Годсон, может почерпнуть несколько исторических суждений о растении, наделенном животворящими свойствами, и о правильном к нему отношении, приличествующем богобоязненному человеку

У миссис Годсон тем временем нашлось для Гедальи весьма важное поручение. Решив расширить свои познания в той области, которую она немедленно определила для себя и всего просвещенного человечества как «Hebrew Mandrake Sciences»[37], она задала ему щедро оплачиваемое задание собрать и перевести на английский язык все перлы традиционной еврейской мысли, имеющие отношение к этому захватившему ее воображение растению.

Собственные ее познания в области всемирного мандраговедения ограничивались почерпнутым из четвертого акта «Ромео и Джулии» представлением о том, что мандрагоры находятся на пересечении растительного и животного царств, ибо, когда их вырывают, они голосят, да так, что способны свести с ума всякого, кто их услышит:

Вокруг кошмарный смрад, отчаянные стоны, похожие на стоны мандрагоры,
Когда ее с корнями вырывают.
Сей вопль ввергает человека в исступленье...

Доктор Файн ознакомил ее с описанием мандрагоры из 131 главы малоизвестного позднеантичного «Травника» Псевдо-Апулея:

---

[37] *Hebrew Mandrake Sciences* – Древнееврейское научное мандрагороведение (*англ.*)

Поразителен вид и достоинства травы мандрагоры. Приблизившись к ней, узнаешь ее вот каким способом: ночью голова ее сияет, словно свеча. Увидев, немедля окольцуй ее железом, дабы она не удрала, ибо она обладает таким свойством: ежели нечистый человек приблизится к ней, она сразу от него убегает. Ежели ты окольцуешь ее железом и окопаешь вокруг так, чтобы железом до нее не дотрагиваться, и отгребешь землю слоновым бивнем, то увидишь ноги и руки мандрагоры. Сразу обвяжи ее веревкой и, как обвяжешь сию траву, надень другой конец веревки на шею собаке, а собаку прежде не корми и поставь на некотором расстоянии от нее еду, так чтобы, потянувшись к еде, собака могла выдернуть траву. Ежели ты не хочешь губить собаку, ибо таковы свойства сей травы, что того, кто ее выдернет, она тут же погубит, то построй машину, привяжи парус к мачте, на вершине которой закрепи идущую от травы веревку, и так сооруди подобие огромной мышеловки. От напряжения мачта резко выпрямится и выдернет траву из земли. Как только вся трава окажется в руках твоих, наполни соком ее листьев стеклянный сосуд и при необходимости употребляй по назначению.

Припомнил он и александрийский «Физиолог», в котором неизвестный автор излагает историю о том, как слоны, жаждущие зачатия, отправляются на поиски мандрагоры. Слон и слониха, съевшие ее плод, уподобляются Адаму и Еве, родившим Каина после поедания плода с древа познания.

Сэр Нойэл добавил к этим перлам отрывок из шестой главы седьмой книги Иосифа Флавия в старинном переводе с греческого Томаса Лоджа, где в частности сказано следующее:

В долине, прилегающей к городу с севера, находится место, называемое Ваорас *и производящее корень того же имени. Сей имеет огненно-алый цвет и по вечерам испускает лучи. Его весьма трудно схватить, ибо он словно убегает из-под рук и остается в покое только тогда, когда его поливают мочою*

или месячной кровью женщины. Но и тогда прикосновение к нему приводит к верной смерти, если его не несут таким образом, чтоб он свешивался с руки. Существует, однако, и другой безопасный способ овладения этим корнем. Сперва его окапывают кругом, оставив в земле только малую часть корня, затем привязывают к нему собаку. Когда сия стремительно следует за привязавшим ее человеком, корень легко вырывается, но собака умирает на месте, как заместительная жертва за того, кто хотел взять растение, которое после того можно уносить без опасений. Однако стоит подвергать себя опасностям и трудиться над добыванием сего растения из-за следующего его свойства: так называемые демоны, иными словами, духи злых людей, вселяющиеся в живых и убивающие всех тех, кто остается без помощи, немедленно тем корнем изгоняются, стоит только поднести его к болящему.

Все это, однако, имело весьма отдаленное отношение к чарующему библейскому растению, наполняющему своим благоуханием поля и долы Святой Земли, пробуждая умопомрачительную любовь и вытекающее из оной невообразимое плодородие. А миссис Годсон не сомневалась, что древние евреи могут сообщить ей об этом куда более важные вещи.

Возложенная на Гедалью Бухбиндера задача могла бы оказаться неимоверно утомительной, но, благодаря добросердечному согласию реб Довида поделиться своей тщательно отобранной коллекцией, была ограничена переводом многочисленных, но зачастую лишь с незначительными расхождениями повторяющих друг друга источников.

Представление о том, что спелые мандрагоры светятся красноватым светом по ночам и на рассвете, было широко распространено с древнейших времен и часто встречается у средневековых комментаторов, порой грешащих некритичным взглядом на народные предания. Даже в относительно просвещенном двенадцатом веке живший в Германии комментатор Талмуда написал следующий абзац:

От корня в земле отходит нечто вроде веревки, веревкою этой прикреплено за пуп – как тыква или арбуз – животное, которое во всем схоже с человеком: такие же лицо, туловище, руки и ноги. Оно искореняет и уничтожает все, до чего достанет та веревка. Надобно веревку эту рассечь стрелою, и тогда животное подыхает.

Бóльшая часть сказанного нашими мудрецами по поводу мандрагор сводится к толкованиям того стиха Песни Шломо, с которого началось наше повествование, и к морализирующим трактовкам туманной библейской истории, рассказанной в тридцатой главе книги Бытия:

А Реувен шел в дни жатвы пшеницы и нашел мандрагоры в поле, и принес их Лее, матери своей. И Рахель сказала Лее: дай мне мандрагор сына твоего. Но та сказала ей: мало тебе забрать мужа моего, а еще забрать и мандрагоры сына моего? И Рахель сказала: за то он ляжет с тобою эту ночь, за мандрагоры сына твоего. Когда Яаков пришел с поля вечером, и вышла Лея ему навстречу, и сказала: ко мне войдешь, ибо я наняла тебя за мандрагоры сына моего. И лег он с нею в ту ночь. И услышал Бог Лею, и она зачала, и родила Яакову пятого сына.

Традиционный образчик такого морализаторства находится в позднесредневековом комментарии к Пятикнижию рабби Авраама Бен Яакова Саба «Црор а-мор» (Связка мирта):

Ибо мандрагоры действуют немедленно после принятия. И потому Господь, благословен Он, сделал так, что прошел и год, и два, и три, и только после того, как родились у Леи Иссахар, Звулун и Дина, вспомнил о Рахели. И потому сказано «вспомнил о ней», словно была она забыта. Ибо все суета и обман в природе. Но Господь вспомнил о Рахели с позиции Суда, ибо позиция Суда требовала, чтобы было у ней двое сынов – не менее, чем у рабыни. Вот почему сказано «И услышал ее

Бог», то есть, молитву ее. И не посмотрел на ее грех – на погоню за суетой и «природными средствами». И Он отворил чрево ее, а не мандрагоры. И тогда сказала она: «Снял Бог позор мой». Ибо позор великий для женщины быть бесплодной. И тем признала, что всё от Него, благословенного.

Уже в начале нашего века Меир Лейбуш бен Йехиэль Михель Вейзер, более известный под именем Мальбим, развивает эту тему:

«Мандрагоры дали запах» – они доступны для всех, ибо они свободно растут в поле, никому не принадлежа. Писание намекает на то, что обратятся и к вещам внешним, не связанным со служением Господу. «И взял мандрагоры», свойство коих вызывать любовь между мужем и женою, но то любовь физическая, а надобно, чтобы задумался и присмотрелся к явлениям неколебимым, к любви духовной, коя есть любовь к Господу, и в этом благоухание для всех материальных сил, не для одного лишь Господа... И то же «у дверей наших плоды всякие» – то есть, плоды деяний. Они лежат у дверей наших снаружи, не попадут в святая святых внутри, ибо деяния без любви к Господу суть трупы без души, кожура без внутренности, и стоят они у двери и не войдут во внутренние покои и в камеры сердца. «Старые и новые» – то есть, и важные заповеди стары и исполняются лишь по привычке, и нет в них любви к Господу, но «любимый, сберегла я для тебя» – это то, что я служила Господу из любви, это – отделенное исключительно для Господа и только для Господа, и специально для Господа, и всё – святое и неприкосновенное.

Трезвый и осторожный в своих суждениях Маймонид пишет о том, что «мандрагоры имеют человеческую форму – подобия головы и рук». О том, что «они способствуют зачатию и усиливают влечение женщин к мужчинам и мужчин к женщинам», он упоминает, прибегнув к традиционной, ни к чему не обязывающей формулировке «некоторые говорят, что».

Комментарий Сфорно вносит в благоухание мандрагор резкий запах совсем иного, ничуть не менее популярного растения:

«И нашел мандрагоры»: род травы благовонной и приуготовляющей семенное вещество для зачатия, подобно сказанному благословенной памяти нашими мудрецами о чесноке и о том, что потому ели его всегда в первую субботнюю трапезу. И таковы же были мандрагоры, или лучше него, ибо добавляли любви к соитию, ибо сказано: «там дам ласки мои тебе»...

«Тора Тмима» и вовсе утверждает устами рабби Леви, что **дудаим** – отнюдь не мандрагоры, но обыкновенные торбы (не от слова **дод** – любовь, но от слова **дуд** – торба), ибо сказано у пророка Йеремии:

*«И вот, две корзины (**дудаей**) смокв ...» Одна корзина – весьма хорошие смоквы, а вторая корзина – весьма дурные смоквы. Это царства Яхнии и Цидкиягу. Чтобы не сказали: в царствование Яхнии совершилось раскаяние, но не в царствование Цидкиягу, следует сказать: **дудаим** дали запах – обе торбы, дурная и хорошая, дали запах.*

Более же других позабавил Гедалью комментарий Рабейну Бахьи, которым он поспешил порадовать счастливую обладательницу «библейского» рубина:

*И дал Реувену камень **óдем**, ибо зарделось лицо его от греха с Билхой. И камень сей назван «рубин», и растет он в известных местах в море, и он – скала великая, и нашедший его подобен нашедшему серебро и злато. И он красный совершенно... и потому назван **óдем**, ибо красен, как кровь, и свойство его таково, что всякая женщина, носящая его, никогда не выкинет плода, и говорят, что он хорош для женщин, затрудняющихся зачать, и, если натереть его и смешать с едой и питьем, то он поможет зачать, вроде тех мандрагор, которые нашел*

*Реувен и у которых форма человеческая, так же как у камня имя, подобное человеку (**адам**)…*

Виленский «Мидраш Раба» свидетельствует:

*Камень Реувена – **óдем** и знамя его окрашено красным и изображены на нем мандрагоры.*

А «Псикта Зутрата» утверждает:

На знамени Реувена изображены мандрагоры в форме человека, ибо сказано: «и нашел мандрагоры».

IV

Глава, в которой снаряжается дальняя экспедиция в поисках чудодейственных растений, в то время как они, находясь под самым носом у доверчивых людей, показывают себя с самой неприглядной стороны

Наступил новый 5644 год. Потянулись десять дней покаяния.

«Лилия» порадовала читателей шедевром густой поэтической патоки, щедро разлитой по первой странице:

Спускается вечер, и вот уж заалели небеса, и стихло все, и воцарилось благолепное безмолвие, и люди отовсюду стекаются стан к стану, святого трепета полны – чу! Дом Господень там. Дом Божий – они пред ним! – огни источает и светом дивным лучится, толпы людские сбирая вкруг себя. И чувства их изливаются, струятся, водам подобны. Что за огни там, что за толпы? И что за рокот сей, несущийся издалече? Не узнаете? Вслушайтесь в тишину! В день сей год коснулся года. Год к году устремил шаги свои – так сошлись они и так же разойдутся навеки. Один год слагает с себя оружие свое, и новый год принимает командование от него. Новый год явился во вселенной и вскоре разошлет по всей земле воинство событий своих.

«Олень» отозвался фельетоном Гедальи Бухбиндера:

И был вечер, и было утро, новый 5644 год! На еврейской улице шум и гам, повсюду толпы, волнение и смятение, дамы и господа, дети малые и старики, барышни и юноши – все в парадных нарядах: белый халат да чистая капота, наилучшая шляпа да начищенные ботинки, волоса причесаны и лица умыты – со всех сторон торопятся-поспешают в «малый

храм», в обитель Божью, в жилище Шехины[38]*, в дом молитвы и покаяния, в кладовую слез, в хранилище вздохов и рыданий, стонов и воплей. Дорог еврею дом молитвы, он – словно маг-нит, притягивающий к себе душу и все чувства его. Там он свободен, волен, ноги его будто свободны и не скованы, нет на них колодок, нет кандалов на руках его и петли на шее его, нет узды безудержному духу его и душной клетки душе его. Там он – у себя дома, в окружении родных и близких, братьев и соплеменников своих. Там он чувствует себя человеком, чувст-вует, что создан по образу и подобию Божию. Ведь он в отчем доме, в доме отца милосердного и долготерпеливого, пред коим равны великие и малые! Пред Ним и он человек, в глазах Его и он сын среди сынов Его, и ему дано имя и право ходить по земле пред отцом его, и у него есть удел во владении от-ца…*

И вот уже воспрянул дух и отверзлись уста: «Отец, царь наш, нет у нас царя, кроме Тебя! Отец, царь наш, ниспошли нам добрый год!»

Добрый год?! Да где же? Когда же? Да разве будет новый год добрым? Господи-Боже, вот уж тысячи лет бьется и стелется пред тобою мельчайший из сынов Твоих, умоляя о добром годе. Смилостивишься ли над ним, ниспошлешь ли один добрый год за эти тысячи лет?

Впрочем, трудно дать евреям добрый год, труднее самых великих трудностей, что создал Ты в мире сем…

Ой, Господь Воинств, дай им, дай евреям добрый год! Что дашь им? Ну, скажем, Приверженцам Сиона ниспошлешь прямую дорогу в Землю Обетованную и полные руки плодотворного, до пота, до крови, труда на этой иссохшей земле. А противникам их, тем что велят не спешить и терпеть ярмо изгнания, что дашь? Может, Гога и Магога?.. Ну, одним дашь множество ешив, чтобы в них грызли гранит Торы и росли бы праведниками и книжниками, как в прежние времена. А сто-

---

[38] *Шехина́* – буквально: пребывание (*иврит*), термин, обозначающий физическое присутствие Бога.

ронникам просвещения и светских наук что дашь? Высшие школы во имя гуманизма и торжества рода человеческого? Богобоязненным дашь подкрепление сердцу для страха Божьего, дабы боялись Тебя и служили Тебе служением истинным, а эмансипированным поможешь смешаться с народами и изменить собственное обличие?

Разбит дом Израиля в осколки, разорван на куски, и некому собрать, некому сшить, некому склеить! Нет того, кто соберет разбредшихся и сблизит разошедшихся… Ты слышишь смешанный язык, сбивчивые слова, противоречивые речи и спутанные молитвы – один молится об одном, а другой прямо о противоположном. И что же станешь тут делать, Ты, отец наш, отец всемогущий, неустанный и неутомимый, не знающий преград? Ведь нет для Тебя невозможного, Ты на все способен – даже сравнять пропасти и примирить противоположности, сшить обрывки да склеить обломки, и сделать нас, как прежде, народом единым, народом нераздельным.

Так будет же воля твоя, Отец, Царь наш, Отец Милосердный, и ниспошлешь нам в грядущий год взаимное согласие и, если и не общее мнение, то, хотя бы, терпимость и уважение к иному мнению!

За этот фельетон две сотни верных подписчиков «Оленя» готовы были затискать автора в объятьях, три сотни приверженцев «Лилии» и члены их семей снисходительно хмыкали и пожимали плечами, но передавали праздничный номер «чужой» газеты из рук в руки, а те десятки тысяч благочестивцев, что газет на святом языке не читают вовсе, но все равно всегда в курсе того, что в них написано, еще раз сошлись на том, что «этот ночной умник и гойский прихвостень» не уймется, пока не удостоится форменного отлучения.

Миновал пост Гедальи, учрежденный в память об убиенном два с половиной тысячелетия назад Гедальягу Бен Ахикаме и совершенно необходимый нашим соплеменникам, дабы переварить все, съеденное за два дня празднования

Рош а-шоно[39]. За ним пронеслись Судный день и неделя праздника Кущей, в середине которой над Иерусалимом разразилась внезапная гроза с коротким, но сильным дождем. Правоверные бежали из своих шалашей, из-под ненадежного прикрытия пальмовых листьев и веток, назад, в оставленные во имя подобия кочевой жизни дома. Словно в точности исполнилась притча мудрецов из трактата «Сукка», в которой они сравнивают ранний ливень с полным кувшином воды, выплеснутой в лицо хозяину рабом, наливавшим ему чашу. Впрочем, ранние дожди в Святой Земле всегда поглощаются томимой жаждою почвой с такою алчностью, что от кратковременной влаги вскоре не остается и следа. Вот и на сей раз, едва миновали праздничные дни, как снова воцарилась тягостная сушь и вечная пыль повисла в душном воздухе над дорогами и пустошами.

Как раз в это время, пока не наступила зима и затяжные дожди не превратили все пути в непреодолимые самбатионы[40] грязи, чета Годсонов собралась в основательную и продолжительную экспедицию по всей Палестине. Миссис Годсон со свойственным ей красноречием убедительно доказала насупившемуся было супругу, что мандрагоры – это средство для дам, причем такое *восхитительное библейское* средство, равного которому не найти во всем мире. Да он и сам прекрасно видел неподдельное счастье, написанное тогда на ее лице, да что там на лице – на всей миссис Годсон с головы до пят, и это еще в отсутствии, так сказать, соответствующего ей партнера... Искать, искать эти чертовы корешки по всей Палестине, пусть придется опрашивать хоть весь вилайет, два вилайета! Найти как можно больше, накопать их и перевезти вместе с землею в Кентукки для разведения на плантации! Пусть будет дамское средство – дамы в наше время являют собою большую и лучшую половину покупателей.

[39] *Рош а-шоно* (Рош а-шана) – еврейский Новый год.
[40] *Самбатион* – легендарная река, бурлящая камнями в будни и покоящаяся по субботам.

Познавшая счастье, ничуть не менее истинное оттого, что было, в сущности, воображаемым, то есть, явленным ей в галлюцинации, миссис Годсон уже видела впереди осчастливленным весь женский пол, до сих пор лишенный подлинного наслаждения, известного библейским героиням, и вынужденного довольствоваться «неизвестно каким суррогатом».

Когда-нибудь, когда у автора выдастся более свободного времени, когда оставит его постоянная, изрядно докучающая ему необходимость зарабатывать на хлеб и вино мелкими, угнетающе бессмысленными и гадко тривиальными трудами, он еще напишет целое сочинение теоретического свойства о счастье осязаемом (не путать с материальным) и воображаемом (не путать с несуществующим). Пока же сострадательная читательница и понимающий читатель простят ему вынужденную поспешность в погоне за сюжетом, даже и без долгих его отступлений, старающимся обогнать медленное движение его пера.

Что же до поездки по стране, руки знаменитой писательницы уже заранее нетерпеливо тянулись к карандашу и листам писчей бумаги – записывать все увиденное, ловить мельчайшие бесценные подробности *восхитительных библейских* пейзажей, древних городов, колоритных типажей и редкостных дорожных происшествий. Опытного и заслуживающего доверия арабского возницу рекомендовал американский консул Села Меррилл, дополнительный драгоман, он же по совместительству телохранитель – учившийся в Бейруте друз Касем – добыт при содействии доктора Файна. Первоначальная программа была составлена с великим размахом: из Иерусалима через горы Эфраима в Наблус (библейский Сихем) и по Самарийскому нагорью на север – до горы Гильбоа, затем через Изреельскую долину к Назарету, Тиберии, Сафеду, Хайфе с горою Кармель, а оттуда вдоль побережья, через Цезарею и долину Шарона к Яффе, и уж потом через Лидду и Рамлу обратно в Иерусалим. Впрочем, такой маршрут, если двигаться размеренно и основательно разведывать местность, было бы не осуществить и за три месяца, а в распоряжении пытливых исследо-

вателей был месяц, самое большее – полтора, подходящей погоды.

– Никуда я не поеду! – твердо заявляет Гедалья, держа Авигайль за обе руки, словно боится, что американская экспедиционная армия, форсировав Берингов пролив и пройдя через Сибирь, Туркестан и Персию, попытается вырвать у него единственное его достояние.

– Я им не раб! – упрямо сообщает он, пребольно стукнув ладонью по письменному столу.

– Я этого не переживу! – трагически шепчет он, с тоской глядя сквозь выбившуюся из прически прядь волос Авигайль на лучение мягкого желтого света керосиновой лампы.

Авигайль собирает мужа в дорогу, пристроив между полезных дорожных мелочей в потертом и отчасти утратившем форму саквояже, с которым он чуть более десяти лет назад появился в Иерусалиме, свой фотографический портрет, сделанный в том же году самим Феликсом Бонфисом, и вкладывает в его руку темно-серый зонт. «Так вкладывают копье в руку идущего на смерть воина, посох в руку идущего в изгнание изгоя и монету в руку идущего по дворам нищего», – думает Гедалья, сам едва не смеясь этой выспренней патетике. Утром они прощаются у дома и путешественник поневоле, пару раз обернувшись и опираясь на зонтик, как на трость, бредет со своим саквояжем...

Нет, нет, читатели этой правдивой книги не настолько нечутки, чтобы заподозрить чету Годсонов, а тем паче, автора, искренне симпатизирующего Гедалье Бухбиндеру, в намерении отправить его пешком к дамасским воротам, откуда отправляется экспедиция. Ничего подобного! Гедалья проходит по Яффской дороге не более пары сотен шагов до «Дома со Львами» – резиденции сэра Нойэла, возле которого его ждет присланная американцами открытая повозка со старой клячей и еще более старым туркменским возчиком. Никакие уговоры и посулы не могли заставить этого упрямого старика, продолжающего жить в мире двадцатилетней давности, даже при свете дня доехать до квартала Бейс Яаков, до этого «опасного места вдали от города, под самым носом у разбойников». Так что уговорено было,

что он остановится в минуте оттуда, «у дома сэра консула-бея, где собаки на воротах, а уж молодой эфенди, если он такой храбрый, пусть подойдет туда сам». Авигайль, пройдя немного вслед, даже при своей близорукости, видит, как он садится в повозку и успевает поднести сложенные моноклем пальцы к правому глазу, чтобы запечатлеть в памяти эту сцену.

В это время реб Довид заканчивает благословения после утренней трапезы. В дверь стучат: три резких удара зажатого в узкой женской ручке бронзового плода с древа познания – вычурного дверного молоточка, привезенного реб Довидом из Рима и поразившего пылкое воображение иерусалимских жителей.

Не прошло и полугода с появления этого молоточка на «доме у дерева», как на дверях двух других жителей квартала также появились итальянские ручки. И это несмотря на царившую во всем бедность и на то, что три высоких раввинских авторитета сочли подобные украшения неподобающими, а один из них, наиболее решительный и ревностный в чистоте веры, прямо заявил, что это форменное идолопоклонство, и не только запретил своим последователям вешать подобную мерзость на двери, но и велел, проходя мимо них, непременно сплевывать. Впрочем, большинство думало иначе, и вот еще одна итальянская ручка появилась в квартале Нахалат Шива, и еще одна – в Мазкерес Мойше, составив компанию скалящимся сефардским львам с кольцами в зубах из соседнего Оэль Моше. Нечего и говорить, что в квартале Маханэ Исраэль и вовсе едва ли не на каждой двери красовались вывезенные из Магриба «ручки Фатимы». На дремучих выходцев с дальнего Запада, на этих африканцев, по мнению большинства, мало чем отличавшихся от исмаильтян, никакие авторитеты повлиять не могли, и они продолжали колотить в двери соседей пястями магометовой дочери.

А изящные итальянские ручки с фруктами в пальчиках произвели такой фурор в народе и вызвали негодование самых благочестивых по одной и той же причине: очень уж явно вторил их нежный стук тем самым стихам, которые,

если их неверно истолковать и понять слишком буквально, да направить аллегории не в то русло, которое усердно прорыли для этого бурного и своевольного потока наши мудрецы, начинают будить в человеке такое, что поди потом усыпи снова...

Запертый сад – сестра моя, заключенный колодезь, запечатанный источник.

Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает плоды его.

Вот голос моего возлюбленного, который стучится: «отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя! Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои – ночною влагою».

Вид запертой двери с замочной скважиною, как давно уже замечено многими, и без того подспудно волнует мужчину, важнейшее жизненное назначение коего – проникнуть в глубь всякой тайны, сколь бы неприступным ни казался запор. Что уж говорить о мужчине, выросшем на древней могучей традиции внимательного изучения текстов и еще в первой своей ешиве не раз получавшем подзатыльники от ребе за то, что под трактатом «Брохес» прятал «Песнь Шломо». Добавьте к этому постоянно присутствующий на дне нашего сознания образ праматери Хавы, протягивающей Адаму запретный плод с древа познания, и вы поймете, почему такая ручка приобрела особое значение в городе, где каждая мелочь громко взывает к углубленному символическому толкованию (причем одни приступают к нему со строгой моралью, другие же – с распаленным чувственным воображением). Как пройти мимо двери, на которой висит подобный молоточек? Живи реб Довид не в крошечном новом квартале, а в гуще Старого города, в его дверь стучали бы беспрерывно, из одного только непреодолимого искушения взять эту бронзовую ручку в свою руку и послушать, какой звук издаст ее прикосновение к запертой двери.

Бум, бум, бум – словно уведомление о судьбоносном визите: не то троицы ангелов, несущей благую весть о грядущем потомстве, не то троицы кавасов с оповещением о непременной явке к секретарю паши для предоставления налогового отчета. Будь автор этого сочинения немцем, непременно вспомнил бы навязшую в зубах «тему судьбы» из пятой симфонии Людвига Бетховена и написал бы, что удара было четыре, да еще, пожалуй, пустился бы в спекуляции, не от этого ли стука в ушах оглох знаменитый композитор. Будь он русским – полез бы к вам с вечным своим Пушкиным: «Ко мне постучался презренный еврей». Но так как он – скромный еврейский писатель, живущий в Иерусалиме, то ему пристало вспоминать не Бетховена и не Пушкина, а наших мудрецов. Да, да, тех самых мудрецов, память которых благословенна и которые обо всем подумали и высказались. И что же по данному поводу сказали наши мудрецы?

Наши мудрецы, в подражание тому, как, согласно Писанию, вел себя Пресвятой, да будет Он благословен, ввели такое правило, что не следует входить в чужой дом внезапно, не сообщив хозяину о своем посещении заранее, хоть стуком в дверь, причем неоднократным, дабы хозяин был подготовлен, и не попал от неожиданности в неудобное положение.

– Был я юношей и состарился, – поспешно бормочет реб Довид, вставая из-за стола, – и не видел праведника оставленного и потомство его, просящим хлеба.

Когда он уже берется за дверную ручку, чтобы отворить, три удара снаружи повторяются.

– Господь даст мощь народу своему, Господь благословит народ свой миром! – поет реб Довид вслух и распахивает дверь, готовый ко всякой вести – доброй ли, злой ли – как должен быть всегда готов истинный сын завета.

На пороге – не три ангела и даже не один кавас – всего-навсего одинокий молодой еврей, худой, с длинными жидковатыми соломенными пейсами, закинутыми за уши, странно смотрящимися под шляпой-котелком, и тревожным взглядом огромных, горящих синим огнем глаз – тот

самый Йехиэль Вайнтрауб, которого все называют Альбрехтом.

– Мир вам, рабби! Вы меня помните? То есть, я хотел спросить: вы меня знаете?

– Как же, конечно! Я вас прекрасно помню. Вы Йехиэль из Мазкерес Мойше, прозванный Альбрехтом. Входите, присаживайтесь!

– Но знаете ли вы меня, рабби? Знаете ли меня в самом деле, по сути?

Реб Довид смущенно разводит руками.

– Вот вы говорите: прозванный Альбрехтом. Все верно, так меня называют. Но почему меня так называют, вам известно? – Молодой человек теребит пейсы и все не садится на пододвинутый ему стул.

– Я слышал, что это связано с немецким живописцем, в картинах которого вы видите некие намеки на спасение, но, возможно, есть тому и другие, более важные причины, – осторожно отвечает реб Довид.

– Есть, есть связь! – с воодушевлением восклицает Альбрехт. – Есть, вас не обманули! Но есть и другое... Видите ли: алеф, бейс, рейш, айн, каф, тес – имеем в гематрии триста два. Триста два: шин, бейс – ***шав*** – вернулся. Теперь триста два: три плюс два – имеем пять. Пять: хей – Господь! Господь вернулся в дом Свой, на Святую гору, к народу Своему. Еще меня зовут ***Йехи эль*** – да будет Бог! Вот отчего еще Альбрехт! Вот отчего.

Реб Довид понимающе кивает головой, решив не проявлять чрезмерной въедливости и не выяснять, на каком основании его гость так разделался с буквой «ламед» в своем прозвище, будто она и вовсе не заслуживала счета.

– А почему Вайнтрауб? – не останавливается молодой человек. – Меня также называют Вайнтрауб, вслед за отцом и дедом, вы знаете? *Сыновья матери моей разгневались на меня, поставили стеречь виноградники*... И еще сказано: *Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние*. И еще сказано: *Груди твои будут вместо кистей винограда*. И еще сказано... Как там? Ну, это... Забыл, рабби! Но это не важно...

Вот почему Вайнтрауб – у нас и на гербе гроздь винограда. Поезжайте в Мюнхен, посмотрите на кладбище могилу моего деда: рабби Авраам Шмуэль Вайнтрауб.

Альбрехт, наконец, усаживается и надолго замолкает, погруженный в какие-то свои думы. Реб Довид из деликатности не торопит его с продолжением разговора.

– Рука на вашей двери, рабби! – припомнив что-то важное, говорит посетитель. – Если мандрагоры перестанут грозить нам кулаками с храмовой крыши, а возьмут в ладони золотые плоды свои и ими, рабби, ими примутся стучать в двери тех, кто еще не вовсе оглох... Быть может, тогда придет спасение наше?

Реб Довид тактично молчит.

– А я к вам по делу, рабби, – неожиданно заявляет Альбрехт. – Впрочем, это потом. Вот лучше послушайте, я тут как раз подумал... Видели вы сегодня восход?

Реб Довид сегодня восхода не видел. Увы, не довелось...

– Это что за восход! – кривится молодой человек. – Это просто солнце вылезло из-за горизонта и посветило немного, глупое светило, под этаким углом на землю – так, розоватое освещение... Нечего было и смотреть. Разве так должно всходить солнце над Святым Градом! Тут вмешательство гения требуется, особенно в наше время, когда достижения науки сделали возможным самое невозможное. Вы картину «Битва Александра Великого» видели? Вот что надо было бы в небо запустить при помощи физических излучений. Послушайте, я вас не задерживаю, рабби? Не отвлекаю? Вот, хорошо! Ведь надо же все это высказать тому, кто способен понять. Ведь они же все вовсе ничего не слышат и не видят, хоть им пророков посылай. Сказано в Писании: народ с твердым затылком. И еще сказано... Забыл, забыл! Ну, не важно... А я, когда шел сюда, вспомнил волшебный фонарь, который на стенку картины показывает: переход через Красное море, лазутчики, возвращающиеся из земли Ханаанской с гроздью винограда, горящий куст... Но ведь этого мало – на стенку картины показывать. В небо надо устремить свет величайшей силы, и такую проекцию в пространство направить, чтобы в Африке пылала над

горами и в Америке над степями, чтобы народы содрогнулись и раскаялись. Понимаете, рабби? Видения – вот что необходимо! Грозные и ослепительные видения! И тогда только наступит конец времен. А они настаивают на изучении морали, будто ничего важнее того на свете нет, и это когда силою прогресса мы, наконец, можем вернуться к истокам рек, вытекающих из сада Эдена...

Альбрехт с тревогой смотрит на реб Довида.

– Я вижу, что вы со мной согласны... Но... Скажите, рабби, вы не помните, зачем я к вам шел? Помню: была предо мною ясная житейская цель, но видение утреннего неба настроило мои мысли на более возвышенный лад, и я забыл свое поручение. А ведь было поручение... Впрочем, если я вас не отвлекаю, то мы к этому еще придем.

– Я очень на это надеюсь, Альбрехт, – мягко замечает хозяин дома. – Попьете водички? Постарайтесь вспомнить. Сосредоточьтесь. В последний раз мы с вами встречались в типографии Бака. Общий разговор касался самоубийства одного молодого человека... говорили также о мандрагорах...

Альбрехт резко вскакивает со стула, опрокинув его на пол.

– Конечно! Именно! Я много об этом думал и пришел к очень важным научным выводам. Но об этом я даже вам не скажу, рабби. Пока... Время еще не настало. Но вот поручение – да, я вспомнил. Сестра моя, Сарра, проживающая в Мюнхене... А правда ли, что вы получали заказы даже от королевских семей Германии? Я понимаю, что некоторые заказы делаются анонимно, в полной тайне, и вы не имеете права обнародовать имена заказчиков... Но по городу ходят слухи, и вот уже по всему миру поползли. Впрочем, это не важно, ибо сказано: «Как сон возникает из множества дел, так речь глупца – из множества слов...» – Альбрехт нервно смеется. – Сестра моя, Сарра, уже пять лет замужем, однако бездетна. Слухами о вашем чудодейственном средстве, рабби, как я уж говорил, земля полнится. Вот Сарра и написала мне с просьбой купить у вас пять порций. И деньги переслала. Вот ее письмо, посмотрите!

Альбрехт вертит перед носом реб Довида мятый конверт с прусским орлом и баварским штемпелем. Он вдруг делается очень деловитым и начинает спешить.

– Она желает приобрести пять порций: одну – для себя и еще четыре – для известных в мюнхенской общине бесплодных жен, которые также наслышаны.

Расплатившись и засунув в карман пять аккуратно запечатанных собственной печатью реб Довида пакетиков с порошками мандрагоры и подробными инструкциями к применению, Альбрехт снова садится на поднятый хозяином стул и, сдвинув на затылок шляпу-котелок, рукавом отирает лоб, по которому рекой льется пот. У Альбрехта высокий и узкий лоб, он уже лысеет.

– Я вам скажу намеком, рабби, но только вам: Шауль Альтшулер сам по себе ничего не значит. Многие пытались, но совершит это только тот, кому был верный знак. Я устал, рабби, но надо идти...

Молодой человек встает и, поклонившись, выходит в дверь. Реб Довид замечает, что тот даже не отпил воды из поставленного перед ним стакана.

– «Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел», – задумчиво цитирует вслух реб Довид, стоя перед только что закрытой им дверью.

Долго еще не оставляют его сомнения: правильно ли он поступил, согласившись продать Альбрехту порошки? Существует ли вообще эта Сарра, мюнхенская сестра Альбрехта? Праотец наш Авраам за всю жизнь дважды сказал неправду, и оба раза – назвав Сарру свой сестрою. Мысль эта только больше растревожила реб Довида.

«Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста», – дважды за этот день повторяет он в самых неподходящих обстоятельствах. Один раз этот стих срывается с его уст во время очередного напрасного визита в отделение австрийской почты, прозвучав в ответ на высказанное с неподдельным сожалением сообщение герра Штрайхенбергера, что писем герру Фридляндеру, увы, нет. Не поняв, что именно ответил ему герр Фридляндер, пребывавший в явном рассеянии, почтовый служащий решил, что это какое-то древнеев-

рейское проклятие и, поскольку совесть его была не вполне чиста, почел за благо не переспрашивать и только вежливо поклонился. Во второй раз реб Довид пропел этот стих на вечерней молитве в синагоге, вместо «счастливы сидящие в доме Твоем», и это вызвало некоторый конфуз в миньяне. Когда же он удалился, сердечно пожелав всем доброго утра, старый реб Шлойме Шварц, который еще полгода назад рекомендовал его на должность старосты – высокая честь, от которой тот, однако, с благодарностью отказался – глубокомысленно произнес:

– Эта ботаника не доведет его до добра, помяните мое слово. Горестно... муж достойный и недюжинного ума.

При последних словах он траурно стучит указательным пальцем по правому виску.

А Реувен Вильденштейн шепчет на ухо Янкеле Бойму, младшему из школяров колеля, совсем недавно получившему в квартале комнату на пару с Биньюменом Дрейером:

– Верно говорят наши наставники, да продлятся их дни: нельзя читать «Песнь Шлойме», пока не достигнешь высшей мудрости. Видишь, что получается, когда даже такой благочестивый и ученый человек неосторожно берется за эту святую книгу...

– Да? Ой! – только и выжимает из себя Янкеле, как раз переживающий очень сложный период в своей юной жизни и так страдающий по ночам, лежа в постели, что Биньюмен уже дважды грозился нажаловаться в товарищество «Архавас а-боним». А сколько лишних раз приходится ему окунаться в микве! И все это происходит с ним оттого, что не уберегся: в прошлом году, аккурат на Пейсах, после сейдера[41] у реб Мойше Графа, всю ночь до рассвета читал «Песнь» – раз пятнадцать перечел, и даже многие стихи наизусть запомнил. Вот они его теперь по ночам и мучают. Уж на что он старается себя блюсти, ни на одну женщину глаз не поднимает, а все равно... Да и много ли толку – глаз не поднимать, когда их башмаки на виду, когда края юбок вечно

---

[41] *Сейдер* (седер) – буквально: порядок (*иврит*). Церемония пасхального вечера.

колышутся там внизу, словно живые, словно танец какой танцуют, а между этими краями юбок и башмаками – полоски белых или черных чулок виднеются, словно заманивая его, Янкеле, под эти юбки, как под свадебные балдахины. Неизвестно, какие чулки страшнее, белые или черные, хотя вторые, якобы, особенно скромны… Ведь сказано: «черна я, но красива, как шатры Кейдара»! Что же ему, ослепнуть, что ли, Янкеле Бойму, чтобы не сходить с ума? А сильно ли это ему поможет? Думается Янкеле, бедняге, что, ежели он утратит зрение, то и вовсе ума решится – станет все время, без перерыва, видеть мысленным взором края этих юбок, танцующие танец невесты, и эти мерцающие полоски чулок под ними, и уж не на что будет ему тогда отвлечься, не на что взгляд перевести.

А реб Довид, еще несколько раз передумав обо всем, что произошло в то утро, решает, что надо ему поговорить с доктором Файном, чтобы тот непременно присмотрел за Альбрехтом. Ведь молодой человек посещает доктора дважды в неделю – приходит в английскую клинику из Мазкерес Мойше, чтобы получать прописанную ему «франклинизацию».

Читатель, верно, знакомый с именем Бенджамина Франклина, все же недоумевает по поводу франклинизации и спрашивает себя, не ослышался ли он случайно, действительно ли существует такая медицинская метода и имеет ли она отношение к личности выдающегося американца, или автор нарочно морочит ему голову и придумал эту франклинизацию только для смеха. Знай же, недоверчивый читатель, что франклинизация – это такая же реальная вещь, как утренняя чашка чаю или, скажем, муниципальный сбор, и, подобно громоотводу и стеклянной гармонике, является изобретением того самого физика, масона и дипломата. Состоит она в пользительном применении статического электричества в виде пучкообразных или искровых разрядов, воздушной ванны и головного электростатического душа. Идея этого изобретения, в сущности, довольно проста и отчасти сводится к уподоблению болящего тому же громоотводу. При электростатической воздушной ванне тело пациен-

та, находящегося на изолирующей скамейке, заряжается положительным полюсом, тогда как отрицательный полюс отводится к земле. Метода эта, по мнению ее адептов, производит успокаивающее действие и применяется при неврастении и истерии, к которым доктор Файн относит также расстройства питания, сопровождающие разные худосочные болезни. Самое, впрочем, удивительное тут вовсе не существование в мире этой самой франклинизации. В конце концов, чего только не изобрели в наше время ученые люди, прожектеры и всякого рода экспериментаторы. Самое удивительное тут то, что эта самая... Нет, автор не собирается в который уже раз повторять слово, порядком уже надоевшее ему самому... Что она достигла такого относительно отдаленного, замкнутого и склонного к излишнему консерватизму места, как Иерусалим. И это благодаря энтузиазму доктора Файна, уверенного, что с ее помощью он вылечит тут многие болезни тела и духа. Доктор, между прочим, вообще верный последователь Франклина и едва ли не более всего ценит научное управление временем, о котором позаботился великий американец.

Конечно, если бы наши иерусалимские прожектеры взялись управлять временем, они пошли бы куда как дальше, чем Франклин, они бы не ограничились его рациональным распределением для всяких мелких обывательских делишек в течение дня. О нет, когда Реувен думает о чудо-календарях, составленных до конца времен, он готовится действительно управлять временем, так, чтобы все в нем было решено заранее, чтобы не оно, это самое время, которое столько крови попортило сынам Яакова, диктовало человеку, что, когда и как делать, а чтобы, напротив, сам человек, а именно он, Реувен, издатель календаря, предписывал времени, как себя вести. А уж про Альбрехта и говорить излишне, что под управлением временем, о котором и он думал постоянно, подразумевалось полное его изменение и совершеннейший поворот вспять – первый шаг научного переворота на пути к полному свержению тирании часов, расписаний, календарей и различных исторических эпох.

Итак, реб Довид твердо решает, не откладывая, прямо завтра же, переговорить с доктором. Он и подозревать не может, что Альбрехта подослал к нему не кто иной как сей достойнейший джентльмен и, в то самое время, когда он, реб Довид, принял решение совершить незапланированный визит в Старый Город, порция чудодейственного порошка из корней библейского растения уже находится в руках Джеймса Файна. Порция мандрагоры для обострения плотского желания и повышения плодовитости женщины? К чему все это доктору? И еще один вопрос: куда делись четыре дополнительные дозы, купленные Альбрехтом – неужели они действительно отправляются в Мюнхен, к единоутробной сестре его Сарре? Да нет у него ни Сарры, ни какой-либо вообще сестры! Йехиэль (Альбрехт) Вайнтрауб – единственный ребенок у своих почтенных родителей, проживающих в Мюнхене и содержащих его на свои средства. От них он и получает письма с прусскими орлами на марках и с баварскими штемпелями поверх них. Не зря тревожится реб Довид...

Сейчас Альбрехт почти счастлив. Он лежит на голой кровати в своей комнате в квартале Мазкерес Мойше и улыбается в темноте. Четыре пакетика с порошками, обернутые в чистую тряпицу, надежно спрятаны под свободно вынимающейся каменной плиткой в полу – второю от западного угла. Когда доктор Файн предложил ему десять франков за то, чтобы он тайно, ни в коем случае не выдавая заказчика, купил порошок для его, доктора, личных нужд, ему сразу же пришла в голову великая мысль – прожект, поистине соответствующий дарованию и предназначению человека, удостоенного имени Альбрехт.

– «Мандрагоры дали запах». О чем это сказано? – вслух продолжает он рассуждать сам с собою. – О приходе помазанника, о конце времен и наступлении царства Божьего, когда сольются наконец разлученные душа и тело. Сказано в святой книге «Зоар» о конце времен: «В тот час прольет на них Пресвятой, благословен Он, всевозможные ароматы, заключенные в саду эдемском, ибо сказано в Писании: “мандрагоры дали запах”. Сказал рабби Ицхак: читай

не ***дудаим***, но ***додим*** (возлюбленные) – это тело и душа, любезные и милые друг другу». Ха, ха, ха, ха! Любезные и милые друг другу части одного организма – вот о чем это сказано. Душа и тело – читай: плюс и минус. «Я для любимого моего и любимый мой для меня!» Все во мне, во мне самом. Разве не о том же и картины несравненного Альбрехта Альтдорфера? Разве сошедшиеся в долине армии это не разнозаряженные мандрагоры, идущие в Вавилон, туда, где ждет их золотокудрая дева? Разве праведная Шошана Бат Хилкия, жена Йеоакима, уединялась с кем-нибудь? Где? Когда? Даниэль на суде доказал, что не уединялась. Старцев она отвергла, муж ее, Йеоаким, тоже до нее не дотронулся после свадьбы, это сразу ясно – даже волосы ее золотые не состригли. Так откуда же плод спасения, о коем сказано: «Ростки твои – сад гранатовый с прекрасными плодами?» Ха, ха, ха, ха! Да в ней самой, в ней самой – сочетание двух полюсов электрических, минуса и плюса, рождающих того, кто отпирает двери спасителю! А они ничего не поняли! Никто ничего не понял – все юношу какого-то искали под деревьями сада. Не верили современной научной методике, приземленные твари! И так же, как в Шошане, под электрическим влиянием мандрагор, плод от нее самой – грядущий роженик всеобщего избавления... Господа, учители мои! Это я – отпрыск чресл ее! Я, Альбрехт Вайнтрауб, под влиянием вдохновленного научным поиском художника и медицинских излучений отрицательно и положительно заряженных мандрагор, пролившихся золотым электромагнитным душем, я явился на свет, чтобы из собственных плюса и минуса зачать спасителя и отверзть для него выход в мир!

Покуда четыре дозы мандрагорового порошка покоятся под каменной плитою, читатель может быть покоен. Альбрехт знает, что для великого деяния необходимо точно рассчитать и выбрать время. Да, не поторопиться необдуманно, а выбрать наиболее благоприятствующее время, покуда эта упорная субстанция оказывает на нас свое влияние. Он рано засыпает, полный благороднейших устремлений и светлых надежд на будущее.

В каких-то минутах ходьбы от его дома, в уже знакомом читателю квартале Бейс Яаков мандрагоры тоже в мыслях и на языке. В супружеской постели, несмотря на множество стараний, еще не принесшей плода любви, Двойра Вильденштейн умоляет мужа:

– Рувеле, купи мандрагоры! Календари разошлись так хорошо, да и я могу сэкономить: грош там, грош тут – мы справимся. Рувеле, купи мандрагоры у реб Довида, он тебе сделает послабление в цене...

– Но ведь сказали мудрецы, – начинает нараспев гнусить Реувен, – что не мандрагоры помогают зачатию, а только Пресвятой, благословен Он! И праотец наш Яаков знал, что мандрагоры не помогают, а только могут быть причиной... То есть, ты меня совсем с толку сбиваешь... Не причиной, конечно, а случайным поводом... Ну, тем, что Пресвятой, благословен Он, просто использует, если Ему угодно будет, и не более того... Э, да что ты понимаешь! Нет у тебя подлинного упования на Святого, благословен Он!

Двойра, уставшая от безуспешных попыток исполнить заповедь и чувствующая себя кругом виноватой, тем не менее, не сдается и продолжает упрашивать:

– Рувеле, Рувеле, ну не хочешь купить мандрагоры, так хоть потрогай меня рукой! Да не за ухо, прости Господи! Потрогай *там*! Погладь меня *там*, Рувеле!

– Как ты можешь говорить такие вещи! – в ужасе отшатывается Реувен, теряя всю мужскую силу, которой у него только что было хоть отбавляй – столько, что он даже не знал, куда деть ее избыток. – Ведь сказали наши мудрецы...

– Ах, Рувеле! – чуть не плачет Двойра, – Я не хочу знать, что сказали наши мудрецы, не хочу, не хочу!!! Наверняка они что-то сказали, но это не женское дело, изучать Тору! Женщине вполне достаточно «Тайч Хумэш»[42]. Это мужчи-

[42] *«Тайч Хумэш»* – буквально: «Немецкое Пятикнижие» (*идиш*). Популярная книга XVI века рабби Яакова Бен Ицхака Ашкеназа «Цена Урена» – переложение для женского чтения Пятикнижия и отрывков других книг еврейского канона на идиш.

на должен изучать Тору! А что сказано в Торе? Что мужчина должен слушать свою жену! Рувеле! А ты никогда не слушаешь...

Реувен, не скидывая одеяла, резко садится в постели между ее ног и хватается за голову.

– Двойра, ты ничего не понимаешь, Двойра! Можно трогать, ласкать и даже целовать жену, но не «это место»! Не «это место», ясно тебе? Разве я тебя не целую?! Я тебя несколько раз поцеловал, а ты стала бесстыдничать – схватила меня за руку и стала тянуть ее туда, куда нельзя! Вообще, вообще не нужно думать об этом... об «том месте»! Ты, небось, уверена, что мне легко о нем не думать, Двойреле?! Очень даже трудно! Ой, как трудно совсем на него не смотреть! Но Пресвятой, благословен Он, специально создал его таким незаметным, чтобы мужчина... Неужели у тебя совсем нет стыда?!

Реувен чувствует, что от этих рассуждений его мужская сила снова возвращается к нему, да с таким напором, что прямо на глазах превращается из силы в род слабости.

– А мысли свои во время соития следует направлять к Пресвятому, благословен Он...

Как угодно, что угодно, куда угодно направить мысли, хоть к Дому Гиллеля, хоть к Дому Шамая, но нужно успеть, нужно оттянуть этот момент, не дать бьющемуся в нем яростному семени излиться впустую!

Реувен, сжав зубы, быстро обрушивается на жену, продолжающую лежать под одеялом с широко раскинутыми ногами, но не успевает проникнуть в нее, и бурный поток бьет мимо «того места», обильно обтекая его снаружи, словно река Пишон землю Хавила, ту, где золото. Нечистота! Нечистота! Нечистота! Реувен в бешенстве рвет на себе рубашку, которую жена так старательно зашивала только на прошлой неделе.

– Как он хочет, чтобы я зачала, – тихо плача, думает рассудительная Двойра, – если он в это время обращает свои мысли к Пресвятому, благословен Он, и даже в темноте старается смотреть в потолок? Неужели ни одному из наших мудрецов не приходило в голову, что праматерь Сарра до

старости была бесплодна только оттого, что праотец наш Авраам все время думал о Пресвятом, благословен Он? Неужели я так и останусь бездетной на всю жизнь...

В отличие от Двойры Вильденштейн, не понаслышке знающей, что еврейский мужчина думает о Пресвятом, благословен Он, даже когда старается наилучшим образом исполнить заповедь «плодитесь и размножайтесь», Доротея Файн убеждена, что он, этот еврейский мужчина, *quisquis ille erat*,[43] даже приняв крещение, не способен до конца преодолеть свою натуру и постоянно озабочен лишь греховным удовлетворением собственных животных потребностей. Отдав дань природе еще на заре своей юности, каковым периодом она почитала двадцать девять лет, то есть, родив в законном браке двойню – мальчика и девочку, миссис Файн сочла свой долг перед этой природой, а также и перед супругом, уплаченным сполна. Даже правоверной еврейке такое свершение позволяет поставить отметку «удовлетворительно» в табеле исполненных заповедей Божьих, хотя она редко на том останавливается, продолжая стремиться в первые ученицы. А уж англиканская церковь, с присущим ей рационализмом, здравым смыслом и уважением границ человеческих возможностей, и подавно позаботилась о том, чтобы миссис Файн после совершенного ею подвига чувствовала себя вправе отдаться иным богоугодным делам. Увы, муж ее, как невинная Доротея выяснила уже в первые дни замужества, был склонен к иному мировоззрению и, видимо, предназначал ее на роль храмовой блудницы. Не прошло и месяца после тяжелых родов, как он имел наглость явиться к ней с плотским поползновением, а, получив отповедь, даже оскорбился, что, впрочем, не помешало ему уже через неделю повторить попытку. Дело могло бы дойти до развода, когда бы материальное положение доктора не находилось в столь прямой зависимости от банковского счета его во всех отношениях лучшей половины. Долгая дипломатическая война между супругами, в которую оказались вовлечены духовные лица, вплоть до двух еписко-

[43] *Quisquis ille erat* – кем бы он ни был (*лат.*).

пов – Лондонского и Глостерского, завершилась установлением холодного мира на жестких условиях, по которым доктор Файн получал еженедельный доступ к бесстрастному телу супруги при условии неукоснительного использования *rubber good*[44] фирмы E. Lambert and Son of Dalston[45] и предельной непродолжительности договорного акта.

Что бы ни думал иногда поспешный в своих суждениях читатель, миссис Файн любила своего супруга, обладавшего множеством достоинств, ничуть не страдавших в ее глазах от его единственного серьезного порока. Ей нравился его глубокий научный ум и прогрессивное мышление, опирающееся, не в пример лишенным религиозно-нравственной основы выскочкам, на твердый этический фундамент. Во всем, что не касалось излишней возбудимости нижних регионов тела, она почитала его образцом уравновешенного и высокоморального человека. Более того, юная Доротея Кук, впоследствии ставшая миссис Джеймс Файн, с первого взгляда полюбила внешний облик своего будущего мужа, его величавую корпулентность и яркую выразительность его профиля, его богатый тембрами голос, решительную походку, прямой и ясный взор больших миндалевидных глаз. И это совершенное удовлетворение наружными данными человека, полного также и внутренних достоинств, она сохраняла на протяжение двух десятков лет совместной жизни. Их дети унаследовали яркую ориентальную внешность отца, и это также было ей приятно. Не видя их большую часть года (Ребекка обучалась в Бадминтоне, Питер – в Харроу), миссис Файн при редких встречах с удовольствием убеждалась в том, что развитие их интеллектуальных способностей также следует курсу, ведущему в области познания, в которых так преуспел их отец.

Ах, если бы мистер Файн разговаривал с нею часами, сидя в кресле у окна, в такой позе, чтобы особенно отчетливо вырисовывался его профиль (фас его она любила несколько менее)! И глубокий, сочный голос мужа, и неповто-

---

[44] *Rubber good* – резиновое изделие (*англ.*).
[45] *E. Lambert and Son of Dalston* – И. Ламберт и сын из Дальстона (*англ.*).

римую содержательность его бесед она не променяла бы ни на что на свете. Серьезное, уважительное пожатие его сильной руки, выражающее супружескую любовь и искреннюю дружбу, ей тоже было бы чрезвычайно приятно. Увы, в силу огромной занятости работой, Джеймс Файн не мог разговаривать с женою часами, ограничиваясь лишь краткими минутами, а рукопожатие и вовсе считал средством обмена любезностями исключительно между мужчинами.

Сам он никогда не считал свою жену образцом женской прелести – суждение, в предвзятости которого его трудно было со всей серьезностью обвинить. Поэтому он смолоду не особенно старательно вглядывался при свете дня в ее англо-саксонские черты и таким образом научился не замечать ни их унылую тяжеловесность, ни приходящее с годами дальнейшее их огрубление. Всемогущая природа, однако, настойчиво требовала своего, а то изумительное упорство, с которым жена сопротивлялась его законным притязаниям, в темноте или при очень слабом свете даже в известной степени разжигало в нем подобие страсти, направленной, если и не на некую сказочную красавицу, то на удовлетворение собственных, идущих изнутри организма позывов. К одному посещению супружеской спальни в неделю, отвоеванному им и потому особенно ему дорогому, хоть все оно занимало не более четверти часа, он добавлял одно посещение известного в самых респектабельных лондонских кругах заведения, в котором проводил всякий раз от полутора до двух часов.

После переезда в Иерусалим положение доктора существенно ухудшилось, поскольку он лишился обычных для множества викторианских мужей оздоровительных санитарных процедур, к которым волей-неволей прибегал в Лондоне. Здесь эти снимающие напряжение упражнения были фактически недоступны из-за отсутствия соответствующих учреждений, которые обеспечивали бы удовлетворительное соблюдение санитарных условий. Упорная работа и долгие пешие прогулки несколько облегчали его испытания, но все же, организм его, видимо, был устроен таким образом, что требовал большего. От воздержания у доктора портил-

ся характер, рассеивалось внимание и возникали вредные измышления. Все чаще, из одного только раздражения, назначал он пациентам клистиры. Однажды, сильно рискуя своей репутацией, он даже отправился в Яффу, где тайно посетил заведение некоего Петруччио, после чего несколько дней безостановочно мыл руки и полоскал горло, дав себе слово, что ноги его там больше не будет. Неоднократно он пытался вести переговоры с женой об изменении условий их договора, но натыкался на каменную стену. А однажды у него даже возникла фантазия, род наваждения: овладеть ею без очереди и спроса, применив эфирный наркоз, но, представив себе такой научный эксперимент, более всего похожий на акт некрофилии, он почувствовал себя столь гадко, что и высказать невозможно.

И тут, как нельзя более кстати, прямо из-под земли вылезли мандрагоры Довида Фридляндера.

Два естествоведа познакомились не так давно, хотя несколько лет бродили по одним и тем же тропинкам в окрестностях города, вспугивая одних и тех же птиц и собирая гербарии из одних и тех же трав. Однажды их пути пересеклись не только в пространстве, но и во времени. Довид Фридляндер и Джеймс Файн едва не столкнулись лбами на горе Сион, одновременно выпрямившись по две стороны куста Cistus creticus, именуемого на святом языке цветком Лота, за которым оба прятались, наблюдая изумительный по красоте экземпляр дикобраза Hystrix cristata. Потревоженный грызун с громким топотом и жутковатым громыханием длинных черно-белых игл бросился наутек, повергнув в панику стаю куропаток-кекликов, которые засеменили вверх по горному склону. (Особенно любознательный читатель, вероятно, захочет узнать также научное наименование и этого вида. Автор всегда рад удовлетворить его жажду знаний. Прошу вас: Alectoris chukar.) Два статных мужа, достойные коллеги преподобного Генри Бейкера Тристрама, уставились друг на друга одновременно с любопытством и опаской, которым суждено было окрасить все их дальнейшие отношения.

Когда бы оба они были, на выбор, истинными английскими джентльменами или безупречными еврейскими книжниками, сложившаяся между ними коллизия могла бы стать ученой дружбой, неотъемлемой частью которой всегда является непрекращающийся спор. Но, поскольку никто из них в точности не соответствовал ни одному из этих определений и, одновременно, каждый из них не был лишен вовсе важнейших черт и того и другого, какая-то неловкость сохраняла между ними изрядную дистанцию. Оба они несколько стеснялись своего взаимного интереса, оба опасались возможного осуждения своими конгрегациями. Доктор не мог позволить себе признаться перед всем миром и перед реб Довидом в особенности, что он допускает саму мысль о чудодейственной силе мандрагор.

«Как же так?» – спросит изумленный читатель. – «Как такое сочетается с принадлежностью доктора Файна к лагерю тех, кто всегда или почти всегда “за”»? И еще чего доброго обвинит автора в непоследовательности и в измене единству характера. Нет, наедине с собою доктор вполне допускал присутствие в корнях и даже, отчасти, в плодах Mandragora officinarum сильнодействующих органических веществ, повышающих половые функции организма. Чего только мы не допускаем наедине с собою! Но любой естественнонаучный факт становится фактом лишь после ряда экспериментов, добросовестно проведенных лицом, имеющим определенную научную квалификацию. До тех же пор, пока такие эксперименты не проведены и ученые выводы не сделаны, всякое «чудо природы» будет оставаться не более, чем гипотетическим вызовом эмпирическому исследованию. Он рад был бы сам выкопать корешок-другой и в своем кабинете подойти к мандрагорам со строго научных позиций. Но именно тут, на этом простом, как таблица умножения, и ровном, как поверхность Генисаретского озера, месте, начиналась уже какая-то сверхъестественность, какая-то, да простит меня просвещенный читатель, иррациональность, ибо не слишком уж редкие и даже вполне обычные в наших краях растения самым зловредным образом уклонялись от поползновений доктора и не давались ему в ру-

ки. И так продолжалось до тех пор, пока он не махнул на свой первоначальный план рукою и не принял, в качестве начальной меры, иной план, который не замедлил привести в исполнение.

Приворожить к себе собственную супругу, неподатливую спутницу долгих лет, казалось ему слишком глупой задачей, и фигура снедаемой страстью миссис Файн представлялась попросту какой-то карикатурой. Поэтому он сформулировал для себя цель научного опыта несколько иначе: рассмотреть с чисто экспериментальной точки зрения, каково влияние этого средства на женщину средних лет, доказавшую свою способность к деторождению, но никогда ранее не испытывавшую полового возбуждения.

Визит реб Довида в клинику Протестантской Миссии на следующее утро после неожиданного посещения Альбрехта оказывается совершенно напрасным. Впервые за все время пребывания доктора Файна в Иерусалиме он не явился в положенный час на службу, о чем реб Довида уведомляет чрезвычайно смущенный сим невероятным фактом ассистент – молодой человек неопределенного возраста, почти карлик, с водянистыми испуганными глазами, по имени Кидд. В прихожей сидят, дожидаясь приема, трое мрачных евреев и толстый араб с тощей, непрестанно стонущей женою. На вопрос о том, не заболел ли, не дай бог, доктор, мистер Кидд чрезвычайно смущенно отвечает реб Довиду, что доктор-то как раз здоров, а вот жена его, миссис Файн, с ночи очень нездорова, и оттого доктор задерживается.

– И вряд ли сегодня будет в клинике, – жутким шепотом добавляет он, поднявшись на цыпочки и изо всех сил вытянув шею, чтобы рот его оказался поближе к уху посетителя.

В это время по городу уже вовсю расползаются самые невероятные слухи. Одни рассказывают, что среди ночи миссис доктор, в чем мать родила, залезла на минарет цитадели, также известный как Бурдж Дауд, и оттуда пророчествовала на непонятном языке и кричала петухом. (Тот факт, что вход в цитадель был заперт на четыре замка и вдобавок охранялся двумя часовыми, нимало не смущает рассказ-

чиков.) Другие в ужасе сообщают, что из дома Файнов всю ночь напролет доносились душераздирающие вопли на два женских голоса – один кошмарнее другого. Есть и такие, что утверждают, будто доктор пытался прямо на улице зарезать жену при помощи набора хирургических инструментов, который давно уже пугал некоторых его посетителей.

На самом деле, все происходившее с миссис Файн в ту ночь – под сумрачным влиянием корня мандрагоры, как уже догадался даже самый простодушный читатель – было, с одной стороны, внешне не столь сверхъестественным (если судить с точки зрения броских театральных эффектов), но с другой – совершенно из ряда вон выходящим и уж никак не предвиденным. Начать с того, что почтенная докторша выбежала из дому вовсе, не дай Бог, не в обнаженном виде, а во вполне благопристойной ночной рубашке до пят и в ночном чепчике с кружевами. Кроме того, она не лазила на минарет Бурдж Дауд, а только стучалась в ворота находящейся по соседству городской тюрьмы, именуемой у нас по-турецки ***ки́шле***, отнюдь не кричала петухом, а скорее кудахтала курицей, а если и пророчествовала, то кого же в нашем городе этим удивишь! Из дома доктора около десяти часов ночи, воистину, некоторое время доносились голоса двух женщин, но продолжалась их перекличка недолго, да и окрашены они были, как один, так и другой, в тона не ярости, но взаимной мольбы. Что же до доктора, то он действительно выскочил из дому и бегом последовал за женою, но руки его были при том не вооружены ничем, кроме простой белой простыни. Правду сказать, выступал он в данной сцене скорее в роли спасителя, ибо, если бы не он, то миссис Файн непременно провела бы остаток ночи в тюрьме.

Весь эксперимент доктора повернулся таким неожиданным образом, что поразил и его самого, и его благоверную, не познавшую дотоле собственную натуру. С наступлением ночи миссис Файн выпила в постели принесенную прислугой чашку теплого молока пополам с водою, с неудовольствием заметив, что вкус этого целебного и успокаивающего нервы напитка не совсем соответствует ее представле-

ниям о нем, сложившимся на протяжении многих лет. Прислуга эта, совсем еще юная сирийская сиротка по имени Айша, взятая на работу из приюта господина Шнеллера, на выражение хозяйкою сдержанного неудовольствия ответствовала, что-де Herr Arzt сам приготовил это Milch mit heißem Wasser, и Gott weiß, что она старается служить Frau Arztin верой и правдой, и та сама может видеть, что она, Айша, даже научилась zu sprechen einer sehr schwierigen[46] языке, на котором они с хозяином велели ей выражаться. На это миссис Файн не нашла сколько-нибудь справедливого возражения и, улыбнувшись, погладила расстроенную девицу по головке и, как заведено, благословила ее на ночь. Потом она подумала, что этого выражения христианской любви недостаточно, и поцеловала Айшу в обе бархатные щечки. При этом ее внимания не избежало то, как трогательно дрожат разобиженные пухленькие вишневые губки сирийской сиротки, и она вторично погладила ее по головке и перекрестила, пожелав доброй ночи и отпустив спать.

Доктор сидел в своей спальне, постановив выждать час времени после принятия средства, прежде чем переходить ко второй стадии эксперимента – попытке посетить супругу в ее ночном уединении. Но события стали разворачиваться несколько раньше и несколько иначе, чем он планировал. Не успели большие напольные часы в гостиной пробить десять, как в доме началось некое странное движение. Осторожно выглянув в приоткрытую дверь, доктор заметил крадущуюся в темноте фигуру жены и на цыпочках последовал за нею. Миссис Файн, делавшая диковинные патетические жесты руками и что-то невнятно пришепетывавшая, вошла в каморку прислуги и, взмахнув рукавами ночной рубашки, словно ангел смерти с картины Жана-Ораса Верне, нависла над сиротской кроваткой. Остальное чита-

---

[46] *Herr Arzt… Milch mit heißem Wasser… Gott weiß… Frau Arztin … zu sprechen einer sehr schwierigen* – Господин доктор… Молоко с горячей водой… Богу известно… госпоже докторше… говорить на этом трудном (*нем.*).

тель, наделенный толикой воображения, может представить себе сам. (А если доводилось ему читать статьи господина Карла-Генриха Ульрихса, борющегося за права прекрасного пола, и других ученых господ, исследующих такое явление, как Tribadismus[47], то он отнюдь не будет этим шокирован.)

Выскочившая на улицу прислуга бросилась бежать в сторону Латинской патриархии, а ослепленная страстью Доротея, уверенная в том, что вот-вот настигнет предмет своего влечения, припустила в противоположном направлении. Пользуясь своим положением, солидной репутацией и тем фактом, что не так давно совершенно вылечил начальника тюрьмы от гонореи и с тех пор пользовался его особым покровительством, доктор сумел убедить тюремную охрану, что супруга его – не более чем бедная жертва инфлюэнцы, болезни, чьи симптомы иногда выглядят несколько экстравагантно, и у тому же, чрезвычайно заразной, так что от страдающих ею следует держаться как можно дальше. Связав руки рыдающей жены простынею, в процессе чего получил весьма болезненный удар по носу, немедленно начавшему кровоточить, он благополучно доставил ее домой прежде, чем общественному порядку Святого града был нанесен дальнейший ущерб.

Доктор горько раскаивался, укоряя себя за то, что в глубине души, видимо, более всего хотел не какого-нибудь наслаждения для себя, но мести жене, поставленной в ненатуральное положение, что как раз ее позора, происходящего от незнакомого ей любовного горения, подспудно желал он, ни в малой степени не представляя себе, как поведет себя несчастная жертва эксперимента. И вот что вышло из всего этого... Пойди склей прежнюю рутину жизни, которая теперь уже стала представляться ему едва ли не идеальным устройством супружеских отношений. Даже того мизерного и пошловатого, что было раньше, даже этих сугубо односторонних гигиенических четверти часа в неделю было уж не вернуть.

---

[47] *Tribadismus* – Трибадизм (*нем.*).

Маленькие зловредные корешки, по форме напоминающие человечков-уродцев и испускающие во мраке ночи тревожный красноватый свет, похохатывали в своих подземных потемках, слегка сотрясая почву.

Интермедия

Из ряда вон выходящий сон доктора Джеймса Файна, привидевшийся ему под утро, после тяжелой бессонной ночи, проведенной у постели бредящей жены

Доктор, начавший было клевать носом, резко вздрагивает, заметив краешком глаза, как из-под кровати миссис Файн, озираясь по сторонам, выкарабкивается нечто, сперва принимаемое им за тарантула-переростка. Но нет, это вовсе не Lycosa, да и вообще, нечто, к отряду Araneae[48] отношения не имеющее. Мохнатых, корневидной формы конечностей у этого существа четыре, наподобие человека, и все оно испускает во мраке комнаты за закрытыми ставнями угрожающее красноватое свечение. Господи, помилуй! Следом за первым из-под кровати уже лезет второе, третье, четвертое! Изо всех углов ползут еще и еще – десятки и сотни уродцев! Mandragora officinarum! – с ужасом понимает Джеймс Файн. Ползучие существа, не прерываясь ни на секунду, монотонно распевают нестройным хором:

Happy are they who had not crawled in the counsel of the weakened not lingered on the way of spinsters nor sat in the seats of the unfruitful their delight is in the low of the corpus and they meditate on its low day and night they are like trees planted by streams of semen bearing fruit in due season with loves that do not wither everything they do shall prostate…[49]

---

[48] *Araneae* – пауки (*лат.*)

[49] *Happy are they who had not crawled in the counsel of the weakened not lingered on the way of spinsters nor sat in the seats of the unfruitful their delight is in the low of the corpus and they meditate on its low day and night they are like trees planted by streams of semen bearing fruit in due season with loves that do not wither everything they do shall prostate…* – Счастливы те кто не ползал в совете ослабленных не задержался на пути старых дев не сидел в собраньях неплодных их радость в низу тела и они

Медленно поднимается в своей постели Доротея Файн, урожденная Кук. Прежде всего, поднимается под одеялом нечто огромное, как раз в центре ее вытянутого на кровати тела, и несоизмеримое с его габаритами. Затем уж и весь Доротеус садится в постели и, направив на доктора устрашающего размера указку, смотрит на него жадными глазами и вопрошает:

– Куда ушел друг твой, прекраснейшая из женщин? Куда обратился возлюбленный твой?

Доктор чувствует себя совсем маленькой и беззащитной. Когда ползучие монстры обхватывают и оплетают его бессильное девичье тельце своими цепкими корявыми ручками и подносят похотливо постанывающей Доротее, словно перепелку в силке, он старается выкрикнуть какое-нибудь магическое заклинание, но горло его сжато, дыхание прерывисто, а на ум приходят только совсем бесполезные слова: hostilis calidi, glandis glutealis, untegumentum humenalis[50]…

– Нет уж, будьте любезны размножаться, милочка! Против природы ваша медицина совершенно бессильна! – грозно заявляет Доротеус, отправляя маленькую Джамилю в широко раскрытый красный рот.

Джамиля спускается все ниже и ниже по пищеводу, а затем по желудочно-кишечному тракту большой жены. В темноте страшной утробы она думает одну-единственную мысль: только бы не быть переваренной и не преобразиться в stercolum[51], для которого нет жизни – ни добра, ни зла, ни научного познания, ни крещения, ни приношения первинок в храм, ни солнечного света…

размышляют о его низу день и ночь они похожи на деревья посаженные у потоков спермы приносящие фрукты в положенное время с любовями которые не вянут все что они делают будет простато… (*англ.*)

[50] *Hostilis calidi, glandis glutealis, untegumentum humenalis* – горячая клизма, ягодичные выросты, кожный покров девственной плевы (*лат.*)

[51] *Stercolum* – испражнения (*лат.*)

Доктор Файн содрогается всем телом, едва не падая со стула, на котором сидит перед постелью недужной супруги.

«Боже, Боже, какое же я дерьмо!» – думает он в тоске.

V

Глава, по мере чтения которой иному читателю может прийти на ум известная поговорка «все хорошо, что хорошо кончается», хотя, в действительности, все еще только начинается

Мало что произошло в Иерусалиме за месяц, проведенный «американской экспедицией» в дотошных поисках человекообразных корешков-карликов, таившихся в недрах Святой Земли.

Вышесказанное, конечно, верно лишь в том случае, если измерять события, случившиеся в этом небольшом провинциальном городке, общим аршином, потребным для всяческих преходящих мелочей: свадеб, войн, коронаций, бунтов, рождений, эпидемий, налоговых реформ, пожаров, наводнений и всеобщих равных выборов. При такой мере, несомненно, в Париже, Лондоне или даже в какой-нибудь захудалой Лодзи за двадцать девять дней, истекших с момента торжественного выезда Годсонов через Дамасские ворота, приключилось более, чем у нас, даже если сложить воедино происшествия внутри городских стен и за их пределами. Однако, если взять за единицы измерения ладонь – ***тэфах*** , или локоть – ***амá***, по слову выдающегося нашего поэта, то есть, взглянуть на все в некой библейской перспективе, при которой скромные семейные события чреваты самыми судьбоносными и даже роковыми последствиями для всего человеческого рода, то дело, может быть, обстоит совсем иначе. Поди знай, к чему, например, способно привести такое малозначительное событие, как то, что некий Авраам родил некоего Ицхака...

Миссис Годсон, верно, предпочла бы в своей книге *истинно библейский* взгляд. Смиренный же автор этой рукописи, не претендующий на обладание таким взглядом свыше, но убежденный в том, что всякое простое движение спо-

собно сыграть свою роль в мировой драме, ограничится по возможности точным описанием того, что подвластно скромным возможностям его пера. А для пополнения знаний своего читателя добавит лишь, что рабби Моше бен Маймон определял локоть в 45,6 сантиметра, а другой выдающийся учитель, наш современник, Авраам Хаим Наэ установил, что ладонь составляет 9,6 сантиметра. Вот такой прозаизм, не лишенный, впрочем, некоторого сдвига практического сознания в сторону иерусалимского прожекта, именуемого «геометрическою точностью» и являющегося, прямо скажем, еще одним видом тихого рационального помешательства.

В «Олене» за это время были опубликованы два путевых очерка Гедальи Бухбиндера, присланные с нарочным из Наблуса и Тиберии, полные живых описаний палестинских пейзажей и своеобразных нравов тамошних жителей, арабов и евреев. Читатель, несомненно знакомый с сочинениями на эту тему Авраама Моше Лунца и еще целого ряда достойнейших описателей нашей природы, географии и этнографии, не станет укорять автора за то, что, стремясь как можно быстрее продвинуться вперед в своем повествовании, он не станет приводить здесь эти фельетоны. Вместе с ними, аккуратно запечатанными в пакеты, которые посыльный доставлял прямиком в квартиру господина Бен-Йегуды во «Дворе Лилии», Гедалья отправлял в Иерусалим точно такие же пакеты для Авигайли. Их, в отличие от иностранных писем и посылок, ожидавших народного сбора у врат австрийского почтового ведомства, гонец вручал ей на дому, в собственные руки.

20 числа месяца хешвана, часу в четвертом пополудни, когда госпожа Авигайль Бухбиндер только что доставила из общественного колодца домой ведро воды, в ее дверь стучится посыльный, сопровождая бравый свой стук резкими гортанными выкриками: «Букх-биндррр! Букх-биндррр!»

Этот достойнейший самаритянин, обладатель чудовищного размера и беспросветной черноты усов и бровей, получив, сверх положенного по закону вознаграждения, кружку свежей холодной воды, откланивается, пожелав госпо-

же доброго дня, долгих лет жизни и множества здоровых детей (дай Господь им всем создать собственные счастливые и многодетные семьи!) и продолжает свой путь в направлении Старого города, где ему еще предстояло посетить господина Альезира Бин Йахуди.

Знаком ли вам, умудренный житейским опытом читатель мой и милая просвещенная читательница, тот момент, когда долгое ожидание, переносимое с самым похвальным стоицизмом, вдруг делается нестерпимым? Происходит это, как правило, именно в тот миг, когда ожидаемое не просто маячит на горизонте, а уже находится от вас на расстоянии вытянутой руки. Все то, о чем бесконечными днями исходила в томлении и тоске душа ваша, вот-вот, наконец-то, должно свершиться. Именно тогда, когда всякому пристало возрадоваться и возвеселиться, ощутить облегчение и радостно вздохнуть, переводя надолго перехваченный несносным ожиданием дух, вы не выдерживаете...

Руки Авигайли, когда она вскрывает письмо Гедальи, трясутся, словно у немощной старухи, и слезы, редкие гости, не посещавшие ее годами, текут из глаз, когда она подносит к ним поближе первый из четырех листков. Если первые буквы, написанные родной рукой, так ей дороги, что она готова целовать каждую, не задумываясь о составленных из них словах, то постепенно, вглядываясь в ровные строчки сквозь мерцающий туман, с каждым новым словом она приходит во все большее недоумение:

Немало странствовал я по миру, с детских лет знал землю Польскую, побывал в земле Русской, повидал земли Немецкую, Итальянскую и Французскую, доплыл до острова Британия и испытал на себе туманы его, но еще не прошел вдоль и поперек по земле предначертания нашего; даже и малой части земли, к чьим каменьям и комьям прикипела душа моя, не сподобился я увидеть, живя в ней...

Она скользит взглядом чуть ниже:

У Йосефа бен Мататьягу упоминается скала с двумя источниками, подобная по форме женской груди, которую, однако, мне не удалось отыскать...

Перевернула листок и уткнулась глазами во фразу:

Миновал день и спустилась в долину тьма ночная. И заночевали мы под смоковницей. На ужин поданы нам были жареные яйца, мед и масло, и спокойно вкусили мы трапезу нашу, а после улеглись и проспали до утреннего света...

Заглянула в середину третьего и читает:

Нашим читателям, безусловно, будет любопытно узнать...

– Ах, вот оно что!!! Гедалька, друг любезный... Ты...Ты... Нужно завтра, непременно прямо с утра, идти к Бен-Йегуде!

Что же Бен-Йегуда?

Этот всем известный господин, не более чем часом позже просматривая доставленное ему послание «специального корреспондента», несколько раз взволнованно вскакивает из-за стола и принимается прохаживаться по комнате, до боли сжимая суставы пальцев и повторяя: «Какой стиль! Что за язык! Ай, да Бухбиндер!» Он даже вызвал госпожу Двору, чтобы прочитать ей весь текст от начала до конца, предварив чтение замечанием о том, что сейчас она услышит «сочинение такой поэтической высоты, которой наша новейшая словесность еще не достигала» и что он «даже завидует и жалеет о том, что сам не нашел подобных слов для выражения своих чувствований»:

Долгими, бесконечно долгими днями, которым нет числа и в каждом из которых насчитываю я куда как больше часов, чем учат нас самоуверенные астрономы, странствует дух мой, упакованный в мое же собственное тело, по странным краям и окраинам чужих жизней, посторонних историй. Бродят

дух и тело, словно двое горьких нищих, по ненужным дорогам, заглядывают в бесполезные дома, ищут ответа на глупые, бессмысленные вопросы о смысле и о цене смысла.

Какой уж тут смысл, какая цена, если дух мой и тело мое вдали от тебя, моя жизнь, моя история!

Если бы сподобились они внимания Того, к Кому можно обратиться с единственною просьбой, взмолились бы, стеная в один голос: Приведи нас, Владыка Мира, к той, без которой мы подобны бледным теням преисподней! Подай нам хоть одно прикосновение теплой руки ее, хоть один звук тихого голоса ее!

Не слышит тот, кто решает дела наши и чертит маршруты скитаний наших. Кто я и кто мои дух и тело, чтобы он услышал их! О, если бы ты, жизнь моя, заступилась за них, ты, которую слушает в высотах своих Владыка Мира…

Ищут дух мой и тело мое не то, что посланы были искать, ибо далеко-далеко от нынешних путей их осталось и тело духа моего, и душа тела. Единственное, о чем мечтают они, измученные одиночеством долгих и бесчисленных дней – вернуться туда, откуда изгнала их злая судьба, дух мой – в тело твое, тело мое – в душу твою, упасть к ногам твоим и просить, как всегда, умолять тебя одну. Повторять наяву то, что твердят они в непрерывных грезах своих:

– Я вернулся к тебе, душа моя! Позволь войти в тебя!

– Я вернулся к тебе, тело мое! Позволь войти в тебя!

И услышать, ловя с жадностью умирающих целительное дуновение голоса твоего:

– Ты вернулся ко мне! Войди в меня, дух мой!

– Ты вернулось ко мне! Войди в меня, тело мое!

Когда смущенная, но полная решимости вызволить ей одной предназначенный шедевр поэтической прозы, и раскрасневшаяся под воздействием соединения этого смущения с этой решимостью, вдобавок к пройденному пешком неблизкому пути, Авигайль добирается до «Двора Лилии», уже поздно. Ах, если бы Гедалья видел в этот момент свою возлюбленную! Как прекрасна она, пылающая пред черным

монстром сэра Мозэса Монтефиоре, который уже заканчивает изрыгать в свет вторую сотню оттисков. Такие ли слова нашел бы он при виде ее горящих щек и огромных глаз, излучающих какой-то почти нечеловеческий трепет, который на Востоке ленивые на новизну метафор поэты, один другого перепевая, вечно сравнивают со взором встревоженной газели или лани! Но Гедалье не суждено видеть ее в эти минуты. Счастливец, сколь многое остается для него еще не осуществленным, сколь многое ждет его впереди, в неопределенном, но непременно суженном ему будущем!

«Только юные дураки думают, что восторги любви предназначены для них. На самом деле, подлинная любовь приходит только годы спустя». Это, любезный читатель мой и милая читательница, слова самой Авигайли. Сколько бы ни было вам лет, задумайтесь над ними!

Всякая любовь имеет начало, но любовь, пережившая резкие движения влюбленности и давшая себе труд повременить, дожидается своего заветного часа и уже не знает конца.

Чуть более десяти лет назад молодой человек двадцати семи лет от роду, владевший несколькими живыми и мертвыми языками, прослушавший курс Императорского университета в Вене и изрядно поскитавшийся по Европе, впервые приехал в Иерусалим, намереваясь провести в Земле Израиля несколько месяцев, изучая различные стороны ее исторической и современной реальности. На второй день своего пребывания в Святом Граде, придя во двор, где уже тогда располагалась типография Исроэля Бака, печатавшего «Лилию» – единственную на тот момент газету на языке Эвера, молодой человек по имени Гедалья Бухбиндер встретил жившую там с родителями семнадцатилетнюю барышню. Барышня, которую звали Хана Киршенбаум, не стала, подобно истинно благонравным девам иерусалимским, отводить глаз под его потрясенным и будто прилипшим к ней взглядом. Более того, она улыбнулась застывшему, словно заснувшему на ходу с широко раскрытыми глазами, Гедалье, и с этой улыбки, в которой светилась какая-то мяг-

кая, совсем не обидная насмешливость, началась история о низком соблазнителе и непокорной, злонравной дщери.

Гедалья Бухбиндер остался в земле праотцев навсегда. Если его родители были очень и очень огорчены этим фактом, то родители барышни Ханы были взбешены. Ни о каком согласии на ее брак с «апикойресом» и быть не могло. «Хорошо, папа», – тихо сказала Хана. На следующий день распутник и блудница уехали в Яффу. В Яффе, сидя на берегу моря, Гедалья очень долго, очень внимательно смотрел на Хану и, в конце концов, сказал: «Да будет Авигайль!» И стала Авигайль.

Господи многотерпеливый, они даже спали вместе до брака!

Как мог он настолько ничего не уметь в свои двадцать семь поспешно прожитых лет! Как глупо торопился он в своей смехотворной страсти, в своей эгоистической жадности, только делая ей больно, а она еще улыбалась ему, называла любимым и шептала, как ей с ним хорошо! В то время как он обучал ее ивриту и английскому языку, она, чей чувственный опыт сводился к одному давнему, глупому, совсем еще детскому поцелую взасос с подружкой Двойреле, после которого обе долго смеялись и отплевывались, она, которой никто ничего, кроме благочестия и скромности, не преподавал и не мог преподать, обучала его науке любви. Это великое знание, выстроенное на опорах двух основных законов – неспешности и самозабвения – видимо, пребывало в ней изначально. Для него не требуются ни ешива, ни высшие женские курсы, но неисчислимые комментарии к законам углубленно и с пристрастием изучаются ежедневно, на протяжении всей жизни. Гедалья не из легких учеников, но Авигайль не торопится, и их совместное постижение любовной мудрости с годами делается все более глубоким. Теперь, через десять с лишним лет после первых попыток, они часто уже не различают в объятиях друг друга, кто из них Гедалья, а кто Авигайль, чье это тело, чей голос, чье дыханье.

Обвенчавшиеся в Яффе с помощью сефардского рабби, хахама Йосефа Бахара, они не получили родительского про-

щения и благословения Киршенбаумов. Родители Ханы отреклись от нее и, не в силах перенести позора в Еврейском квартале, уехали жить в святой город Цфат. Вскоре после этого Гедалья и Авигайль Бухбиндер вернулись в Иерусалим.

Каждый раз, оказавшись во Дворе Лилии, Авигайль невольно сжимается. Снова и снова, попадая в квартал своего детства, она вынуждена «брать себя в руки» и держать крепко-крепко, чтобы стремглав не убежать.

В типографии Бака Авигайли сообщается лично господином Бен-Йегудой, что редактор безусловно готов взять на себя всю ответственность за произошедшее недоразумение, переверстать газету и отпечатать ее снова на следующий день, принеся свои искренние извинения за досадную задержку читающей публике, ожидавшей «Оленя» в четверг, но получающей его в пятницу. Конечно, это означает серьезные денежные потери в ситуации и без того тяжелой, массу лишнего труда и неудобств для работников типографии, не говоря уже о публике, которую сколько бы ни называли великодушной, снисходительной, просвещенной и либерально настроенной, на том основании, что она дает себе труд читать прогрессивный «журнал», на самом деле остается такой же требовательной до самодурства и беспощадной, как рыночная толпа. Но, имея в виду деликатность ситуации и уважая приватность супружеских отношений (хотя дорогой Гедалья сам, надо сказать, виноват – как можно быть таким рассеянным!), редактор готов на это пойти, если милая Авигайль того требует. Впрочем, как жаль, однако! Какая жалость! Какая досада! Какая потеря для всей нашей юной словесности, для любимого языка, пробивающего себе путь в литературе и в устной речи, с такой дивной силой проявившего себя под пером нашего любимого «корреспондента»! Да, да, да: Гедалья Бухбиндер – их любимый и незаменимый автор. Если уж на то пошло, то редактор может заявить со всей ответственностью, что это его «лирическое послание» семикратно превосходит путевые очерки (сами по себе превосходные). И, если бы редактора спросили, что бы он предпочел опубликовать,

то он бы не задумался ни на минуту. В конце концов, наша читающая публика уже знакома с различными описаниями Страны Израиля, начиная с записок Авраама Моше Лунца (надо же: почти слово в слово с автором!), и имеет о предмете некоторое представление. А вот как раз публикация этого «лирического послания» очень поддержала бы престиж «Оленя», переживающего труднейшие времена. Да, да, да: труднейшие, сложнейшие времена! Были бы, конечно, возражения, даже, может быть, негодование некоторых противников просвещения, но в глазах либерально настроенных читателей издание приобрело бы новое достоинство. А задержка выпуска – да, она сильно ударит по положению редактора и его детища, и без того крайне нелегкому, прямо скажем, отчаянному положению. Милая Авигайль, возможно, и не представляет себе, что «Олень» находится на грани банкротства и закрытия. Стоит паре десятков из числа двухсот подписчиков отказаться от подписки – и «Олень» не выживет. И знает ли милая Авигайль, чего редактору будет особенно жаль? Того, что у дорогого Гедальи тогда не останется кафедры, с которой он мог бы обращаться к публике со своими превосходными сочинениями и переводами...

В результате, милая Авигайль, приняв как можно более равнодушный вид, соглашается на публикацию письма. Это неожиданное решение вызвано отнюдь не жалостью к господину Бен-Йегуде и к его изданию и не опасением предстать в его глазах консервативной домохозяйкой, влачащей за собой по жизни все средневековые предрассудки Старого Города. А уж мысль о трагическом отсутствии кафедры, соответствующей таланту Гедальи, и вовсе показалась ей смешной. И это внезапное изменение ее настроения, переход от близкой к ужасу тревоги к шутливому легкомыслию и решает исход дела. Она соглашается на публикацию письма исключительно ради того, чтобы подразнить любимого мужа, никак не ожидающего того взрыва, к которому, безусловно, приведет его рассеянность. И когда он, наконец, вернется и, после первых долгих объятий, поцелуев и жалоб на то, как он страдал без нее, как мучился,

будет сидеть за столом и с недоверием к собственному счастью оглядывать свой дом, эти знакомые стены и привычные вещи, успевшие стать для него непривычными, тогда, вместе со стаканом чаю, она подаст ему последний выпуск «Оленя». Он попробует отложить газету в сторону, говоря, что сейчас ему не до газет, не до чтения, не до новостей, что он хочет видеть, слышать, осязать, обонять ее одну, что и чаю ему вовсе не хочется, а хочется только одного... Но она настойчиво потребует, чтобы он сейчас же, если любит ее, прочел фельетон на второй странице. Неохотно развернет он газету. Глаза его полезут на лоб при виде собственных безумных строк, набранных умелой рукою реб Боруха.

– Полезут на лоб, – с удовлетворением повторяет она про себя, сидя в одиночестве за столом и рассеянно помешивая ложечкой сахар в чае. – Полезут на лоб или выпучатся так, что он станет похож на своего деревянного Кашпарека и так же точно, как эта кукла, потешно всплеснет ручками...

Тем временем уже начинает смеркаться и, когда раздается стук в дверь, Авигайль вздрагивает. Кого бы ей ждать в такое время? Может быть, Двойра, которой потребовалась щепотка соли в долг, решила заглянуть к ней, чтобы извиниться за то, что в очередной раз назвала ее «гойкою»?

За дверью, у порога – Гедалья. Какой-то взъерошенный, словно лез на дерево. Стоит без своего саквояжа, но с зонтиком. Она шагает ему навстречу и, вместо того, чтобы он зашел в дом, они долго стоят на дворе, как во сне, тесно прижавшись друг к другу, не говоря ни слова.

А весь квартал Бейс Яаков уже суетится, жители бегают, гомонят. Появляется реб Довид без очков, сослепу придерживающийся за стенку, как пьяный. Колченогий Реувен Вильденштейн перекатывается по двору и размахивает руками. Двойра вынесла на двор керосиновую лампу, и та дрожит в ее руке, отчего весь двор словно раскачивается в колышущемся круге искусственного света. Тут же присутствуют о чем-то спорящие между собою миссис и мистер Годсон, она держится героически, он хромает. Друз Касем,

с перевязанной дамской шалью рукой, громко скрежещет зубами.

Немедленно доставить их в дом британского консула! Немедленно послать за доктором! Немедленно вызвать конный патруль! Что значит: уже поздно? Никогда не поздно! Пусть пришлют армейское подкрепление из Дамаска! Немедленно!

Какое-то время Авигайль не воспринимает ничего, кроме близости Гедальи и удивительной фотографической картины, которая рисуется перед нею в разрывающем вечерний мрак боковом свете. Постепенно переполох утихает, персонажи, только что принимавшие вычурные драматические позы, один за другим покидают сцену, а когда Двойра, гоня перед собою мужа, уходит со своею лампой, все гаснет в сгустившейся тьме.

Они, наконец, идут домой. Гедалья сидит за столом – кажется, живой и невредимый, но такой усталый и измученный, что едва способен прихлебывать чай с лавандой. Все почти так, как она себе представляла и, при этом, совсем не так. Даже рассказывать все в подробностях у него нет сил.

– На нас напали среди дня, – только и говорит он, – на дороге возле Баб Эль-Вад. Оставили мне зонтик, чтоб не умер от солнечного удара, гуманисты...

Неожиданно для самого себя он начинает смеяться. Это не истерика, нет – настоящий веселый смех.

– Но ведь и я джентльмен, душа моя! Почел своим долгом предоставить зонтик в распоряжение дамы.

– И все равно ты не умер от солнечного удара!

– И все равно не умер...

Как немного, в сущности, нужно для счастья, дорогой читатель!

Вот и миссис Годсон, пережившая немалое потрясение в самом конце своей уникальной экспедиции по Святой Земле, вполне довольна всем произошедшим. В этом отношении она совершенно не согласна с мистером Годсоном, который считает, что эта поездка и без столь чудовищного окончания не принесла никаких плодов и только ввела его

в напрасные расходы. Жаль ей лишь волшебного рубина, при виде которого предводитель разбойников словно забыл обо всем на свете и вцепился в него, как одержимый. Да и не трудно его понять – второго такого рубина свет не видел. Но не может же она, в конце концов, обладать всеми материальными сокровищами на свете. Эти фантазии пусть лелеет ее супруг. Ей же важнее всего то, что она видела этот дивный камень, держала его в руках, а прочее – от лукавого. Да и нападение на дороге – это просто подарок судьбы, подобным которому отнюдь не всякий писатель может похвастаться.

Тут автор считает необходимым прервать поток мыслей своей героини и коллеги, чтобы безропотно сознаться читателям, что, действительно, и ему не довелось до сих пор пережить нападение вооруженных грабителей. Однажды на Яффской дороге его, правда, пытались толкнуть под проезжавший экипаж, но нападавший на него исмаильтянин был один-одинешенек, вооружен всего лишь кинжалом и, видимо, не в своем уме. Так что и вспоминать об этом было вовсе не обязательно. А кроме того случая ему и вовсе нечего припомнить, разве что безобидных карманников на рынке. С сознанием правоты и полного превосходства над собою Офелии Грэйс Патриши Годсон в этой отрасли писательского опыта он смиренно склоняет перед нею главу и возвращает наполовину исписанный лист бумаги в распоряжение ее внутреннего монолога.

Какой материал для подлинного, почерпнутого из самой гущи знойной восточной действительности, изображения ее первобытных нравов! Колоритные бандиты выросли словно из-под земли, как будто племя разбойных корешков, полулюдей-полурастений, таинственных демонов, прятавшихся прямо под ногами ни о чем не подозревавших путешественников. А предводителя она запомнит в мельчайших деталях на всю жизнь. Нужно только постараться подобрать для его описания подходящие, точные слова...

Несмотря на перенесенное потрясение и огромное напряжение многочасового пешего возвращения в Иерусалим, весь следующий день она посвящает записи в тетрадь пере-

житого ею *библейского* происшествия. За эту тетрадь, за все пять тетрадей путевых записей и черновиков, которые «благородный разбойник» возвратил ей, пролистав с видом глубокой заинтересованности, омраченной полным непониманием написанного, она благодарна ему более всего. И эта благодарность сказывается в том, какие возвышенные слова она выбирает для его описания:

Лицо сего сына пустыни по самые глаза, смотрящие на мир с яростной интенсивностью грифа и звериной пристальностью барса, закрыто черным платком. Но, закрытое черным платком, оно остается необычайно притягательным – в нем угадывается благородство, неистовство, чеканная торжественность резких черт. Скинь он с лица своего сей черный платок (вот ведь привязалась она к этому черному платку!) *– и пред нами, несомненно, предстанут прямой точеный нос, волевой подбородок, высокие скулы и крупный благородный рот с хищными белыми зубами. Рост его невелик – этот сорвиголова ниже мистера Годсона на полголовы, то есть, в высоту достигает не более пяти футов шести дюймов. Но сколько же плотоядной грации в его движениях, сколько гордости в надменной осанке!*

Он постоянно безмолвствует, вернее, не произносит никаких членораздельных слов и словосочетаний, но сообщается со своими преданными подчиненными посредством выразительных жестов и редких односложных звуков. Видимо, он нем от рождения или, в наказание за неведомое нам преступление, лишился языка под ножом турецкого палача.

Проявление великодушия этому благородному разбойнику под покровом черного платка (опять платок!) *отнюдь не чуждо. Каждому из нас он оставил по одному предмету, который счел наиболее необходимым и дорогим. Мне он щедро вернул мои черновики, друзу – его шитый бисером кошелек, опорожненный от имевшихся в нем монет, мистеру Годсону – образец базальтовой горной породы из Тиберии. Непременно вернул бы он что-нибудь и нашему скромному вознице Хасану, когда бы тот обладал чем-нибудь памятным. Мистеру Букбиндеру*

он оставил зонтик. Милый мистер Букбиндер не только предоставил зонтик в мое распоряжение, но даже некоторое время сам нес его над моею головой, а потом передал мистеру Годсону, вскоре вынужденному отдать его мне, не в силах справиться одновременно и с ним и со своим тивериадским базальтом (несмотря на всю абсурдность такой ноши, он ни за что не был готов бросить этот камень на дороге)...

Сам мистер Годсон, сохранивший образец базальта, но лишившийся двух живых корешков Mandragora officinarum, полученных в дар от церковного старосты в Назарете (единственных за всю экспедицию), теперь понимает всю необдуманность затеянной антрепризы. Мандрагоры, таящиеся под землею, упрятаны так же надежно, как деньги в солидном банке. Искать их нужно тогда, когда на свет Божий пробьется зелень, когда расцветут фиолетовые цветочки, а еще лучше – когда начнут созревать золотые плоды. Вот тогда-то, с приходом весны, он и вернется за своими (своими!) корешками и выкопает их все, сколько бы они ни пищали и ни кричали. Теперь же нужно торопиться. Ближайший пароход, «Агамемнон», отправляется из Яффы в Ливерпуль через два дня, и они должны успеть пересесть в Ливерпуле на «Океаник», следующий до Нью-Йорка. (Сойерову переносную чудо-печь, действующую по принципу керосиновой лампы, по ходатайству супруги, он оставляет семейству Бухбиндеров – ему ничуть ее не жалко.)

В Яффу они едут в сопровождении военного патруля – пяти конных усачей. Ничего подозрительного, кроме объеденного падальщиками верблюжьего скелета, валяющегося прямо посреди дороги, они не встречают.

Жители деревни Лифта, известные своим злонравием, получают суровое предупреждение, но они, видимо, тут ни при чем: совсем на них не похоже – слишком далеко от их деревни, да и описание подобного главаря власти получают впервые. Специально высланный пашою отряд лениво осматривает прилегающие к месту нападения горы и, никого не обнаружив, возвращается в город с чувством исполнен-

ного долга. Что ж, экспедиция Годсонов – не первая и не последняя из тех, что подверглись у нас разбойничьему нападению. Миссис Годсон права: жизнь на Востоке полна захватывающих приключений и библейской романтики. Не один век и не одно тысячелетие пройдут, прежде чем здесь что-нибудь изменится...

В тот самый день, когда, простившись со всеми, Годсоны покидают Иерусалим, обещая непременно вернуться, в обратном направлении по Яффской дороге ползет в гору запряженная парой лошадей коляска, везущая из колонии Петах-Тиква в Святой Град господина Арье Лейба Гойзмана и его молодую жену Рашель. Лучшая на Ближнем и Среднем Востоке карета, нанятая Годсонами, и заурядная колымага колонистов, приближаясь одна к другой, замедляют ход, чтобы не столкнуться на узкой жизненной стезе. Вид турецкого военного конвоя приводит госпожу Рашель Гойзман в восторг, смешанный с любопытством:

– Кто это, Люля? Неужели сам паша?

Она игриво машет проезжающим рукою, стараясь разглядеть скрывшихся за занавешенными окнами пассажиров кареты.

– Какая посадка у этого турка! – восхищена Рашель.

В программу ее обучения в Париже было включено несколько уроков верховой езды для начинающих. Вообразите только: верховой езды! И теперь она всякого всадника оценивает, как истинный знаток этого благородного искусства.

Арье Лейб, муж статный, представительный и усатый, которого, наряди его в соответствующий костюм, и самого можно было бы принять за пашу или хотя бы за бея (что вовсе не соответствует детскому прозвищу «Люля», которым наделила его юная Рухл), смеется громко и с некоторой бравадой. Ему нравится открывающаяся перед ним жизнь, и он не стесняется признаться в том ни себе самому, ни любому из тех, кто готов будет его выслушать. Прежде всего – любимое дело, успешно развивающееся, благодаря его трудолюбию и вере в правильность избранного пути. Затем – молодая, красивая, образованная жена, которая, хоть и

вообще остра и смешлива, а в особенности обожает подразнить его страусами, но ведь любит, любит, всякому видно, что любит его! И вот теперь – торжественный въезд в Иерусалим, град святости нашей. А в близкой перспективе еще и поездка в Европу, и тогда уже у Рашели не будет повода задирать перед ним нос, мол, я была в Европе, пока ты бегал наперегонки со своими страусами. А Рашель, между прочим, может сколько угодно дразниться, но он-то знает, что она просто души не чает в подаренном к свадьбе веере из снежно-белых и палевых страусовых перьев.

Ах, что это была за свадьба! Как они плясали эту самую, как ее называют... польку! Рашель – мастерица танцевать. Его переводчик, Гедалья Бухбиндер (ему очень нравится словосочетание «мой переводчик», словно речь идет о том, что переводят его собственную книгу, а вовсе не сочинение Александра Пола «Практический красильщик страусовых перьев»), так вот, этот его переводчик, Гедалья Бухбиндер, превосходнейший, добрейший человек, порекомендовал ему сефардского рабби в Яффе. Этот сефардский рабби когда-то венчал самого переводчика с его невестой. И вот, этот замечательный рабби, хахам Йосеф Бахар, согласился устроить для них все кошерно, по закону, но так, что и невеста с женихом, и гости были довольны и не скучали...

Впрочем, любознательный читатель наш имеет возможность сам прочесть об этой свадьбе в статье из «Лилии», если Авигайль согласится продемонстрировать нам вырезку из своей замечательной коллекции. Да разве она откажет добрым знакомым! Вот она перед вами, эта вырезка:

К праздникам народов мира ныне прибавился еще один, в память о победе так называемых «прогрессивных» евреев над чтущими заветы отцов и уважающими добрые традиции народа нашего. Отец некой невесты явился к рабби в своей колонии Петах-Тиква просить его о хупе, на что рабби потребовал клятвенного обещания, что не будет на той свадьбе совместных танцев. Тот же смутился сердцем, говоря: «Отдам ли я удел свой в жизни вечной, ручаясь за сорванцов сих?»

Рабби же сказал, что не преступит установленного для себя правила, дабы не потворствовать греху. Но «прогрессивные» не убоялись, говоря: «Вот он, день, на коий уповали мы! Свергнем же ярмо сие с плеч своих!» И нашли человека по сердцу себе – сефарда из Яффы, «образованного» и «либерального», и сделался он им священником, и совершил для них венчание и хупу в Доме Танца в Яффе, там, где молодые люди изучают не Мишну и Гемарру, а шажки и пируэты. И радости их не было границ, и порешили устроить из победы своей великое всенародное событие, и бросили по городу клич, говоря: «На свадьбе сей будет гуляние великое, и всякий юноша, и всякая девица приглашаются от всей души!» И был праздник в ночи! Тридцать две пары пустились в пляс, словно колесо под бурею, а руководил ими громовержец известный, учитель их, будто жених, увенчанный великим множеством невест, будто петух, гордо прохаживающийся среди жен своих. И вот, слышали мы, что директоры школ в Яффе, прослышав о сем учителе танцев, решили учредить «уроки танцевания» в школах для мальчиков и девочек, и обратились к мужу сему с ходатайствами, и ради оплаты услуг его наложили сбор денежный на отцов тех мальчиков и девочек, полагая, что никто из них не пожалеет малой толики ради таких «наслаждений дольнего райского сада». Слух сей, впрочем, не абсолютно достоверен, посему я не беру на себя ответственности за него. И все же не могу сдержать горького вопроса: До чего мы дожили? К чему пришли?!

Кстати сказать, если уж на то пошло, сам Арье Лейб, хоть он и не писатель, но давно еще, года четыре назад, тоже написал одну статью в ту же самую газету. И ее, между прочим, напечатали, подправив стиль совсем немножко в пяти-шести местах. И, видимо, эта статья оказалась не из худших, потому что и ее Авигайль Бухбиндер аккуратно вырезала из газеты и поместила в свой бювар:

Видел я в газете «А-магид», нумер 50, что некто из страны Молдавии спрашивает совета у жителей Святой Земли и

просит, чтобы сообщили в газету образ имеющихся там птиц, дабы иметь возможность различать между чистым и нечистым, ибо мнения законодателей из земли молдавской разделились касательно птиц, коих вскорости должны туда привезти. Посему спешу уведомить, что крупные птицы, разводимые в Святой Земле, именуются «Петухи Кибрицер». Видимо, впервые попали они сюда с острова Кипр, по-турецки «Кибриц». Образ их подобен простым петухам, лишь крупнее оных и голос их несколько грубее, а во всех прочих отношениях они равны всем обычным петухам. Хвосты у них также есть, однако после выхода их из яиц до двухмесячного возраста не имеют они пера и ходят голые и не стыдятся, но после постепенно покрываются пером, покуда не покроются полностью. Ныне же, когда оные окажутся в Молдавии, ешьте их досыта, ибо в Святой Земле ими питаются те, у кого есть деньги, ибо дороги они.

Слово Арье Лейба Гойзмана.

А кто может заранее определить, кому быть писателем, а кому нет, и уж тем более понять, в чем тут дело? Чем, например, иерусалимский прожектер, пытающийся придать всяческим фантазиям вид серьезного предприятия, отличается от романиста, измышляющего жизни для им же самим выдуманных персонажей?

Авигайль по этому поводу однажды заметила, что ответ на этот вопрос, видимо, очень прост, но, в то же время, совершенно неожидан. Может быть, нужно провести какое-то статистическое исследование, как ныне становится модным в Европе, поставив вопрос примерно таким образом: «На сколько сумасшедших, считающих себя нормальными людьми, рождается один, решающий писать об этой ненормальной жизни книги». И второй вопрос: «Какой шанс есть у него достигнуть чего-то в этой жизни, если даже тех, кто читает обычные романы про любовь или королей, не так уж много?» Вдруг результаты такого исследования обнаружат что-то такое, что перевернет все наши представления и совершит какой-то прорыв, не менее значительный,

чем открытие Америки или законов земного тяготения.

Можно поставить вопрос иначе: «Что, по абсолютной, не подверженной влиянию привычных и предвзятых, пусть и сколь угодно ученых мнений, шкале, является бóльшим сумасбродством – разведение страусов на перья в возрождающейся из пепла и руин Земле Израиля или сочинение романа, в коем некий страусовод занимает не самое последнее место среди героев?»

А сами страусы, задумываются ли они на эти темы? Задумываются ли они о чем-либо вообще? Чувствуют ли свою причастность к некоему двойному возвышенному сумасбродству, свою неожиданную связь одновременно и с прожектом, и с описанием прожекта? Не сочиняет ли один из этих монстров, самый ненормальный из этих безумных нелетающих птиц и, к тому же, самый никчемный, от которого и перьев-то приличных ждать не приходится, не сочиняет ли он втайне какую-то мысленную или инстинктивную страусиную песнь, нарушающую все традиции творческого сознания Struthio camelus, нелепого вырожденного вида, само имя которого в переводе с греческого означает «воробей верблюд»?

Этого нам знать не дано. И Арье Лейб Гойзман, отечески заботящийся о своем пернатом скоте, вовсе не задается такими странными метафизическими вопросами. Он спокоен: пока он с молодой женою гостит в Иерусалиме у своего двоюродного дядюшки Довида Фридляндера, страусы остаются под пристальным присмотром и надежной опекой его швагера Довчика.

А у него самого в Иерусалиме множество новых впечатлений. Господи, как выросли новые кварталы за ту пару лет, что он тут не бывал! А в стенах Старого города жизнь кипит так, словно вот-вот уж перекипит через край, и выгорят медные котлы очищения и искупления, о которых Господь говорил пророку Йехезкелю. В понедельник он присоединяется к реб Довиду и Гедалье Бухбиндеру, отправляющимся, как заведено, в австрийское почтовое отделение.

Реб Довид все еще ожидает заказов из Европы и Америки. Гедалья тоже надеется, что за время путешествия ему

что-нибудь прислали. Может быть, это философская брошюра из Одессы под многозначительным заголовком «Доколе, братья?!», может быть, письмо старого университетского приятеля из Вены, начинающееся словами: «У нас тут, вообрази, ничего не меняется годами – император все тот же, профессора – все те же, переползли в новое здание на Рингштрассе, даже не заметив перемены места, пиво все то же и даже барышни за пятнадцать лет ничуть не изменились...». Арье Лейб идет просто так, за компанию, как говорится, мир посмотреть и себя показать. Всю дорогу он рассуждает о том, что и Петах-Тиква через какое-то время станет городом не хуже Иерусалима, только более современным, более прогрессивным, более еврейским... Или, взять, к примеру, Париж, которым Рашель гордится так, словно он ее собственность, этакое родовое поместье. А ведь и в Париже, верно, есть свои темные стороны. Он-то хотел бы посмотреть на Париж и на другие европейские столицы, главным образом для расширения кругозора, да еще для того, чтобы знать, как отвечать некоторым задавакам, полагающим, что все самое прекрасное находится где-то там... Вот он, например, дважды побывал в Каире и однажды в Александрии Египетской по своим птицеводческим делам. И что? А ничего: Каир, Александрия – народу много, а толку мало! Париж...

Как раз в это время молодая жена его, Рашель, на которую обиняком направлены приводимые выше рассуждения, как раз рассказывает Авигайли Бухбиндер про этот самый Париж. Они сидят за столом в доме Бухбиндеров, и Рашель не закрывает рта, чему хозяйка только рада – нет надобности напряженно думать о том, чем бы занять гостью.

– А в августе все, кто может себе это позволить, уезжают из города! Представляешь, все уезжают! Все-все уезжают! Покидают город и уезжают за город, за границу, на море – кто куда, лишь бы уехать из города! И Париж – пустой! Совершенно пустой! Представляешь, абсолютно пустой Париж! Все уезжают в августе из Парижа, и город стоит совсем пустой! Совсем-совсем пустой! Представляешь?

«Что за тараторка эта Рашель! – видимо, думает читатель, еще не достаточно свыкшийся с оживленной манерой сей прелестной молодой особы. – И почему, собственно, она Рашель? Провела в Париже годик-другой – и вот она уже Рашель, а не обычная Рухл, Рохл или Рихл, как сотни и тысячи прочих!»

Впрочем, автор, кажется, проявил варварскую несправедливость по отношению к своему читателю, приписав ему подобные мысли. Автор искренне просит прощения и обещает впредь никогда не подозревать своего читателя, тем более, читательницу, в провинциальной узости мировоззрения. Почему бы и не Рашель, в конце концов? Отчего бы, скажите на милость, юной госпоже Гойзман не носить громкое имя, прославленное на сцене Théâtre-Français талантливейшей дочерью народа нашего, мадемуазель Элисабет Рашель Феликс? Что если настоятельная потребность ее в этом имени является следствием не суетности, которой до сих пор мы не видим никаких верных свидетельств, но живости фантазии и решимости достичь новой, лучшей жизни, такой жизни, в которой не будет больше ни Рохл, ни Рухл, ни Рихл, ни прочих жалких примет двухтысячелетнего мытарства? И, если старший брат юной Рашели готов называться Довчиком, то Рашель уже никогда никому не позволит называть себя Рохеле, Рухеле или Рихеле! Не для того вся их семья покинула Старый Город, отказалась от подачек из диаспоры и отправилась осваивать иссохшую за века запустения землю предков, чтобы волочить за собою всякую рухлядь тяжелого прошлого. И кто их, основателей колонии Петах-Тиква, кстати сказать, напутствовал и направлял в путь, как не господин Фрумкин и его «Лилия», которая теперь вянет при виде всего нового! Пора уже понять, что женщина в нашей стране заслуживает большего, чем бритая голова, дюжина детей и жаргонное местечковое имя. (Слова о дюжине детей ни в коем случае не должны вызвать у читателя впечатления, будто автор является противником деторождения и благородных усилий реб Довида Фридляндера.)

Женщина и в колониях наших, и в Яффе, и в Святом Граде Иерусалиме все еще не определила своего истинного положения, не решила, кем же ей желательно быть: Рухл из Еврейского квартала, Рахелью из Библии или Рашелью из Théâtre-Français. И тема эта не дает многим покоя – мужчинам не менее, чем дамам и барышням. «Лилия» устами своего автора, господина Тарновского, вопит о том, что «Олень» пишет о «прекрасном поле», ибо сие раздражает нервы. Похоже, они судят по собственному опыту, и кто знает, к чему все это может привести. Видимо, господину Бен-Йегуде придется создать для подобных вещей совершенно особый раздел, дабы всякий боязливый и слабый сердцем, увидев название оного, оставался бы снаружи и не подвергал себя опасности согрешить, зайдя, не дай Бог, на «женскую половину».

И снова автор увлекся и на сей раз не заметил, что, забыв поставить кавычки, начинает цитировать газетный фельетон из коллекции Авигайли, тот самый, который она как раз в этот момент показывает своей новой подруге Рашели:

Ежели заговорит с нами кто-либо об англичанке, француженке, русской или итальянке, достаточно упомянуть, что она англичанка, француженка и т.д. – и у нас уже будет представление, о ком идет речь. Но еврейская женщина в Земле Израиля – полнейшая загадка. Слова «еврейка из Эрец Исраэль» не дают нам никакого представления ни о ея внешности, ни о ея костюме, ни о ея воспитании, ни о ея развитии, ни о ея языке, ни о ея душевных качествах. Какой образ вызывает сие словосочетание пред нашими глазами? Может ли быть, что создание сие – ни большое, ни маленькое, ни толстое, ни тонкое, ни сильное, ни слабое, ни доброе, ни злое, ни умное, ни глупое, ни смелое, ни трусливое, ни легкомысленное, ни серьезное, ни прилежное, ни ленивое? Возможно ли существование в природе столь абсолютного отрицания? Быть может, лишь один образ встанет пред нашим взором: бритоголовая женщина из Венгерского Двора, о подобных которой так мно-

го говорят в последнее время. Но это уж никак не еврейка Земли Израиля! Так кто же она тогда? Может быть, какая-нибудь из евреек Земли Израиля согласится дать нам ответ?

Подождем еще немного, дорогой читатель. Вовсе не исключено, что как раз одна из наших героинь в какой-то момент действительно сумеет дать нам ответ на этот остро поставленный вопрос.

Тем временем служащий австрийской почты, герр Штрайхенбергер, выкликает из очереди имя Довида Фридляндера. В голосе его заметно некоторое смущение, с натугой прикрываемое торжественной интонацией:

– Вам нынче обширная почта, герр Фридляндер – сразу несколько писем, денежные переводы. Распишитесь вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь... Ах, да – и еще вот здесь!

Руки реб Довида полны конвертов и бандеролей, как община Израиля – добродетелей и богоугодных поступков. Все, что было прислано на его имя еще до осенних праздников, наконец-то достигает адресата.

– «Реклама», реб Довид? – подмигивает ему Гедалья, на имя которого сегодня ничего не поступило.

– «Реклама», «реклама»! – радостно-растерянно повторяет тот, обеими руками прижимая к груди полученную корреспонденцию.

Они собираются уже уходить, но герр Штрайхенбергер обращает внимание на Гедалью и просит его подойти к стойке:

– Герр Бухбиндер, это вы? Не сочтите за труд: тут письмо, отправленное неким Альтшулером и вернувшееся к нам из российского консульства в Яффе...

На конверте приписки по-русски и по-немецки: «Адрес недействителен. Вернуть отправителю».

Что за адрес? Гедалья читает вслух, и правая бровь его с каждым словом ползет все выше: «Российская империя. Неведомская губерния, Небывалов уезд. Село Некудакино, хутор Поди-знай. Старосте Неслыхину в собственные руки».

Герр Штрайхенбергер просит его вернуть письмо отправителю, проживающему в квартале Нахалат Шива. Простые письма, без вложения денег и документов, часто передают через третье лицо, если адресат сам не является на почту и если третье лицо – человек известный, уважаемый и внушающий доверие. А герра Бухбиндера почтовый служащий весьма уважает, ведь тот посещал лекции в Императорском университете в Вене – такое импозантное здание с великолепным фасадом! Однажды, года два назад, Петеру Штрайхенбергеру даже снилось, что он сам обучается на юридическом факультете, причем въезжает на лекцию профессора Хоффмайстера прямо в почтовой карете.

Герр Бухбиндер изумленно смотрит на Штрайхенбергера. Впрочем, что ж – еврейских газет австрийский почтовый служащий не читает, а если и донеслись до него какие-то слухи о загадочном самоубийстве, вызванном семью неведомыми причинами, то кто он ему, этот несчастный молодой человек, чтобы Штрайхенбергер запомнил его имя...

Гедалья держит в руке письмо самоубийцы и его переполняет ощущение, что он в нескольких шагах от раскрытия тайны. «Почему в нескольких шагах?» – непременно спросит логически мыслящий читатель. – Разве не правильнее было бы сказать “в шаге”? Ведь письмо покойного в его руках, и естественно было бы думать, что стоит его вскрыть и прочесть, как оно тут же разрешит все вопросы». Читатель, по своему обыкновению, совершенно прав. Именно так следовало бы чувствовать и рассуждать нашему герою. Только он отчего-то чувствует иначе, и в голове его звучит именно такая фраза, словно произнесенная кем-то у него над ухом: «Ты в нескольких шагах от раскрытия тайны». А потому и автор, имеющий свои обязательства перед персонажами, именно так и записывает: «в нескольких шагах», какой бы странной ему самому ни представлялась эта формулировка.

Гедалья с реб Довидом решают немедленно отправиться в квартал Нахалат Шива, где во втором этаже углового дома, в комнате, поделенной надвое большим дубовым шка-

фом и старой шелковой ширмой, продолжает влачить свои дни старик Мотл Альтшулер, турецкий подданный. Арье Лейб, конечно же, увязывается за ними.

Дверь посетителям открывает присматривающая за стариком соседка, толстуха Ривка Гиндис. Старик сидит в комнате с плотно закрытыми ставнями, вжавшись в узкое кресло-качалку.

– Бабах! Он выстрелил, бабах! – трагически произносит он, едва ответив на приветствия. – Парень выстрелил из своего пистолета прямо в меня, своего отца! Бабах! Я чуть не умер. Если бы я не лишился чувств от этого выстрела, то он наверняка бы убил меня, своего отца...

– Вы были ранены, реб Мотл? – осторожно спрашивает Гедалья, видя, что разговор на волнующую его тему отнюдь не требует специальной подготовки старика и каких-то обиняков и предварительных кружений вокруг да около.

– Не был он ранен, вот как я стою перед вами! – вмешивается в разговор Ривка. – Все пять пуль попали в разные места, а в него ни одна не попала, словно мальчишка нарочно палил во все стороны, чтобы было много шума-треска, но никакой крови. Вот, посмотрите: две дырки тут, в стене, две – в шкафу и одна с краю стола. Полиция обшарила всю комнату и собрала все пули.

Услышав, что гости явились с письмом Шауля, вернувшимся из российского консульства, реб Мотл, приподнявшись в кресле и снова рухнув в него, тянет к ним трясущуюся руку, но, передумав, просит срывающимся голосом:

– Нет, я не в силах, не в силах! Глаза мои этого не вынесут... Лучше вы читайте, господа, сделайте доброе дело!

Гедалья вскрывает конверт и читает вслух, время от времени замедляя чтение в тех местах, где торопливая рука Шауля слишком слепляет между собою небрежно выведенные буквы:

Дорогой папаша,

господа (не знаю, кто вы, но не сомневаюсь, что вы люди порядочные и достойные евреи),

В качестве запоздалого прощания и каких ни на есть разъяснений, оставляю вам это письмо. Когда вы его прочтете, меня с вами уже не будет. Думаю, что вам это только кстати. Я всех вас раздражал, пока был с вами, да и сейчас навряд ли очень порадую.

С тех пор как я вырос, меня не покидает одна мысль, коей я чувствую потребность с вами поделиться. Вот что я постоянно думаю: разве я вырос для того, чтобы слушаться, чтобы поступать так, как нужно, ради того, чтобы взрослые согласно закивали головами: какой, мол, умный, рассудительный и благонравный отрок! Стоило ли для этого стараться расти?

Учители мои крайне редко бывали довольны мною... Веди я себя правильно, делай верные ходы и поступай всегда, следуя разумной и кем-то другим давным-давно хорошо обдуманной схеме... Ну, не всегда, положим, а разве только в самых важных случаях, в самых насущных вопросах. И все ж... Скажите, неужели ради этого следовало мне расти?

Мой первый меламед видел весь мир как шахматную партию, разыгрываемую средненьким грамотным игроком против учебника для начинающих шахматистов. Ежели вся жизнь твоя – шахматная игра, а ты при сем делаешь неправильные ходы, то не можешь претендовать не только на выигрыш у книжки для начинающих игроков, но даже на достойную, пусть и заведомо проигранную партию. А ведь делать правильные ходы довольно просто... Ей богу, не велика наука! Двинешь своего ферзя вон туда, и подсчитываешь возможные варианты дальнейшего развития событий.

Знаете, папаша, почему я никогда не любил шахмат? Я чувствовал, что, удели я им чуть поболе внимания, они непременно сведут меня с ума, и я стану в лечебнице для душевнобольных обдумывать и взвешивать всяческие мыслимые комбинации и различные их последствия.

В жизни все еще проще, господа. Я имею в виду правильные ходы, ведущие к относительному успеху. Всему этому можно научиться без особого напряжения головы. Посмотреть на людей, успешно следующих сей науке – так нет ничего проще.

Эти умные люди не сверх меры умны, но они играют по правилам и вправе рассчитывать хотя бы на долгую достойную партию и возможность продержаться до какого-то там по счету хода.

Еще в детстве я был уверен, что совершать правильные ходы лучше всех прочих способен туповатый Велвл, в своем учении навсегда застрявший на первом комментарии РАШИ к первому стиху книги Брэйшис. И я не ошибался, ежели судить по тому, до каких жизненных вершин добрался этот Велвл. Способность к правильной игре не противоречит полной тупости. Этот Велвл, так же, как и я, наверняка тоже стремился вырасти как можно скорее. Для него то было единственным способом навсегда избавиться от множества лишних слов, которые он не понимал, и начать делать деньги, которые не нуждаются в сложных рассуждениях и обоснованиях наших мудрецов. Правильные ходы потому и правильные, что их легко понимает самый тупой ученик.

Но я-то старался вырасти как можно скорее совсем по другим причинам и совсем для других целей. Я мечтал сделать для начала один совсем неправильный ход и посмотреть, к чему сие приведет.

И вот я решился.

Я довольно прожил до сих пор, играя по вашим правилам. Хватит! Пора сделать этот ужасающе неправильный ход. До сих пор жизнь моя шла, как овца на бойню. А дальше будет – как с обрыва в пропасть! Может, разобьюсь об острое дно, может – взлечу так, что падение мое окажется повыше вашей шахматной доски, плоской, как кусок мацы и расчерченной на ровные клетки.

Шлю всем приветы. Счастливо оставаться!

Шауль Альтшулер.

– Да-да, – изрекает старик Альтшулер после недолгой паузы, – с самого детства была у него такая глупая привычка – подолгу сидеть над глубокой дырою...

Именно так он и сказал: не «над пропастью», не «над бездной», а «над глубокой дырою».

– У нас в Еврейском квартале был за домом колодец на шесть семей. Так вы не поверите, чего стоило моей покойной Ханеле, да будет ей райский сад упокоением, следить за этим мальчишкой. Сколько раз она в ужасе снимала его с бортика, на котором он сидел, свесив ножки над дырой и глядя туда, в глубину, в темноту. А то свешивался и начинал кричать в дыру: бу-бу-бу! По этим-то «бу-бу-бу» она его и обнаруживала. Откуда силенки-то брались у мальца сдвигать тяжелую крышку с этого колодца! А потом, когда мы поселились тут, он взял привычку таскаться что ни день на пруд Мамиллы. Есть там одно место, которое он себе облюбовал. И тоже – сидит на стене и смотрит вглубь, в воду, словно выискивает Бог весть какие секреты там на дне...

Реб Мотл вдруг приходит в страшную ярость и даже сжимает в кулаки свои трясущиеся руки.

– А он-то все время вот о чем думал! О самоубийстве! О смертном грехе он думал, негодяй!

Слезы текут по его щекам и попадают в горестно скривившийся дряблый рот.

– Мой родной мальчик! Что ты наделал! Отца не пожалел, душу свою не пожалел! Мать-праведницу в райском саду не пожалел! Сперва явился тут пистолетом трясти, родного отца пугать, а потом взял да утопился! Ищите его тело в этом пруду! Ищите, я вам говорю! Мой мальчик, мой родной мальчик! Негодяй, паршивец, гой, преступник, черт знает кто!!!

– Что-то тут не так, – думает Гедалья, в то время как реб Довид неловко пытается утешить старика, а Арье Лейб просто не знает, куда деваться. – К элулю в прудах воды-то оставалось столько, что и мышь бы не смогла утопиться. Что-то тут иное. Это ничуть не яснее семи причин...

Изрядно запоздавшее обращение автора к недоумевающим читателям, в котором он, наконец, сообщает о себе некоторые подробности

Многотерпеливая читательница моя, снисходительный читатель,

вот уже позади у нас чуть ли не половина книги, а автор ваш все еще держится, как говорится, в тени и, хоть и не скрывает от вас некоторые свои мнения и воззрения, но до сих пор не сказал ни слова о себе самом.

Кто он такой, этот автор? Где живет? Какое положение занимает в обществе? Женат ли? Растит ли детей, и, если растит, то в каком духе воспитывает и какое предлагает им образование? Почему он до сих пор молчал обо всем этом?

Действительно, некрасиво! Можно, не дай Бог, подумать, что он слишком много о себе понимает, считая, что одного имени его достаточно, чтобы все сразу уразумели, с какой персоной имеют дело. Будто бы достаточно прочитать на обложке или на титуле «Некод Зингер» – и сразу все станет ясно, вспомнятся все почетные регалии сего значительного исторического лица и мощное ветвистое генеалогическое древо славной фамилии, и длинный список печатных трудов его, хранящихся в библиотеках величайших университетов.

Нет, автор вовсе не имел в виду ничего подобного и, если молчал о себе, то исключительно из смирения и скромности, а отнюдь не из самомнения. Ему и в голову не приходило, что персона его заслуживает хоть части того внимания, которое уделяется им любому из его персонажей. Так бы он и продолжал писать дальше, не представившись вам, когда бы не вмешательство его доброго друга, Гедальи Бухбиндера, тактично, но решительно указавшего ему на совершаемый промах.

– Если вы, господин Зингер, считаете, что читатели до конца книги согласятся оставаться в неведении касательно того, с кем имеют дело, то я должен вас предупредить: это

опасное заблуждение. Знаете, чем оно опасно? Я вам скажу! Читатель, конечно, читателю рознь, но ваш-то, судя по всему, субъект весьма любознательный. Иначе давно уж бросил бы он эту книгу, поверьте мне. А читатели, которым интересны такие малопрактические предметы, как наши иерусалимские «прожекты» и судьбы их создателей, наверняка давно уже заинтересованы личностью рассказчика. И, не получая того, что их давно интригует, они не станут долго ждать. Они пойдут и спросят обо всем сами. Кого спросят? В том-то все и дело! Лучше уж вы расскажите им про себя, если и не все, то хотя бы то, что считаете нужным; иначе это сделают по их просьбе другие, и тут уж, извините, если что не так... Начнутся разные намеки, поползут, как у нас водится, всякие слухи, и вы непременно пожалеете, что с самого начала не взяли дело в свои авторские руки.

И ведь верно! Обратись любой из моих читателей к какому-нибудь доброхоту, вроде господина Йохая Аренштама, изображающего из себя «корреспондента» «Оленя», или господина Нохума Вайсмана, пишущего в одесский «А-мелиц» и в берлинский «А-магид» «правдивые послания и достоверные летописи из Святой Земли»... Ох, подумать страшно!

Итак, автор спешит заранее уверить вас, любезные читательницы и читатели, что ничего подобного с ним не происходило, и все, что они вам преподнесут как святую и истинную правду – это их собственные весьма глупые измышления.

Автор вот уже более четверти века как поселился в городе святости нашей и живет ныне, хоть и не в квартале Бейт Яаков, но совсем неподалеку от него, а потому часто навещает там своих персонажей и имеет достаточно точное представление о том, что с ними происходит. Случается ему бывать и в других новых кварталах стремительно строящегося Иерусалима, и внутри городских стен, в особенности, во Дворе Лилии.

Родился он в одном из не самых первых, но и не самых последних губернских городов Российской империи. Поучился, как водится, и в хедере, и в ешиве, но, чуткий к красоте

окружающего его мира, «сбился с пути истинного» и отправился в Европу совершенствоваться в искусстве рисунка и живописи. Наставники его были им довольны, отмечая, впрочем, наибольшие успехи его не в пейзаже, не в парадном портрете и, уж тем более, не в историческом жанре, считавшемся в годы его учения венцом всякого художества, но в карикатуре. Однако об угле, графите, резце и кисти пришлось ему почти вовсе забыть с того момента, как он ступил на политую слезами Землю Обетованную. Где уж в Иерусалиме найти еврею применение изящным искусствам? Разве что украшать скромными символами благословляющих рук или льющих воду умывальниц каменные надгробья.

Был он захвачен передовыми идеями возрождения святого языка и даже, подобно господину Бен-Йегуде, решился было ни на каком другом языке ни с кем не разговаривать. Хватило его решимости, впрочем, дня на три, не больше. Все ж неприятно чувствовать себя немым среди глухих... Теперь же он, как вы сами имеете возможность убедиться, пишет уже третью книгу по-русски. И, Бог свидетель, какого труда ему стоит подбирать слова для множества не поддающихся переводу еврейских слов и выражений! Даже буквы кириллицы, похоже, сопротивляются этому занятию. Те из читателей, у которых русская классика на слуху, уж точно заметили, что начал он свою книгу, наподобие «Войны и мира» графа Льва Николаевича Толстого, и вовсе с иностранного языка, да и то не выдержал канона и вместо французского взялся за английский. Все, все у этого автора, что называется, «не как у людей»!

Отношения его с собственным сочинением и влияние написанного на его жизнь в последнее время изумляют его до чрезвычайности. Примеров такой поразительной связи не счесть, но ограничимся лишь одним. Скажем, один из его героев – тот самый Гедалья Бухбиндер, который столь уместно вызвал его на откровенность с вами. Сделав его переводчиком, автор думал, что это весьма удобно и продуктивно для развития сюжета, и не более того. Однако, стоило ему углубиться в рассуждения о сложной и неоднoз-

начной роли переводчика в мировом порядке, как судьба начала настойчиво подталкивать его самого в том же направлении, один за другим посыпались на него заказы – и вот он уже сидит над переводами статей, писем и мемуаров, едва справляясь с наплывом всей этой словесной стихии, с трудом выкраивая драгоценное время на продолжение собственной книги. С одной стороны, это ему весьма досадно, он вовсе не собирался тратить свою жизнь на подобные глупости; но с другой – эти нервирующие заказы поправляют его непростое финансовое положение. Следовательно, грех жаловаться. Ему даже впервые оказалось по карману купить в подарок любимой женщине если и не рубин, то скляночку в два грана розового масла. Но какова зависимость действительной жизни от написанного им – вот что завораживает его сверх всякой меры – настолько, что он едва ли не всерьез начал уже подозревать, не является ли и сам он персонажем какой-то книги, роль в которой предписана ему кем-то иным, стоящим, если и не над ним, то, по крайней мере, за его спиною. Впрочем, подобные этим умонастроения среди сочинителей разного пошиба – не такая уж редкость.

Вот, пожалуй, и все, что он считает абсолютно необходимым о себе сообщить.

VI

Глава, в которой иерусалимские мандрагоры отправляют посольство в страны дальнего Севера, а оттуда в Святой Град приносятся дальним ветром ответные посланцы

Как много теперь заказов у реб Довида Фридляндера! Ему пишут из Одессы и из Берлина, из Парижа и из Ливорно, из Лондона и из Лемберга, а один заказ пришел даже из Стокгольма. Господи, поистине велико творение Твое и необъятны расстояния, кои объемлешь Ты одним взглядом Твоим! Но более всего реб Довиду запало в душу письмо, присланное из Вильны за подписью семи членов общества Естественных Исследований. В письме этом его приглашают приехать и выступить с циклом лекций о медицинских свойствах Mandragora officinarum и других растений Земли Израиля у них, а затем отправиться в турне по городам, в которых у общества есть свои отделения: Двинск, Ковно, Лодзь, Варшава, Могилев, Киев. Господа из Вильны предлагают оплатить дорожные расходы ему и его ассистенту (им даже в голову не приходит, что нет у него никакого ассистента!) и готовы назначить гонорар за каждую лекцию.

И реб Довид, сперва только усмехнувшийся, читая это приглашение, начинает что ни день возвращаться к нему мыслями, и вот он уже взвешивает ответ, в котором, вместо ранее задуманного вежливого отказа с изъявлениями искренней признательности, выражается обещание обдумать их великодушное предложение. А тут, как нарочно, Арье Лейб Гойзман, его двоюродный племянничек, уже успевший вернуться с женою в свою колонию, к вратам надежды своей, к страусам своим, продолжающим на радость дамам и барышням успешно и счастливо отращивать хвостовые перья, сообщает, что теперь ему уже совершенно необходимо съездить в Европу для наведения торговых кон-

тактов с возможными заказчиками и, конечно, просит денег в долг, тех самых денег, которых у него, Арье Лейба, за их полным отсутствием, не клюют пока даже куры, не говоря уже о более крупных пернатых. Он просит денег и клянется, что вскорости, когда его предприятие, благодаря этой поездке, расцветет и слух о нем пройдет по всем континентам, он не только вернет долг сполна, но и сам сможет финансировать «различные прожекты». И тогда реб Довид, уже три года не видавший дочку и не сподобившийся еще благословить своего внука Менаше, наконец, решается. Он пишет племяннику в Петах-Тикву, что денег он ему дать не может, но согласен взять его с собою в качестве «ассистента».

Ассистент так ассистент – звучит внушительно. Кто бы стал возражать! И вот уже молодые супруги снова едут в Иерусалим. Арье Лейб, сказать по чести, предпочел бы на сей раз уклониться от посещения Святого Града и встретить своего дядюшку в Яффе. Но не тут-то было. Решено, что пока Арье Лейб будет двигаться от одной столицы к другой, продвигая к новым горизонтам дело своей жизни, вырастая не по дням, а по часам в собственном мнении и стирая последние границы, еще отделяющие его от высокого европеизма супруги, и пока швагер Довчик будет ходить за его мозоленогими питомцами, Рашель останется жить в доме реб Довида, «рядом с близкими друзьями», как она теперь называет Авигайль и Гедалью. Так она ему и сказала.

То есть, чтобы быть верным истине, автор должен признать, что сперва она сказала нечто совершенно иное. Узнав о том, что поездка в Европу – дело решенное, она очень оживилась и сразу начала вслух строить планы: в Париже мы то, в Вене мы это, и так далее, и тому подобное. Когда же муж, глядя куда-то в сторону, сообщил ей, что, вообще-то, в европейские столицы на сей раз поедет он один, ибо на совместное путешествие нет никаких средств, она очень сильно обиделась и велела ему, в таком случае, «отправляться немедленно и больше уже не возвращаться».

– Но прежде ты мне дашь развод, как полагается, – заявила она. – Я не такая дурочка, Люля!

Арье Лейбу пришлось очень долго умолять любимую жену одуматься и сменить гнев на милость. Пришлось и вставать на колени и пускать слезу, и клясться в любви и верности, и даже торжественно заявить, что, сколько бы он ни вертелся в научных и торговых кругах Европы, ему никогда не достичь даже намека на культуру Рашели, даже скромнейшего отражения того неподражаемого блеска, что исходит от ее парижского воспитания, да и, кроме всего прочего, ни Париж, ни Вена, ни даже Берлин или Рим в программу этой деловой поездки не включены, а речь идет, вообще-то, о каких-то жалких Вильне и Варшаве. Последний довод произвел на разгневанную Рашель наибольшее впечатление. Собственно, только он один и изменил ее взгляд на предмет и, хотя она оставалась безжалостна и неприступна еще в течение двух дней, заметно было, что делает она это исключительно для сохранения своей выигрышной позиции.

«Сдайся скоро – и тебя будут считать за страусиху, способную только на то, чтобы нести яйца» – таково было ее глубочайшее убеждение. А к Вильне, Варшаве и прочим Жмеринкам никогда их не видевшая Рашель испытывала брезгливое отвращение. «Все это», простирающееся на карте от Одера на Западе до Дона на Востоке и от Черного моря на Юге до Балтийского на Севере, абсолютно не считаясь с мнением географов и государственных деятелей, она называла «Волынью». Для нее то были места, не только густо населенные несчастными забитыми Рихл, Рохл и Рухл, но и самим фактом своего жалкого существования, самой своей худосочной приниженной сущностью способствовавшие произрастанию из гнилой топкой почвы все новых и новых поколений Рихл, Рохл и Рухл, лишенных надежды. Словно сам Господь вбил крепчайший клин между блистательной, логичной и здоровой Европой и тусклой, бредовой, чахоточной «Волынью». И, конечно же, сама мысль о том, чтобы по доброй воле отправиться в «этот клоповник», представлялась ей актом чудовищного слабоумия, на который способны были только такие «птицещипы», как ее муж. Конеч-

но, пусть едет, если ему так хочется. Она даже сдержится и не станет смеяться ему в лицо, когда он снова и снова, как деревенский дурачок, верхом на петухе добравшийся до какого-нибудь Конотопа, станет называть это «поездкой в Европу». Недалекий, но милый, в сущности, парень ее Люля. Ей его даже жалко: сойдет с парохода в Константинополе, потом будет трястись на железной дороге, а то и в пролетках, ночевать по грязным, полным блох постоялым дворам, таскаться по вшивым трактирам и мелочным лавкам, пытаться продать свои перья, которые этим горьким бедолагам и их молью траченным женам нужны не больше, чем она сама не знает что... Ей даже будет его недоставать все эти месяцы. Но, конечно, в колонии она одна торчать не намерена. Что ей тут делать одной? Нет уж, если не Европа, то пусть хоть Азия! В Иерусалиме надо и за домом присмотреть, между прочим. И еще там люди разные, что ни неделя – то один деятель приедет, то другой. И общество свое имеется, прогрессивная молодежь. Элиезер Бен-Йегуда – просвещеннейший человек. Семейство Наси недавно прибыло из Константинополя с сестрами. Дамы, консулы, молодые педагоги, журналисты. Она, конечно, со всеми будет «на короткой ноге» и даже сможет сыграть немалую роль в преображении «старой рухляди» в центр просвещения.

Реб Довид не стал возражать. Почему бы в его доме, особенно зимой, когда пустующие дома сыреют и приходят в запустение, не пожить супруге его племянника, особе, кажется, честной и воспитанной, если она обещает ничего не перекладывать и не рыться в его бумагах. А если бы она смогла взять на себя заботу о его почте – отправку заказов, получение денег и ведение счетов для налогового управления, то решилась бы последняя проблема, мешавшая ему почувствовать себя спокойно и с легким сердцем и свободной от тревог головою обратить свои мысли к научным и родственным аспектам заморского турне.

И снова наши колонисты в Иерусалиме, в «доме у дерева». Реб Довид, введя Рашель в курс дела, отправился в Яффу нанимать места на пароходе, оформлять бумаги и стеречь багаж – свои гербарии, пять коробов фиников и доставлен-

ные Довчиком из Петах-Тиквы лари с отбеленными и окрашенными перьями.

У Арье Лейба пару раз кольнуло сердце при мысли о том, что он оставляет молодую жену одну, посреди бушующего моря житейского. Но Иерусалим это, все же, не Париж с его бесконечными французами. И Арье Лейб быстро успокоился, между делом пользуясь случаем «расширить торговые связи». Именно так, в высшей степени глупо, по мнению молодой жены, он именует непрестанную болтовню о страусах вообще и их несравненных хвостовых перьях в частности, которой он способен заморочить голову всякому, кто попадается на его пути, нимало не смущаясь тем, что отнюдь не каждый глава ешивы или синагогальный староста мечтает видеть своих жену и дочерей украшенными султанами из перьев. Впрочем, сообщение из Яффы о том, что все улажено и пароход отплывает 15 хешвана, пришло очень скоро.

На радостях, что все, слава Богу, образовалось, и у него самые сердечные отношения с любящей женою, с которой они будут взаимно тосковать в разлуке, Арье Лейб задумал устроить особенно чувствительное прощание.

За день до своего отъезда он достает из дядюшкиного комода две точно выверенные реб Довидом порции заветного порошочка Mandragora officinarum. Двумя пакетиками меньше, двумя больше – кому какое дело!

– Вот, – объявляет он Рашели, – это то, о чем сказано: «Влеки меня! За тобой побежим, возликуем и возрадуемся с тобою». Этой ночью я хочу быть для тебя «лучше вина». А когда вернусь из Европы с кучей денег и новых заказов, у нас родится прекрасное дитя, которое станет Спасителем Израиля!

– Люля, дурак усатый! – отвечает ему лишенная всякой сентиментальности Рашель. Но от порошка не отказывается из природной любознательности. – Но с какой стати «ночью»? Разве это про ночь сказано в «Песни Шломо»: «Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня?» Мы что, воры или лунатики, чтобы ждать темноты?

Арье Лейб едва не утрачивает дар речи, когда Рашель быстро скидывает с себя всю одежду посреди комнаты, даже не закрыв ставни. Солнце, опалившее немногие окраинные участки тела молодой госпожи Гойзман, постоянно открытые его лучам: лицо и шею обходящейся без чадры жительницы Ближнего Востока, ниже локтей – руки сельской колонистки, привычной к работе под средиземноморским зноем, это дневное светило оставило нетронутым все прочее. И от представшего его глазам сладостного контраста между прохладным живым алебастром Парижа и прокаленным туфом Святой Земли у Арье Лейба, действительно еще не открывавшего наготы жены своей при свете дня, кружится голова и перед глазами плывут отбеленные и окрашенные мягкие перья. Бормоча: «ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна», он кидается порывисто лобзать это чудо красоты и, едва успев стащить с себя штаны, овладевает ею прямо на полу, стеная и задыхаясь от восторга.

Едва он затихает, неизменно трезвая, хоть и не притворяющаяся холодной или разочарованной Рашель, резонно указывает ему на то, что они так и не успели принять порошки.

Повторение всегда чревато разочарованием, ибо лишено свежести первого бесхитростного порыва. Честно говоря, лучше им было и вовсе отложить эти сомнительные порошки до какого-нибудь другого раза, хоть до возвращения Арье Лейба из дальней поездки. Им посылается даже знак свыше: запивая порошок водою, Рашель поперхнулась и долго кашляет, отчего делается вовсе не соблазнительной. Пока отсчитывают положенное время, солнце успевает закатиться.

Повторное раздевание происходит уже в полном мраке рано наступающей в месяце хешване ночи. В это время постель пожилого вдовца предпочтительнее быстро ставшего холодным каменного пола, но кажется какой-то глупой, просто глупой.

– Пойдем под дерево! – со слабой надеждой в голосе предлагает Арье Лейб.

Рашель выглядывает за дверь.

– Да ну, вздор... Non-sens![52]

Раздеваются супруги как-то особенно долго. У нее ноет голова. Его слегка мутит. Делая свое дело, Арье Лейб старается более обычного шуметь и изображать куда большее воодушевление, чем на самом деле испытывает. В действительности же, жена кажется ему теперь похожей на лягушку, из тех, которых пожирают ее возлюбленные французы. Если бы ее зажарить на вертеле, в ней было бы куда больше смысла. А так что? Слава Богу! Кажется, ей самой надоело...

Потом он очень долго, не в пример обычному, не может заснуть, ворочается, сопит и даже глуповато хихикает, пока Рашель, наскучив всем этим, не спрашивает его прямо: желает ли он чего-нибудь еще и ждет ли какого-либо продолжения? Но муж ее в ответ начинает нести какую-то бессвязную чепуху и даже пытается развязно заговорить с нею по-французски, не имея в этом языке даже самых начальных познаний.

– Fou, imbécile, crétin, débile, idiot![53] – кричит оскорбленная в лучших чувствах Рашель.

В ответ он неожиданно храпит с присвистом. Этим все и заканчивается.

Сама она отходит ко сну в весьма раздраженном состоянии и тут же видит перед собою господина Бен-Йегуду, совершенно голого и коленопреклоненного. Словно в великой муке, заламывая руки и проливая слезы, редактор «Оленя» шепчет:

– Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо ныне нам предстоят два деяния: увеличить число евреев в Земле Израиля и вложить язык иврит в уста народные. Нам следует торопиться, Рахель, следует заставить евреев вынашивать, нести и высиживать все больше и больше яиц, и обучать их речи Эвера, дабы был единый язык в

---

[52] *Non-sens* – бессмыслица (*фр.*)

[53] *Fou, imbécile, crétin, débile, idiot!* – Дурак, слабоумный, кретин, дебил, идиот! (*фр.*)

Земле Израиля, дабы язык сей овеял нас духом своим, дабы пробудил он нас от вековой спячки!

– Но ведь они будут требовать не духовной пищи, а обычных вещей, эти евреи, – вполне резонно возражает Рашель, чья острая и суховатая галльская логика не оставляет ее даже в грезах. – Они захотят молока, меда, пирожного Мадлен, чечевичной похлебки. Посмотрите, как вы исхудали! Посмотрите, как вас жалеет госпожа Двора! А эти евреи спят и во сне ни о чем высоком не помышляют, равнодушные к любой речи, озабоченные только раздачей милостыни. Может быть, если обучить их французскому языку, языку Вольтера, Паскаля, Виктора Юго, Пастера, они усовершенствуются?

– Как вы можете?! Как вы можете?! – заходится в рыданиях господин Бен-Йегуда. – Я сплю, а сердце мое бодрствует...

Вокруг них – горы невероятной красоты. «Словно Альпы», – думает Рашель, но не решается произнести это сравнение вслух, чтобы не добивать и без того раздавленного горем Бен-Йегуду. Вместо этого, указывая на сияющие снежные вершины, она деланно произносит, словно читая лекцию для барышень:

– Перед вами – три величайшие вершины человеческого гения: Монблан, Момартр и Монпарнас...

– А знаете, – вдруг говорит Бен-Йегуда неожиданно переменившимся, совершенно деловым тоном, – если мы захотим, то уже завтра можем стать такими же людьми, как все люди на свете, у которых есть земля, принадлежащая им... Об этом сейчас еще рано говорить, но я вам заранее, так сказать, авансом, сообщаю: Африка – страна великого будущего. Быть может, уже через четверть века там будет новая Америка, быть может – еще более цветущая, чем Америка! В нее стекаются уже самые просвещенные народы. С запада – бельгийцы, с юга – немцы, с севера и востока – англичане. Новая жизнь нарождается вокруг... И для евреев там тоже будет простор и открытая книга. То, что мы не смогли бы сделать в другом месте за 20 лет, в Африке мы сделаем за год. Начать со страусов...

Кажется, Африка и в самом деле надвигается на Землю Израиля. Старожилы приговаривают, что такой засухи не видели ни они сами, ни их отцы. Йемениты вспоминают свое знойное прошлое в аридных степях-полупустынях. Скромные запасы воды в Святом Граде стремительно иссякают. В толще иссохшей земли недовольно морщатся человекоподобные корешки, медленно поводя корявыми своими ручками и ножками в тщетных поисках влаги.

Арье Лейб Гойзман, поутру едва удостоенный холодного жениного поцелуя, выезжает в направлении Европы в почтовом экипаже с тяжелой головной болью, адской сухостью во рту, но полный самых радужных надежд.

Зима в Иерусалиме в этом году действительно очень уж долго не может войти в свои права. Месяц сменяет месяц, переменчивый хешван уступает дорогу кислеву с его чудом светильника и ханукальными денежками, но и тот, едва побрызгав мелким дождичком на вторую и третью свечу, осекается, передав очередь тейвесу, он же, в устах сефардов и вольнодумцев, вроде Бен-Йегуды и Бухбиндера, – тевет. Начинается тевет, и что же? Словно бы и тут ничего не изменилось: солнышко светит, ветер дует порывами со стороны пустыни и пыль, прах и песок носятся над городом, словно дух Божий над водою во времена всеобщего первобытного хаоса (да не примет читатель это преувеличенное уподобление, имеющее тысячу отличий от предмета сравнения, не дай Боже, за приравнивание к нему).

И вот, на десятый день тевета, в день поста, погода резко меняется – с моря вдруг налетает сильнейший ветер, холодный и влажный, и начинает распахивать двери и окна, гнуть и ломать деревья и гнать пред собою людей. Стада шляп катятся по земле, неистово вертясь. Тучи пыли, смешанной с водой, погружают все в сплошной серый туман. Вечером разражается настоящий ливень и воцаряется ужасный холод. К утру становится еще холоднее и дождь преображается в снег.

Снег в Иерусалиме. Залетный гость с дальнего Севера.

Прислушайтесь, дамы и господа, к шепоту святого языка: ***шелег бирушалаим***... Словно заботливые небеса, струя-

щие белое и мягкое, подобное манне в пустыне для израненных, издерганных гортанными приказами душ, приглушили все, что было резким и громким в речи самой природы. Великая милость ниспослана детям Яакова. В невообразимой тишине ночи город медленно погружается по самые уши в нежнейшую белую перину. Только бы не утонул он вовсе в этом даре Всевышнего! Снег в Иерусалиме – всегда благословение на грани проклятия, как если бы Всемилостивейший, забывший меру, вместо шестисот тысяч корзин с белой сладкой благодатью сыпал бы в пустыне на онемевший от счастия народ свой, не переставая, мириады возов ее, день за днем, год за годом... Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, сила и могущество коего наполняют мир!

Но к утру снегопад улегся. От оглушительной тишины просыпаются поутру в своих постелях первые жители квартала Бейс Яаков. В узкие прорези ставней просачивается какой-то небывалый свет. Приоткрыли ставни, выглянули в окошки... Благословен ты Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, добрый и творящий добро!

Белым-бело в квартале, и белизна эта выходит далеко за его пределы. Весь мир облачился в праздничные лилейные одежды, чистый от греха, словно новорожденный младенец, не знающий ни лукавства, ни мудрости, а лишь тихий восторг чистого листа, на котором ни один автор еще ничего не написал. Под белым покрывалом покоится неразличимая в общем молочном сиянии Яффская дорога. Шнеллеров посад глядит на свет шварцвальдским тортом под взбитыми сливками с одинокой свечою колокольни. На русском православном подворье праздник – бородатые мужики и черницы в рясах, вспомнив свои Кострому да Псков, бросаются снежками, резвятся в снегу, что твои мамонтята, вовсе позабыв о всяком благочестии. В квартале Мазкерес Мойше Йехиэль Вайнтрауб, известный всем под именем Альбрехт, стоя на пороге в одной ночной рубашке, зябко ежится и повторяет, вперившись горящими глазами в овладевшую миром белизну:

– Это начало! Это начало!

Двойра выглядывает во двор, с трудом отворив заваленную снегом дверь. Открывшийся вид живо напоминает ей, как они, семилетние, спрятали под снегом украденную подружкой Ханой из буфета в доме Киршенбаумов банку с инжирным вареньем. У них-то, бедняков горьких, такой роскоши и в помине не было, так Хана в тот день, двадцать лет назад, когда вот так же выпал густой снег и весь их двор в Еврейском квартале утонул под ним, утащила банку из-под носа у матери, и они зарыли ее в сугробе у колодца, а потом заметали следы, словно опытные разбойники. И такая на нее теперь при этом воспоминании любовь накатила, так захотелось все-все простить «этой гойке» за ее детское добросердечие – и ее дурацкую красоту, и несуразные манеры, и то, что она невесть что о себе возомнила и запросто болтает на святом языке с мужчинами, словно праматерь какая-то... Так и не успела Двойреле тогда до этой банки добраться, прежде чем весь снег не растаял и не потек. А кто раньше всех к колодцу пошел, меся ногами мокрую снежную кашу, как не господин Киршенбаум собственной персоной! И что ему так понадобилась вода из колодца, когда кругом все было в снегу? Госпожа Киршенбаум, видите ли, внушила ему, что талый снег грязный! Вытащив на цепи ведро воды, он поставил его не на бортик колодца, как делали все разумные хозяева и хозяйки, чтобы затем перелить воду в свою посуду, нет, он тяжело опустил его прямо на эту самую банку с вареньем. Двойреле все это видела собственными глазами! Раздался сахаристый треск, варенье вместе с водой поползло вниз по двору между ног господина Киршенбаума...

– То было наше невинное детство – это варенье, – думает сейчас Двойра, снова, как тогда, ощутив в сердце уколы стеклянных осколков. – Это вся наша жизнь, Хана! Ханеле!

Она подбегает к соседскому окошку, проваливаясь в снег по колени, барабанит в ставень, кричит:

– Просыпайся, бездельница! Заспалась! Посмотри, какую благодать послал нам Пресвятой, благословен Он! Протри глаза, лежебока!

И сама растворяет снаружи ставни супружеской спальни Бухбиндеров.

– Вставайте, бездельники!

Необъятная порция белого света вваливается в незанавешенное высокое окно и ослепляет Гедалью, резко севшего в постели. Авигайль смеется, прикрывая глаза рукою.

– И увидел Бог, что свет хорош! – смеется она.

– И увидите лицо его, и останетесь живы! – вторит ей Гедалья.

Простоволосая, в домашнем платье на холоде, совершенно не понимая, что делает, Двойра пускается в пляс посреди заснеженного двора. Она скачет в снегу и громко распевает, не в силах противиться порыву, заставлявшему некогда царя-псалмопевца скакать перед Ковчегом Завета и Мирьям, родную сестру учителя нашего Моше, пророчествовать над волнами Красного моря:

– Ла-ла-ла! Бла-бла-бла! Ква-ква-ква! Шма-шма-шма!

Вот какая бессмысленная песнь...

– Ты с ума сошла! Пойдем домой! – Хватает ее за руку ковыляющий по двору Реувен, и вдруг спотыкается, летит навзничь в сугроб и опрокидывает ее вместе с собой.

Ох, и наглотались они снега!

Реувен, отплевываясь, поднимается, смахивает с лица снег и еще решительнее тянет за собой облепленную белым супругу, вцепившись в ее норовящую вырваться, красную от холода руку:

– Позор-то какой! Пойдем домой! Домой, Двойреле!

Она вдруг спохватывается, одумывается и послушно следует за ним.

И снова воцаряется благолепная тишина.

Несколько дней постепенно тающий снег составляет часть изменчивой иерусалимской реальности. Ему быстро перестают удивляться, еще скорее – радоваться. Его бесформенные, сочащиеся талой водою останки начинают докучать, мешают передвижению и нормальному ходу и без того нелегкой жизни. Чуть ли не сразу его начинают сгребать, сдвигать, скидывать отовсюду, не переставая выражать по его поводу всяческое неудовольствие. Место хвалебных эпи-

тетов, какие расточали в его адрес в первый день, когда он еще сверкал на солнце и поражал воображение, занимают самые скверные ругательства. Припоминают ему и сломанные им деревья, и не сложившиеся из-за него визиты, и протекшие крыши, и множество прочих неудобств. Под конец, всеми проклятый и охаянный, он уже не более чем полужидкое нечистое месиво посреди пережившего осаду и обстрел города.

Однажды, когда о недавнем снеге уже напоминают лишь несколько забившихся в углы дворов упрямых кучек чего-то столь же темного, бесформенного и невразумительного, как турецкое законодательство, после окончания утренней молитвы, едва пробубнив наспех «Я создал и носить буду, поддерживать вас и охранять», Реувен, обычно докучливо прилежный в молении, тот самый Реувен, что даже самым строгим педантам порою встает, как кость в глотке, своим усердием, подходит к Гедалье и, сильно смущаясь, предлагает ему «немного прогуляться», если тот не спешит по какому-нибудь неотложному делу.

Гедалья приподнимает правую бровь, как делает это всегда, сталкиваясь с явлением из ряда вон выходящим, и, отчасти по природной рассеянности, отчасти в силу приобретенной уже этой бровью привычки пребывать посреди нашего удивительного и полного сюрпризов мира в таком приподнятом состоянии, уже не возвращает ее обратно чуть ли не до полудня. Немало способствует этому положению его правой брови и то, что он слышит от своего соседа, с которым прежде беседовал крайне редко и кратко.

– Вы только поймите меня правильно, – начинает свою речь Реувен после того, как они уже прошли полсотни шагов в северо-западном направлении и столько же – в юго-восточном. – Поймите меня правильно, потому что я прошу совершенной секретности. А если вы не можете мне этого обещать, то так и скажите сразу, и я, с Божьей помощью, лучше промолчу.

При этих словах он сбоку требовательно заглядывает спутнику в глаза, совершенно вывернув при этом свою длинную шею.

– Я думаю, что могу вам это обещать, Реувен, – отзывается Гедалья. – Как сказано в книге Берешит, глава четвертая, стих восьмой: «И сказал Каин Авелю, брату своему». А что он ему сказал, Писание нам не выдает. Вот и я, Реувен, буду нем, как Писание.

– Вот вы смеетесь, – заявляет Реувен, – а я вас прошу быть совершенно серьезным. Иначе я, с Божьей помощью, не стану отнимать у вас время. Вы можете не смеяться?

– Могу.

– Это я не потому спрашиваю, что сомневаюсь, а потому, что у меня к вам совершенно серьезное дело. Как сказал рабби Шамай, да будет его память благословенна: «Говори мало и делай много».

– Могу, могу, Реувен, – заверяет его Гедалья, чувствуя, что с каждой минутой поставленная перед ним цель оставаться абсолютно серьезным становится все более трудновыполнимой.

Услышав его повторное заверение, Реувен надолго замолкает. Прихрамывая, он вышагивает рядом со своим спутником. Теперь, изрядно покружив по кварталу, они выходят на Яффскую дорогу и направляются в сторону Дома со Львами. «Верх достоинства и Верх Могущества» продолжает мучиться нерешительностью.

– Вы что-то задумали, Реувен, у вас какой-то новый прожект?

– Множество прожектов в одном и единение множества оных воедино, – с неожиданной решимостью изрекает Реувен, словно заранее заготовил сию мудрую формулу.

– Вы желаете, чтобы я что-нибудь для вас перевел?

– Я прошу вас быть моим учителем! – совсем уже отчаянно выпаливает тот, словно бросившись в ров со львами.

Правая бровь много повидавшего драгомана всеми силами своей свободной индивидуальной воли пытается взлететь еще выше, но жестоко остановлена беспощадною преградой физического закона. До чего же несправедлив этот закон, распоряжающийся поведением тела со всеми его подчиненными органами и нимало не считаясь с их независимым самосознанием. Ах, тело, тело! Поистине, «множест-

во сущностей в одном и единение множества оных воедино»... Хотя произнесший сию формулу и не подозревал о ее универсальной приложимости, она, как мы видим, уже начинает проявлять себя в окружающем мире. И тут возникает достаточно существенный вопрос, ответ на который, однако, автор пока дать не в состоянии, а именно: не есть ли всякая мудрость лишь внешне совершенная форма, настолько привлекательная в своей эстетической безукоризненности, что самим идеальным совершенством своим она начинает притягивать, а то и порождать доказательства собственной истинности, равно эмпирические и умозрительные? Например, все ли столь изысканно сказанное нашими мудрецами было результатом глубокого анализа действительности или, напротив, действительность эта, завороженная сиянием причудливого сплава еврейского, арамейского, персидского и греческого языков, покорялась их магическим формулам? Вполне возможно, что для Реувена Вильденштейна, которого никто в Святом Граде не почитает великим умником, эта его чеканная формулировка – первый шаг на пути к истинному величию.

«Учителем», – думает Гедалья, – «учителем и наставником, к которому этот трепетный дуралей станет обращаться с подчеркнутым почтением, будет именовать не иначе чем “рабби” и еще, не дай Бог, вздумает чистить ему ботинки сажей из своего святого домашнего очага...»

– Учителем, Реувен?

– Да, учителем, реб Гедалья, если вы согласитесь, реб Гедалья...

Ну вот, уже началось: реб Гедалья. Дважды в одной фразе! Раньше-то он пел совсем иначе, и не только «реб Гедалья» было от него не услышать, но и заглазно кроме как «апикойресом» он его, видимо, не именовал...

– Но только если вы не собираетесь надо мной смеяться и обещаете все держать в строгой тайне. А госпожа Авигайль стала бы обучать мою жену, Двойру... Я уж и деньги приготовил.

– Чему обучать, Реувен? – осторожно спрашивает Гедалья. – Вас и жену вашу, Двору? Новейшим течениям фило-

софской мысли? Но тут я, простите, не считаю себя большим знатоком.

– Американскому языку, реб Гедалья. Американскому языку. Вы согласны? Я не прошу многого, не мечтаю разговаривать на этом языке, как американец, который родился и рос в Америке. Но хотя бы десять уроков американского языка нам совершенно необходимо взять. Дело, видите ли, в том...

В чем же, действительно, дело? Изумленный читатель мой, уже тренирующий, возможно, в подражание полюбившемуся персонажу свою правую бровь или, напротив, из оригинальности взявшийся упражнять не правую, а именно левую, наверняка задается этим вопросом. В чем причина столь неожиданного интереса четы Вильденштейнов к иноземной речи? – Недоумевает моя читательница, никаким диковинным мировым явлениям не позволяющая асимметрии бровей исказить правильную конфигурацию милого лица своего. Причина этого неожиданного поворота в умах образцовой иерусалимской пары кроется в словоохотливости доктора Файна, того самого англиканского выкреста Джеймса Файна, на дверь которого оба они, и Реувен, и Двойра, непременно сплевывали, прежде чем войти в нее, и повторно – после того, как выйдут. Как бы то ни было, не раз и не два открывали они эту оплеванную дверь, осужденные прибегнуть к помощи науки, именуемой «медициною».

Три дня после того, как сошел снег, не слышал Реувен разумного гласа жены своей. Не то чтобы она молчала в высшем, абсолютном смысле слова, превратившись, не про нас будь сказано, в подобие соляного столба и утратив всякий дар общения с мужем. Нет, конечно: пользуясь красноречивыми жестами рук и утрированной мимикой лица, она разговаривала с мужем, возможно, даже более обычного. Но при этом воздух вокруг нее оставался неподверженным колебаниям, о характере которых так много открывает нам профессор Генрих Рудольф Герц из Киля. Иными словами, в доме Вильденштейнов царила непривычная тишина, потому что простудившаяся Двойра совсем потеряла голос.

Одного этого было бы недостаточно, чтобы Реувен решил отправиться с женой в клинику англиканской миссии. Не вызывай в нем повышенная жестикуляция жены некой труднообъяснимой тревоги, он даже находил бы в наступившей тишине известное удовольствие. Но постепенно лицезрение противоестественно оживленной немой стало напоминать ему ночной кошмар. Опухшая шея Двойры, которую и всегда-то нельзя было назвать «лебединой», совсем сровнялась с узкими плечами, вращение глаз казалось противоестественным и, вместе с мечущимися туда и сюда руками, напоминало повадки какой-то страшной ночной бабочки, обжегшейся на огне и потерявшей связь с родной воздушной стихией. О том, чтобы прибегнуть к помощи домашних пользительных средств, на которые, конечно, не поскупилась бы его мудрая мать, он и думать не хотел. Двойра-то, будь ее воля и окажись поблизости какой-нибудь жабий помет, или что еще там могут придумать эти женщины, не задумываясь проглотила бы этакую гадость и не поморщилась... Но он старается в любой ситуации держаться подальше от Вильде Хае.

На третий день, когда совершенно сошел уже снег, всерьез испугавшись, что жена может, не дай Бог, умереть, Реувен из двух зол выбрал наименее страшное в его глазах – Янкеле Файна, продавшего еврейскую душу за докторскую трубочку.

В клинике доктор усадил болящую и немедленно велел ей широко открыть рот, заглянув в который, удовлетворенно кивнул, сразу же раскрыл свой собственный и начал пространно рассуждать на совершенно не касавшиеся состояния ее здоровья посторонние темы. Он начал с того, что дела у жителей Иерусалима идут туго, и сердце болит при виде того, как молодые, полные жизненных сил люди вынуждены не цвести, но вянуть, едва сводя концы с концами. А в это время в Американских Соединенных Штатах их ровесники «делают жизнь». Чего им тут не хватает: плодотворных идей, живости ума? Да нет же! Он, доктор Файн, совершенно уверен, что у всех у них головы просто ломятся от грандиозных прожектов. Что, разве не так? А не хва-

тает вовсе не этого. Не хватает благоприятного климата, фигурально выражаясь, того самого favorable ambiance[54], что отчего-то царит в Америке и начисто отсутствует здесь, в Святой Земле. Такой человек, как этот бойкий предприниматель из Кентукки, который вертелся тут и намеревается появиться снова, мог бы осчастливить не одну такую пару, как ваша, открыв золотые ворота своей Америки. Он, этот Годсон, даже намекал ему, доктору Файну, что вынашивает интересные коммерческие планы, как-то связанные с тем, чтобы перевезти за океан группу молодых иерусалимских евреев.

Слушая эту ни к чему не обязывающую болтовню доктора, Реувен не испытывал ничего, кроме досады. «Какая еще Америка», дивился он. «Разве не сказали наши мудрецы, да будет их память благословенна: Всегда следует жить человеку в Земле Израиля, даже в городе, где большинство жителей – идолопоклонники, и не следует жить за ее пределами, даже в городе, где большинство жителей – сыны Израиля, ибо человек, живущий в Земле Израиля, подобен тому, у кого есть Бог, а человек, живущий за ее пределами, подобен тому... подобен... Кому он подобен, этот несчастный? Ох, совсем меня заморочил этот выкрест!»

Тут внимание его было, наконец, отвлечено от Америки, которую он представлял в своем воображении в виде плавающей в миске, полной бульона-океана, плещущего о ее борта горячим прибоем, широкого жирно-золотого круга, а заодно и от Земли Израиля, столь любезной нашим мудрецам. Доктор Файн объявил, что сейчас он покажет ему, Реувену Вильденштейну, как тот сам сможет прямо на дому лечить свою супругу Двойру с помощью современной медицинской науки, смазывая ее больное горло Solutio Lugoli[55] или, иными словами, раствором йода и иодида калия в глицерине. И если тот все станет делать правильно, то уже через несколько дней всякое воспаление будет побеждено

---

[54] *Favorable ambiance* – благоприятная атмосфера (*англ.*).

[55] *Solutio Lugoli* – раствор люголя (*лат.*).

и tonsillas, сиречь glands[56], или, иными словами, небные миндалины нашей страдалицы придут в норму.

– Идите сюда, – приказал ему доктор. – Сударыня, извольте открыть рот как можно шире, так, словно вы стараетесь сказать «а». А вы смотрите внимательно. Что вы там видите, кроме того, что зев и задняя стенка страшно покраснели?

То, что увидел там Реувен, вызвало в нем священный трепет. «Господи, прости и помилуй! Это не человеческий рот, которым едят, пьют и произносят благословения. Это – дорога в ад, пылающий проход в Геенну Огненную! И у каждого из нас внутри такой путь в ад. Из этого пекла рвутся наружу греховные суесловия, ложные клятвы, проклятия, облыжные обвинения и губящие душу сладкие речи обольщения. О, видя эту воспаленную бордовую каверну, воочию видишь стерегущую тебя грозную угрозу! Да-да, грозную угрозу, которая грозит заманить и поглотить тебя всего, если не убережешься...»

– Видите два таких вспухших комочка по обе стороны небного язычка, вот этого сосочка, свисающего сверху? Видите?

– Господи, милосердный, прости и помилуй...

– Сейчас, как вы видите, они покрыты желто-бурым налетом и полны гноя. Вот, я легонько надавливаю на один из них спатулой – видите, сколько гноя? Гортань почти полностью ими закрыта – вот как они разбухли. Видите?

«Господи! Какой срам... Этот женский рот – пламенеющая пещера, ведущая в преисподнюю всякого, кто не убережется, а особенно... особенно мужа, супруга, то есть! Господи, творящий милость праведным!»

– Именно эти места – миндалины, язычок и заднюю стенку – и нужно смазывать три раза в день. Теперь я покажу вам, как это делать.

Доктор бросил спатулу в мусорную корзину и взял в руки тонкую деревянную палочку, конец которой тщательно обмотал ватой таким образом, что у него получилось нечто,

[56] *Tonsillas, glands* – гланды (*лат. и англ.*).

напоминающее многократно уменьшенную колотушку от турецкого военного барабана или, не приведи, Господи, на ум такого бесстыдного сравнения...

– Смотрите внимательно! Это очень важно.

Он обмакнул сие орудие в склянку с бурой тягучей жидкостью, подцепил на ватное утолщение и, ловко вращая палочкой в воздухе, так, чтобы не пролить ни капли густого раствора, поднес ее к сведенным горьким страданием устам несчастной Двойры.

– Сударыня, извольте снова раскрыть рот пошире! Еще шире!

«Да как он смеет!» С неимоверным трудом Реувен преодолел острое желание броситься на этого выкреста и немедленно прекратить безобразную сцену.

– Попробуйте произнести «а»! А-а-а! Превосходно! Следите внимательно, почтенный супруг! Я ввожу помазок как можно глубже... чуть поворачиваю слева направо и обратно – справа налево... Вверх – к язычку, еще вперед, к задней стенке! Готово!

Реувен, «Верх достоинства и Верх Могущества», взирал на этот ужас, словно громом пораженный, повторяя про себя: «Не приведи, Господи, на ум такого сравнения»...

– Ну-с, – как ни в чем не бывало спросил, поворачиваясь к нему, доктор, – вы могли бы повторить такую процедуру?

И он повторял, три раза в день, едва не сводимый судорогой от старания унять дрожь в руке. И думал он при этом о чем угодно, только не об Америке. Но Двойра, сидевшая с раскрытым ртом и запрокинутой головой, словно голодный птенец в гнезде, видимо, ни на минуту не забывала докторские рассуждения, услышанные во время посещения клиники. Во всяком случае, когда через день, ближе к вечеру, она смогла, наконец, заговорить сдавленным, совсем не своим голосом, первые слова, которые ей удалось извлечь из старательно обработанной трепещущим мужем глотки, были такими:

– Ру-вик, ты слышал, что он гово-рил про Ам-ерику?

Реувен, привыкший к царившей в доме тишине, будто бы сам утратил дар речи. Когда первые членораздельные звуки, выходящие за границы натужного «а-а-а», повисли в отвыкшей от голосов комнате, с трудом пробивая себе путь в широкий мир из теснин все еще припухшей гортани и, подхваченные горячим воздухом стоявшей посреди комнаты жаровни, повисли под сводчатым потолком, он совершенно не понял смысла произнесенной ею фразы. На прямо поставленный вопрос: «Рувик, ты слышал, что он говорил про Америку» он ответил бенедикцией: «Благословен Ты, врачующий всякую плоть и чудесное творящий!».

Не зря, не зря, трепеща и обливаясь то холодным, то жарким потом, совал он в ее багровое горло эту обмотанную ватой палочку с тягучей мазью, сползавшей с ватной головки в его неумелой руке, гадко капавшей на нижнюю губу и стекавшей на подбородок страдальчески разверзшей рот супруги. Не зря тыкал немеющей от напряжения и ужаса, неумелой рукою в заднюю стенку, язычок-сосочек, в правую и левую миндалину. Он сумел! Жена его, Двойра, снова заговорила!

– Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка Вселенной, врачующий всякую плоть и чудесное творящий!

– Ты меня слышишь, Рувеле?

О чем, действительно, говорил этот вероотступник? Ах, да: о том, что в Америке, якобы, все «делают жизнь», что там какой-то особый, как он выразился, «климат», которого недостает всем другим местам, даже Святой Земле...

– Амери-канский купец, который собира-ется сюда вернуться, чтобы увезти несколько человек в Ам-ерику!

– Да, помню, конечно. Для каких-то своих сомнительных гойских делишек. Что нам этот купец и что нам его Америка! Тоже мне, страна – круг жира на супе!

Но оказывается, Двойра придерживается совсем иного мнения об этой жирной стране. И она все время об этом думала, причем со всей серьезностью практически мыслящей женщины, о чем она немедленно и сообщила оторопевшему супругу.

Естественно, их мнения об этом предмете сначала полностью разошлись, подобно тому, как не раз расходились мнения наших блаженной памяти мудрецов, рабби Шамая и рабби Гиллеля. Двойра полагала, что только круглый дурак не слышит в словах «этого нечестивца» голоса самого Бога и не видит в его помазке перста Господня. Только слепой и глухой не видит, не слышит и не понимает, что только ради всего этого в Иерусалиме выпал снег и она, Двойра Вильденштейн, потеряла благоразумие и стала петь на холоде, застудила горло и потеряла голос. Это их шанс, возможно, единственный, и она полна решимости сделать все, чтобы этот шанс не упустить.

Реувен же считал, что нечего и думать ни о какой Америке, если Пресвятой, благословен Он и благословенно имя Его, судил им родиться и жить в Святой Земле, в Граде Сиона, под Святой Горою, к которой поползут под землею сухие кости усопших, лишь только протрубит рог, возвещающий конец времен. Они поползут отовсюду, из самого дальнего далека, даже из этой Америки, и путь их будет тяжел и мучителен. Но те, кому выпала несказанная удача жить у самой этой горы, первыми и без всех этих чудовищных страданий, попадут на суд Господень.

Что ж, считала Двойра, попадем мы на этот суд первыми или хоть вторыми... И для чего же попадем мы на этот Страшный Суд? Для того, чтобы одними из самых первых услышать собственными ушами горькую правду о том, что в жизни были мы несчастными дураками, не способными читать знаки, посылаемые с небес. И за эту непростительную глупость, за эту слепоту и глухоту, от которой ни у одного ученого доктора никогда не найдется лекарства, осуждены будем, если не на вечное проклятие, то уж, по крайней мере, на вечное осмеяние.

И, удивительное дело, так она была воодушевлена своим «американским прожектом», так глубоко убеждена в его богоугодности, что мало-помалу ей удалось сделать его вовсе не таким уж неприемлемым и для мужа. По мере того как, благодаря его заботам, выздоравливало ее горло и креп ее голос, она становилась все красноречивей и смогла так уме-

ло повести диспут и так настойчиво к нему возвращаться по десяти раз на дню, что не прошло и недели, как Реувен из оппонента превратился, сам того не замечая, в единомышленника, о чем и мечтать не могли рабби Шамай и рабби Гиллель вместе со всеми своими последователями.

Не стану докучать читателям всеми теми убедительными аргументами, при помощи которых мудрая Двойра изменила мнение своего праведного супруга. Скажу лишь, что материальное благополучие многочисленных отпрысков семейства Вильденштейн, которых вскоре пошлет им Пресвятой, благословен Он, играло в ее проповеди отнюдь не последнюю роль. А уж прожектов, которые, словно полновесные хлебные злаки должны были взойти золотыми колосьями на плодородной американской ниве, у нее было хоть отбавляй. Во-первых... Впрочем, автор не намерен морочить голову своим читателям американскими прожектами Двойры Вильденштейн. Достаточно с нас и иерусалимских прожектов. Они, хоть и обречены на наш сравнительно неблагоприятный для великих свершений климат и скудную каменистую почву, более потребную для всего духовного, нежели материального, они, хоть и не принесли еще никому золотых всходов, все же имеют хоть какое-то отношение ко всему происходящему в этом повествовании. А Америка находится где-то за текущей камнями рекою Самбатион. Она требует иного пера, иного автора, способного взглянуть на сие чудо природы другими глазами, более привычными к блеску золота.

Ко всей этой благодати, понимала практически мыслящая Двойра, им следует готовиться, не рассчитывая на то, что сокровище само упадет к ним в руки с небес. Она все обдумала. Прежде всего, к приезду «купца из Кентукки» им нужно научиться разговаривать с ним самостоятельно, без каких-либо посредников, без завистливых глаз и ушей. Им необходимо в кратчайший срок овладеть американским наречием.

И вот вам, пожалуйста: «Реб Гедалья, согласны ли вы стать моим учителем?»

Первый всполох просвещения следует незамедлительно. Подобно вспышке атмосферного электричества, явившейся со скоростью света из неведомых чужедальних миров, озаряет он незрелый ум ешиботника, до тех пор пребывавший в сфере древней талмудической мудрости, да и то лишь на нижних ее ярусах. Выясняется, что, приобретая один новый язык, он тем самым становится обладателем по меньшей мере двух. Вы, мои просвещенные читатели и читательницы, вероятно, давно знаете, что самым распространенным языком жителей Североамериканских Соединенных Штатов является английский, тот самый английский язык, владение которым открывает человеку прямой путь не только к золотым колосьям и широкому кругу жира на бульоне, но также и к бессмертным творениям Шекспира и прочим духовным порождениям британской нации. Вы, по всей вероятности, уже владеете, в той или иной мере, этим во всех отношениях инструментальным языком и потому прекрасно сознаете, на пороге каких великих возможностей, в виду каких широчайших перспектив вскоре окажутся скромный иерусалимский ешиботник Реувен Вильденштейн и его жена Двойра.

Еще не начинался первый урок, а Реувен уже знает, что, повернись судьба его каким-то особенно невероятным образом и окажись он вдруг, совершенно неизвестно как, скажем, на далеком австралийском континенте, среди диких черных людей и белых переселенцев, увлеченных поисками золота, а также скачущих на длинных задних конечностях животных, именуемых «кенгуру», – и там знание английского языка сослужит ему добрую службу. Так же поможет ему этот язык и в занесенных снегами далях Британской Колумбии, и в жарких равнинах Южной и Восточной Африки, и на таинственных просторах древней земли Году, и на имеющем форму арфы диковинном острове Ирландия, и еще во множестве различных географических областей.

Вот они и встречаются теперь каждый понедельник и каждую среду в доме Бухбиндеров. Гедалья сидит с Реуве-

ном за столом, и тот старательно повторяет за своим учителем:

– I do, you do, he does, she does, I have a dream, I know my duty, I must learn…[57]

Авигайль с Двойрой в то же самое время сидят в спальне, и там это вокальное упражнение повторяется почти в точности.

Так они и овладевают постепенно этим удивительным языком, встречаясь дважды в неделю. Но дома у Вильденштейнов картина меняется. Всякий раз, покинув учительский порог, Реувен отряхивается от только что приобретенных знаний, словно смахивает с себя принесенную дальним ветром пыль иных континентов – и вот он снова ничего не знает, не помнит, и совесть его чиста, и помыслы полны святых заповедей Господних. Жена его, Двойра, напротив, все дни напролет продолжает твердить про себя пройденные уроки – и когда возится с обедом, и когда подметает дом, и когда штопает мужнины носки. То и дело напевает она песенки, которым учит ее Авигайль, так весело прихлопывая ладонью в такт по кровати, что подпевают привычные ко всякой встряске пружины, и при этом не забывает в своей цензурированной версии поменять Бога на собаку, чтобы не вышло, убереги, Господи, профанации Имени:

Over here, over there, our dog is everywhere!
Up and down, far and wide in town,
East End and West End, and all around –
That's where our dog to be found.[58]

[57] *I do, you do, he does, she does, I have a dream, I know my duty, I must learn* – Я делаю, вы делаете, он делает, она делает, у меня есть мечта, я знаю свой долг, я должен научиться (*англ.*).

[58] *Over here, over there, our dog is everywhere!/ Up and down, far and wide in town, / East End and West End, and all around – / That's where our dog to be found* – Здесь, там, наша собака везде! / Вверху и внизу, вдаль и вширь по городу, / в Ист Энд и в Вест Энд, и всюду вокруг – / Вот где можно найти нашу собаку (*англ.*).

И вот нашей просвещенной Дэборе уже кажется, что она знает этот самый англо-американский язык не хуже всякого американца.

Сидят они так в одну из сред в доме Бухбиндеров, каждая пара на своем обычном месте, погруженные в простое прошедшее время, до которого столь стремительно добрались, как раздается стук в дверь. Веселый такой стук, даже, можно сказать, разудалый. Реувен пугается, делает умоляющие жесты, зажимая левой рукой рот, а правую что есть сил прижимая к отчаянно колотящемуся сердцу.

– Не волнуйтесь, Реувен! – успокаивает его Гедалья. – Мы просто болтаем по-соседски, обсуждаем последние новости и дилемму рабби Ханины. Но дома обязательно повторите урок, иначе вы забудете все, что мы с вами сегодня изучили.

И он идет открывать дверь.

А теперь, почтеннейшая публика, приготовьтесь к самому захватывающему номеру нашей программы! Подобно природе, омывшейся от праха дождем и снегом, любым доступным вам способом отряхните и очистите от пыли повседневности ваши несколько застоявшиеся чувства: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус и ту способность к возвышенно-духовному и интеллектуальному восприятию, которой наши нынешние мудрецы еще не измыслили имени! А с какой-такой стати потребовалось это внезапное освежение и обострение чувств?

На пороге дома в квартале Бейс Яаков стоит господин Карл Шперлинг, знаменитый театральный деятель из Вены. Вот-вот он войдет в наше повествование. Он прилетел с дальнего Севера, как внезапный снег на голову. И потому, любезный читатель, отныне вы уже не просто читатель, но еще и «почтеннейшая публика», можно даже сказать, в первую очередь «почтеннейшая публика» и только потом уже все остальное. Именно в связи с появлением на нашей сцене господина Шперлинга вам и потребуется то, что наши древние мудрецы, да будет их память благословенна, называли «дополнительной душою», той самой, которая, по их представлением, появляется у человека с наступ-

лением святой субботы и мирно уживается в его теле с первой, постоянной его квартиранткой.

Господин Карл Шперлинг – натура бурная и искрометная. Он всегда приносит с собою целый ворох новых идей, неожиданных событий, негаданных проблем и их парадоксальных разрешений. Мы сказали: «господин Карл Шперлинг из Вены», но могли бы сказать с тем же успехом: «господин Карл Шперлинг из Бухареста» или «господин Карл Шперлинг из Варшавы», потому что сей неостановимый, как ртуть, театральный деятель, похоже, наделен способностью пребывать одновременно в нескольких местах, вопреки птичьей своей фамилии[59], нигде не оседая и нигде не свивая долговечного гнезда. Сегодня он свалился нам на голову из Вены, завтра явится из Кишинева. Конечно, никому не придет в голову сказать: «господин Карл Шперлинг из Иерусалима». (Во всяком случае, доколе не пришел Помазанник и братья наши склонны и дома, и на сцене, одеваться в черное и, для пущей скорби, съедать перед началом поста крутое яйцо.) Но «господин Карл Шперлинг из Яффы» звучит уже не так абсурдно. Так что для нас, сидящих в Иерусалиме и ждущих, когда господин Карл Шперлинг, сошедший с парохода в Яффе и уже успевший добраться до Святого Града, войдет в эту дверь и в этот роман, его явление произойдет стремительно и вполне безболезненно. У этого господина в голове не меньше прожектов, чем у любого из наших соседей, так что есть надежда, что, невзирая на различия в миросозерцании, некий общий язык между ними все же будет найден.

А чего же ищет театральный деятель в нашем благословенном городе, где до сих пор не только нет ни одного театра, но и само это слово вызывает острое негодование большинства его праведных жителей? Прослышал он о том, что живет в Иерусалиме некто Гедалья Бухбиндер и переводит на язык Эвера «Мандрагору», сочинение Никколо Макиавелли. И тут же взмахнул крылышками и – раз-два

---

[59] *Шперлинг* (Sperling) – воробей (*нем.*).

– перелетел через Средиземное море, чтобы посмотреть, «с чем это едят».

Карл Шперлинг делает еврейский театр для еврейской публики. Он делает его из всего, что под руку попадется: из Священной истории, из Мольера с Шекспиром, из местечкового анекдота. Он может сделать еврейский театр по-немецки, по-еврейски, по-русски и даже по-древнееврейски. Вы спросите, каков результат? Ну что ж, автор обязан признать, что результат пока что не особенно впечатляет. Можно даже сказать, что нееврейский театр, где-то там, за пределами стремительных перелетов Карла Шперлинга, порой бывает значительно лучше. Но разве это имеет такое уж большое значение? А что будет, если автор сообщит вам, что и в еврейском театре порой случались удачи, превосходившие достижения этого господина? Неужели он тут же перестанет вас интересовать? Это было бы несправедливо и крайне нежелательно. Поэтому ни слова более об артистических достижениях Шперлинга. Лучше обратимся к нему самому как к личности незаурядной.

На что похож Карл Шперлинг? Тут уж, пред этим справедливым вопросом читателя, ставшего еще и зрителем, автор вынужден серьезно задуматься, ибо нелегко описать Карла Шперлинга. Дело в том, что физиономия его как будто бы не имеет постоянной формы, словно она сделана из вошедшего в последнее время в моду каучука. Не только выражение его лица меняется беспрестанно, но даже и сами черты оного, такие, казалось бы, фундаментальные природные феномены, как нос, рот, глаза или уши, вряд ли произведут на вас одинаковое впечатление, если вы возьметесь анализировать их, последовательно рассматривая и оценивая их размеры и конфигурацию, в течение, скажем, часа или даже получаса. Нос его, вначале показавшийся длинным и прямым, несколько островатым, вдруг, под влиянием перемены гримасы, сократится и образует явственную горбинку над пухлыми губами круглого рта, еще совсем недавно видевшегося вам чрезвычайно широким и прихотливо изогнутым по краям. То верхняя, то нижняя губа предстанет пред вами слегка выдающейся вперед, тонкой ли, тол-

стой или же средненькой, ни то, ни се – предсказать невозможно. Уши, впрочем, у него вполне обычные, но иногда имеют свойство оттопыриваться и тогда уж всякому покажутся большими, чрезмерно большими и, вдобавок, какой-то очень странной формы. Подбородка то почти что и вовсе нет, то он округлый, двойной, тройной, а бывает, когда Шперлинг особенно вдохновится какой-то идеей и наберется героического духу – подбородок этот тоже сделается волевым, подобным тем подбородкам, которыми по праву гордится англо-саксонская раса. Одно можно сказать с полной уверенностью: Карл Шперлинг абсолютно лыс. Но об этом отнюдь не каждый узнает немедленно, с первого взгляда, поскольку этот театральный деятель имеет в своей коллекции добрую дюжину различных париков, которые меняет по нескольку раз на дню.

И вот он стоит на пороге дома Бухбиндеров в квартале Бейс Яаков. На плечах его романтическая черная пелерина, какие вне театральных подмостков носили не менее полувека назад стареющие русские романтики и итальянские деятели Risorgimento[60], на голове – самый кудрявый из его париков, прихваченный у лирического тенора, исполнявшего партию Владимира Ленского в опере Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин», на устах – чарующая улыбзка.

– Мосье Бухбиндер? Я к вам писал из Вены! Карл Шперлинг, он же, если вам угодно, Калев Бен Дрор. Не ждали? Признавайтесь! А я вот так явился ненароком, как призрак командора, ха-ха-ха! Вы испугались? Ха-ха-ха-ха-ха! Со мною, говорят, и вправду шутки плохи. А у вас, я вижу, гости...

В манере господина Шперлинга (он же, если вам угодно, Калев Бен Дрор) столько ажитации и речь его, свободно льющаяся на превосходном жаргоне с вкраплением различных иностранных слов, столь лихо складывается в некую ритмическую декламацию, что находящиеся в его обществе

---

[60] *Risorgimento* – Рисорджименто, итальянское национально-освободительное движение (*ит.*).

поневоле втягиваются в этот его необычный тон и сами порой начинают отвечать ему в том же сценическом ключе. То вам хочется крикнуть ему: «Браво! Encore!»[61], то зааплодировать, то освистать его, а то, при особенно несносных его выходках, забросать его тухлыми яйцами и опустить перед самым его носом как можно более плотный занавес, лучше всего – железный, используемый в некоторых богатых театрах против пожаров.

Впрочем, сейчас он производит на хозяина дома самое превосходное впечатление. Из спальни выходит Авигайль, и Двойра, спрятавшаяся за ее спиной, с любопытством изучает столь необычную для Иерусалима фигуру, продолжая механически повторять: «My father was a baker, he sold his bread for farthing apiece…»[62]

– Уже репетируете? – Гость в восхищении. – Unglaublich! Unwahrscheinlich! Prima![63]

– Авигайль, моя жена. Это господин Шперлинг.

– Бен Дрор, если вы позволите!

Шперлинг, он же Бен Дрор, кланяется. Кажется, он даже поцеловал хозяйке ручку, шаркнул ножкой, состроил глазки, хотя, на самом деле, ничего этого он все-таки не сделал. Именно так – ничего подобного он не делает, однако соответствующее впечатление на всех производит. Откуда взялось это странное впечатление? Бог весть! Поди разберись с господином Карлом Шперлингом. И уж совсем непонятно, каким образом возникает у всего общества мимолетная, но почти осязаемая иллюзия, словно одновременно с этим театральный деятель еще и умудрился ущипнуть за левую щечку находившуюся за спиною хозяйки Двойру. Ведь этого уж и вовсе никак быть не могло. Да что там «быть не могло», если все присутствующие одновременно могут поклясться, что ничего такого не было, но, вместе с тем, не

---

[61] *Encore*! – Бис! (*фр*.).

[62] My *father was a baker, he sold his bread for farthing apiece* – Мой отец был пекарем, он продавал свой хлеб по грошу за штуку (*англ*.).

[63] *Unglaublich! Unwahrscheinlich! Prima!* – Немыслимо! Невероятно! Превосходно! (*нем*.).

станут отрицать, что оно как будто бы и было. И при том сама якобы ущемленная на расстоянии чувствует нечто этакое на своей немедленно покрасневшей левой щеке. А Реувен ощущает все это настолько сильно, что, не будучи еще даже представленным, уже раскрывает рот, чтобы сказать наглому гостю что-нибудь уничижительное. Впрочем, что именно он собирается сказать, Реувен не знает, и оттого, открывши рот, произносит после недолгого молчания:

– My father was a…

И, второпях простившись, уходит, крепко держа супругу за руку.

Несомненно, что-то весьма таинственное есть в господине Карле Шперлинге. Ведь неспроста же Альбрехт, впервые увидев его на следующий день, прогуливающимся в компании Гедальи Бухбиндера, сразу же закричал:

– Тяните, тяните мандрагору!

Два приложения

Письмо, выданное госпоже Рашели Гойзман в собственные руки в австрийском императорском почтовом отделении

Писано в Варшаве, в новолуние тевета 5645 года

Что лилия между тернами, то возлюбленная моя между девами!

Рашель моя, голубица моя!

Только о тебе и думаю и чувствую себя в изгнании Вавилонском, хотя занят с утра до вечера и дела идут совсем неплохо. Но не буду тебя утомлять описаниями моих коммерческих встреч. Знаю, что тебе это не интересно. А интересно будет тебе узнать, что перьев здесь, в Варшаве, как и в Вильне, желают приобрести даже больше, чем я могу в ближайшее время обязаться (и крашеных, и à naturel[64]), не говоря уж о том, что все привезенные с собой я распродал сразу же!!! Так что вернусь с хорошими деньгами и с задачами на будущее. Рад слышать, что в колонии все благополучно и что Довчик удачно справляется со страусами.

Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви!

Не могу ни о чем думать, кроме тебя, голубица моя! Холода тут страшные, и я один в своем плохо отопленном номере, совсем один в ледяной своей постели. А ты-то как там одна, без меня? Страшно подумать!

Мысленно лобзаю тебя лобзанием уст моих!

Любящий тебя страстно,
твой Арье Лейб.

Дядюшка передает тебе и всем нашим колонистам и соседям в квартале свои приветствия и благословения.

---

[64] *Á naturel* – в натуральном виде (*фр.*).

Письмо без подписи, найденное Рашелью на следующий день поутру, подсунутым под дверь

Вот я и нашел тебя снова, любовь моя! Ты, верно, думала, что все позади? Что все забыто и зачеркнуто? Ничуть не бывало! Я вернусь за тобою с того света, с которого еще никто не возвращался. Жди меня!

VII

Глава, в которой сливки иерусалимского общества пускаются в пляс

– Послушай, Ави: виконт N заключил пари, что сможет проесть за один обед 500 франков! – сообщает жене Гедалья Бухбиндер, отрываясь от чтения недавно попавшей к нему в руки французской книжки. – Вот что он заказал и сожрал в ресторане: две дюжины остендских устриц с бутылкой вина, какую-то рыбу из Женевского озера, целого фазана, начиненного трюфелями, десяток жареных певчих птичек, суп из ласточкиных гнезд, омара, да еще бифштекс с картофелем. И это не считая спаржи, горошка и ананаса! И, вообрази: еще двух бутылок какого-то вина, кофе и ликера! При этом он не лопнул и готов был продолжать.

– Надеюсь, ты не очень голоден, – рассеянно отвечает Авигайль.

– Да нет, просто увлекся этой экзотикой...

– Ничего, завтра «у девочек» уж точно будут угощать чем-нибудь вкусным. Эти твои Наси смогут, наконец, утешить тебя, сподобившегося самой бездарной на свете жены, какую только знала кухня. Кстати, а почему бы тебе не написать фельетон о том, чем потчевали на балу у госпожи Фортуны? Читатели этим не избалованы, а интересно-то как! Я уверена, приверженцы «Лилии» будут втайне зачитываться «Оленем».

Тут на автора снисходит озарение. Герои его, вольно или невольно, но в любом случае совершенно недвусмысленно, указывают ему на то, что не один лишь Дюма-отец, но и великое множество иных истинно любимых народами мира писателей знали лучше таблицы умножения и молитвы «Отче наш»: книга, в которой гастрономической стороне бытия не уделено достаточно внимания и любви, имеет очень мало шансов на благодарную память потомков. Ведь

как обстоит дело у всех известных нам народов? Если даже на какой-то миг некая «постная» книга захватит пылкие умы экзальтированной молодежи, алчущей пищи духовной, высоким полетом мысли или остро поставленной проблемой, смелым обнажением общественных язв или глубиною погружения в природу человеческого страдания, описанием тайных и явных помыслов рвущейся к равноправию души женской или утопическими картинами справедливого мироустройства будущего, то пройдет совсем небольшой срок – год, пара месяцев, а то и вовсе неделя – и те же самые читатели, бросившие тем временем эту неординарную книгу на середине (ибо «постные» книги далее, чем до середины никто не дочитывает), обратят на нее, заложенную театральным билетом или просто брошенную раскрытой страницами вниз, равнодушный взгляд свой и, тяжело вздохнув, уберут на полку, засунув как можно дальше, желательно во второй ряд, куда-нибудь между сочинениями мистера Карлайла и мистера Маколея, чтобы никогда уже к ней более не возвращаться. (Если же моим читателям понятнее и ближе вчерашние русские студенты-нигилисты, то они могут в своем воображении вместо томиков этих англичан представить себе хоть сочинения господ Чернышевского и Писарева.) А после того, улыбаясь в предвкушении ожидающего их удовольствия, возьмутся, скажем, за трижды уже читанные «Мертвые души» Николая Гоголя, да не ради призраков великих идей, а исключительно ради пресного пирога с яйцом, огромного куска редкого блюда, именуемого «няней», кулебяки на четыре угла и прочих разносолов.

Так обстоит дело с литературой у народов мира. Еврейские же писатели, кажется, до сих пор заблуждаются, почитая пищу материей, имеющей более отношения к сложным дефинициям кошерности, столь тщательно разработанным нашими мудрецами, нежели к искусству художественного слова. Им, возможно, кажется, что мудрецы исчерпали или, что едва ли не хуже того – иссушили для своих единоверцев тему, которая у всех прочих наций остается полноводным источником литературного вдохновения. И

вот теперь Гедалья и Авигайль Бухбиндер недвусмысленно заявляют: нет, это не так! Еврейские читатели изголодались по вкусной еде не менее, чем все прочие, они хотят не только есть, выкушать, снедать, снимать пробу, смаковать и иногда даже, не про нас будь сказано, лопать, но и читать обо всем этом в ярких живых описаниях своих современников и соплеменников. Что ж, автор это вполне осознал и очень благодарен своим персонажам за их тонкий намек. Еще немного терпения, дорогие читатели и персонажи!

Но что это за «бал у девочек», о котором говорит Авигайль? Кто такие «эти твои Наси» и при чем тут госпожа Фортуна? Неужели языческие боги и богини Рима снова овладели Elia Capitolina[65]?

Нет, конечно, ничего подобного. Просто вернувшееся в Иерусалим еврейское семейство Наси приносит с собою некоторые новшества. Из их дома, выстроенного на Задней дороге, вблизи русского православного подворья, световые волны просвещения распространяются по всему городу, двигаясь в его эфире неравномерно, но непрестанно и последовательно – движение, физическими аспектами которого так озабочены в последние годы господа Максвелл, Эйри и Майкельсон.

Семейство это в иерусалимской галактике, где светил различной яркости не счесть и разнообразие несомого ими света, от нестерпимого сияния Святой Торы до кротких огоньков языкознания, не исчислить, подарило городу три звезды. Покинувшие Иерусалим из-за бедственного положения во время Крымской войны, Наси вернулись с высоко поднятой головою. Господин Нисим Наси, доверенное лицо французской ветви Ротшильдов, получил от Alliance Israélite Universelle[66] назначение директором в новую школу для мальчиков «Тора и ремесло». Он прибыл в город с незамужней

---

[65] *Elia Capitolina* – Элиа Капитолина, языческий город, выстроенный римлянами на развалинах Иерусалима (*лат.*).

[66] *Alliance Israélite Universelle* – Всемирный еврейский союз, международная еврейская организация, основанная в 1860 году Адольфом Кремье.

младшей сестрою Кондессой, а нынешней же осенью к ним присоединилась и старшая сестра – госпожа Фортуна, по ходатайству брата назначенная директрисой школы для девочек, которую нам еще предстоит посетить.

А какая связь между этим учебным заведением, балом и деликатесами, на которые намекает Авигайль?

Доктора из больницы Меира Ротшильда, прежде управлявшие школой, понимали в образовании девочек еще менее, нежели в женских болезнях, и почитали главной своей педагогической задачей выдачу немногочисленным юным воспитанницам – дщерям достойнейших сефардских семей – полдника, состоявшего из кусочка серого хлеба и стакана слабого, но довольно сладкого чаю.

Госпожа Фортуна взяла школу в свои решительные руки, словно быка за рога. Первым делом, школа переместилась из Старого Города во второй этаж семейного особняка на Задней дороге. Пространство просвещения тем самым настолько расширилось, что вместо одного «отделения» для всех возрастов возникло сразу три. К ним добавилась и просторнейшая зала, пригодная для самых многочисленных собраний. Все еврейские семейства города, без различия общины и подданства, получили специальное послание, призывавшее их присылать своих дочерей для обучения основам Священного Писания, светских наук, древнееврейскому и французскому языкам, рукоделию, музыке и хорошим манерам. И, хотя абсолютное большинство получивших это письмо выбросило его, предварительно оплевав и изорвав на мелкие кусочки, тактика Госпожи Фортуны себя оправдала: к зиме все три «отделения» оказались заполнены.

Это произвело столь сильное впечатление на самого барона, что тут же, с телеграфной скоростью, было принято решение и объявлено о строительстве там же, на Задней дороге, новой больницы. И вот уже богатые господа из соседних особняков – Фрутигеры да Шпитлеры – недовольны якобы невыносимым для их ушей шумом от тесания камней и прочей еврейской строительной суеты. Уже и сейчас язык не поворачивается называть эту дорогу «задней», словно речь идет о каком-то проселке, но если дело пойдет так

и далее, то она вскоре может совершенно затмить Яффскую своими богатыми особняками.

Собственная жизнь столь успешной школьной директрисы – загадка для всех, не исключая ее собственную кровь и плоть. Фортуна Наси так и не вышла замуж. Была, поговаривают, какая-то романтическая история, в которой фигурировал некто, безвременно скончавшийся от чахотки. Впрочем, все это не подтверждено никакими доказательствами. Ни одна из внешних или внутренних черт госпожи Фортуны не соответствует карикатурному или вызывающему сочувствие образу старой девы, к которому, с легкой руки поверхностных литераторов, привыкли наши читатели.

Младшая сестра ее считает, что Фортуне непременно следует выйти замуж, быть счастливой и родить сынов и дочерей. Иногда она ей прямо заявляет:

– Послушай, Фортуна, милая! Тебе всего-то 35 лет. Разве это много? Подумай, в каком возрасте праматерь наша Сарра вызывала вожделение царей и когда у нее родился сын!

А в другой раз:

– Подумай, Фортуна, дорогая! Тебе уже 35 лет. Разве этого возраста недостаточно, чтобы сделать, наконец, свой выбор? Еще немного – будет уже поздно!

При этих разговорах глаза старшей сестры подергиваются какой-то пеленой и делаются совсем непроницаемыми – не грустными, не сердитыми, не мечтательными или рассеянными, а просто непроницаемыми ни для какого вторжения извне, словно старое зеркало в сумраке комнаты, занавешенной тяжелыми шторами. И никто, даже любящая и любимая сестра, не знает, что в душе у Фортуны и что у нее в голове.

– А ты, малышка Кондесса, ты пойдешь замуж за младшего Навона или за одного из Валеро? – спрашивает она так, словно эти отпрыски иерусалимских богачей давно уже у ног сестры, и той остается только выбрать самого прекрасного из них. А ирония, сквозящая в этом, якобы наивном, вопросе, свидетельствует о том, что резкий отрицательный ответ не вызывает у нее ни тени сомнения.

Госпожа Фортуна и барышня Кондесса всеми силами стараются, если и не затмевать, то уж, по крайней мере, дополнять светозарные деяния славного брата мягким светом своих возвышенных трудов, и между троими Наси даже возникла некоторая благородная конкуренция. Когда господин Нисим пригласил преподавать в свою школу Элиезера Бен-Йегуду, Кондесса пригласила госпожу Двору Бен-Йегуду бывать у нее каждую среду, а Фортуна пригласила ее преподавать в своей школе вязание и вышивание гладью и крестиком. Увы, от этой чести первая ивритская мать, хоть и остро нуждавшаяся в заработке, но совсем не владевшая французским языком, вынуждена была с великим сожалением отказаться.

Или, к примеру, вот эта французская книга, с которой началась наша глава. Господин Нисим, вообще очень любивший раздаривать привозимые из-за границы книги, как-то вручил своему «дорогому другу», в каковую категорию у него попадали все те, с кем ему доводилось встретиться более одного раза, новый французский роман «Jocaste»[67] – вялое творение некоего Анатоля Франса. Дело происходило в доме Наси, на приеме, устроенном для сотрудников «Оленя». Присутствовавшая при этой оказии Кондесса тут же ненадолго удалилась к себе, вернулась с тремя томиками «Виконта де Бражелона» Дюма-отца и вручила их Гедалье с милой улыбкой и сердечным напутствием:

– Еще не родился во Франции автор, способный затмить старого мастера. Возьмите на память эту жемчужину исторической прозы и перечтите на досуге.

На этом же soirée[68] было между прочим объявлено, что в самое ближайшее время будет опробовано начинание вовсе из ряда вон выходящее: танцевальные вечера для «сливок» иерусалимского общества – иудеев, христиан и магометан. «Сливки» в прогрессивном сознании семейства Наси представляют собой весьма неожиданную смесь иностранных консулов, банкиров, государственных чиновников,

---

[67] *«Jocaste»* – «Иокаста» (*фр*.).
[68] *Soirée* – вечеринка (*фр*.).

заезжих знаменитостей, педагогов и представителей той артистической среды, которую, с легкой руки Анри Мюрже, стало принято именовать «Bohème»[69]. У нас эта эфемерная среда существует более в либеральном воображении госпожи Фортуны, нежели в действительности, но эта самая Bohème представляется ей столь важным элементом в составе «сливок», что ни о каких сомнениях тут и речи быть не может. Называть эти приемы «балами» было бы, конечно, преувеличением, однако в их программу, действительно, предполагалось включить самые настоящие бальные танцы, «что бы ни сказали наши враги».

Обе полученные Гедальей книги не доставили ему ни малейшего удовольствия. Душевные муки Элен Авелан, урожденной де Сисак, в особняке на бульваре Ла Тур-Мобур оставили его совершенно равнодушным. Да и длиннейшая история гибели любимого Исаака де Порто только раздражила, и он отложил безрадостный роман, не имея представления о том, что во многом далекому от совершенства, но от того не менее обаятельному толстяку еще предстоит внезапно воскреснуть для грядущих поколений, чтобы открыть тайну своего темного происхождения.[70]

Но уже на следующий день посыльный принес Бухбиндерам на дом, вместе с приглашением на танцевальный вечер, «Историю моих животных» – живо написанный мемуар Дюма, в котором люди занимали не меньше места, чем звери. Отправительница, госпожа Фортуна Наси, не поскупилась на дарственную надпись, гласившую: «*Mon ami, je l'espère, voici ce que vous souhaite. Votre fortune*»[71]. Да-да, именно так, со строчной буквы, она и подписалась.

---

[69] *Bohème* – богема (*фр*.).

[70] Тут автор позволил себе намекнуть читателю на долго остававшийся неизвестным роман Александра Дюма-отца «Блудный сын или пять лет спустя», отрывок из которого он опубликовал в своей книге «Черновики Иерусалима».

[71] *Mon ami, je l'espère, voici ce que vous souhaite. Votre fortune* – Друг мой, я надеюсь, что это то, чего вы хотите. Ваша удача (*фр*.).

– Эта твоя фортуна что-то много себе позволяет, – замечает Авигайль, когда Гедалья показывает и разъясняет ей памятную надпись.

– Шутки фортуны смолкают пред зовом судьбы, – смеется Гедалья, целуя грозящий ему пальчик.

Автору и самому по многим причинам не терпится скорее отправиться на первый иерусалимский бал – явление настолько невиданное, что многие из приглашенных даже не осознают всю исключительность надвигающегося события. Ведь большинство, сказать по правде, даже не представляет себе, что это, собственно, такое и чего можно ожидать. Исключение составляют, разве что, господа консулы с супругами.

Между нами говоря, даже такая светская особа, как мадам Рашель Гойзман, за всю свою жизнь по-настоящему танцевала с кавалерами только однажды, на собственной свадьбе в Яффе. И, как назло, почти во всех танцах кавалером был ее собственный жених, умевший танцевать чуть лучше цыганского медведя. На один танец, правда, ее пригласил сам учитель танцевальной школы, и они уж показали всем истинный класс, но Люля так взревновал, что больше не отпускал ее от себя ни на минуту. В Париже, на балу, устроенном в честь завершения их «курсов», jeunes femmes israéliennes[72], в течение года с успехом обучавшиеся, по воле барона и мосье Элиягу Шайда, не только французскому языку, фортепианной игре и светским манерам, но также и танцам, вальсировали, держа в объятиях одна другую, ибо вторая madame la patronnesse,[73] сменившая первую к концу сезона, совместных танцев не одобряла. А если бы и одобряла, то ничего путного из этого бала все равно бы не вышло: приглашенные «галантные кавалеры» – деревенщины из Рош-Пины, обучавшиеся у французских агрономов сельскохозяйственной премудрости, в танцах разбирались не лучше, чем их «волынские» папаши. Так что, услышав

[72] *Jeunes femmes israéliennes* – молодые еврейские женщины (*фр.*).

[73] *Madame la patronnesse* – госпожа наставница (*фр.*).

от Авигайли о готовящемся приеме в Школе для девочек, Рашель пребывала в необычайном волнении.

Прежде всего, совершенно необходимо было каким-то образом получить приглашение на этот вечер. А ее, как назло, еще не представили ни госпоже Фортуне, ни даже госпоже Кондессе. Кто она для них? Какая-то никому не известная страусиная жена. Предположим, что среди колонистов ее «парижское прошлое» что-нибудь да значит. Предположим даже, что и в Иерусалиме дам с подобным воспитанием можно по пальцам перечесть, особенно в среде «туземцев» – евреек и мусульманок. Да, она образована, молода и отнюдь не дурнушка. Если действительно дойдет дело до вальса или польки, то краснеть ей не придется, лишь бы нашелся настоящий партнер – и девочкам госпожи Фортуны будет с кого брать пример. В искусстве ведения беседы она также имеет некоторый опыт. Но ведь Cendrillon[74], чтобы попасть на дворцовый бал, понадобилась помощь феи-покровительницы, а она, Рашель, такой доброй феи лишена. Конечно, еще месяц-другой, и она войдет в высший иерусалимский свет, это inévitablement[75], она не сомневается – найдутся десятки оказий быть представленной самым выдающимся людям, чтобы потом отовсюду слышать: «бывайте у нас запросто!» Но ведь этот бал уже на днях, а вовсе не через месяц-другой. А повторится ли он еще – никто сказать не может. Того и жди, налетят небритые и немытые блюстители нравственной чистоты, натрясут бородищами всяких insinuations[76], ославят все начинание «языческим цирком», проклянут устроителей и участников – и поминай, как звали... Ах, отчего нет у нее волшебной покровительницы!

Ан, есть! Есть такая совершенно сказочная, невероятная, добрейшая заступница, фея, сущий ангел!

– А что такого, Рашель? – Как ни в чем не бывало, отзывается Авигайль на горестное излияние страдающей души

---

[74] *Cendrillon* – Золушка (*фр.*).
[75] *Inévitablement* – неминуемо (*фр.*).
[76] *Insinuations* – инсинуации (*фр.*).

накануне бала. – У нас же есть два приглашения. Значит, Гедалька отведет тебя под ручку, представит и отрекомендует, как полагается.

– Нет, нет, Аби! Ты не должна жертвовать ради меня таким событием! Это так нельзя... То есть, я хотела сказать: так не делают!

– А мы как раз и сделаем! – смеется Авигайль. – Зря, что ли, нас обвиняют в небрежении священными традициями. Тебя это позабавит, а у меня только голова разболелась бы от всего этого шума. Танцевать я не умею, так что мне там скука смертная обеспечена. Что я, консулов не видела...

Рашель, эта хладнокровная fille raisonnable[77], заливается слезами и кидается обнимать сказочную свою покровительницу.

Присутствующий при этой сцене Гедалья молчит и усмехается. Он не сомневается, что Авигайль найдет, чем себя занять на этом приеме. Он даже уверен в том, что она уже представляла себе, как ловит обращенные на нее взгляды, то пристальные, то скользящие, как «фотографирует» особенно живописные сцены. Часто ли случаются в их жизни подобные светские развлечения! И, в конце концов, даже если все свои замечания по поводу новой статьи Бен-Иегуды можно высказать ему и при иных обстоятельствах, насколько интереснее это сделать в присутствии Нисима Наси и его сестер! Но у нее железная воля, которой могла бы позавидовать Мэри Шелли, сказавшая: «Я желала бы, чтобы женщины властвовали не над мужчинами, но над самими собой». Теперь, решив осчастливить эту глупенькую Рашель, она и виду никому не подаст, что о чем-то жалеет, что тут вообще есть о чем жалеть. Она ни за что не допустит, чтобы ее считали не только жертвенной, но и даже просто излишне добросердечной или, не приведи Господи, высокоморальной. «Мораль – это для мошенников, а мы, надеюсь, и без нее люди как люди» – вот одна из ее любимых присказок. С тех пор, как она покинула дом Киршен-

[77] *Fille raisonnable* – умница (*фр.*).

баумов – неприступный оплот морали – Авигайль не выносит даже намека на ту отрасль мысли, которую философы именуют «этикой». Нет, он понимает: просто ей так захотелось. Сразу разглядела, несмотря на свою близорукость, что эта смешная Рашель ни о чем другом думать не может, и, не задумываясь ни на минуту, решила ее осчастливить. Какая уж тут мораль! Мораль бы требовала, как раз, принять во внимание все отрицательные стороны суетного и тщеславного стремления молодой замужней женщины во что бы то ни стало попасть на бал, красоваться на нем, танцевать с посторонними мужчинами и кружить им головы, болтать светскую чепуху, набивать рот сластями и кто знает, что еще. А потому, истинно моральное существо ни за что бы не стало помогать Рашели в осуществлении этого весьма предосудительного плана.

А какой из этого вывод? А такой, что, даже если бы он ослеп и никогда уже не смог бы видеть сказочную красоту своей подруги, даже если бы он совершенно утратил все чувства, которыми сегодня связан с миром – не слышал бы ее чудного голоса, не ощущал бы ее мягкого тепла, не замечал бы ни с чем не сравнимого вкуса ее губ, не различал бы утренний и вечерний запах ее кожи, то и тогда, абсолютно тупой и бесчувственный ко всему, он оставался бы переполнен одним-единственным чувством: любовью к ней. И ему, право, абсолютно все равно, что это за род любви: эрос, агапэ, филия, сторге или людус.

Человеческий род склонен к бесконечному делению. Отсюда этот патологический страх бесплодия, маниакальное стремление к производству себе подобных. Видимо, ничего уж тут не поделаешь: с тех пор как Всевышний разделил человека на две половинки, процесс стал неостановимым. Или это произошло еще раньше, когда Он отделил себя от вселенной, и во внезапно образовавшиеся за пределами былого единства просторы пространства и времени резво устремились все эти множащиеся на лету мириады миров? Плодиться и размножаться стало для всего живого делом чести. Но ведь происходящее в так называемом «физическом» мире не может не сказаться немедленно и в

мире идей. И вот уже съеден плод с древа познания добра и зла. Обратите внимание, внимательные мои читатели: что съедено? Вот именно: плод – сама сущность плодящегося мира. Наши мудрецы и мыслители других народов немало рассуждали о добре и зле, но почему ни один из них не обратил внимания на плод? За первым разделом – на Творца и творение, создавшим пространство, последовал второй – на свет и тьму, породивший время, затем, с неизбежностью процесса, уже вышедшего из-под контроля, стали, все ускоряясь, разделяться воды, возникать море и суша, и вот уже в двенадцатом стихе первой из ставших вскоре бесчисленными книг миру явился плод. И когда разделенный на мужа и жену человек съел самый зловредный из плодов, миру явился самый порочный из разделов – раздел на добро и зло.

Мы привыкли все, что ни встретится нам на пути, делить и тут же противопоставлять одну половину делимого другой. Повторяя «Господь един», мы, как ни верти, уже не мыслим себя без плюса и минуса, без добра и зла, без жизни и смерти, без бытия и небытия, без черного и белого, без горя и радости, без богатства и бедности, без гордости и смирения, без внешнего и внутреннего, без длинного и короткого, без сытого и голодного, без сна и яви... Это перечисление противопоставлений можно продолжать бесконечно. Мы, дамы и господа, вместе со всем оторвавшимся от Творца творением, подпали под действие галлюцинации колоссальной силы, именуемой двойственностью. Мы совершенно потеряны и, иногда еще сознавая, сколь ужасно такое разделенное существование, тем не менее, не видим из него выхода.

Почему эти мандрагоры начинают брать едва ли не над всеми у нас такую власть? Не является ли это ставшее столь заразительным влечение к таинственному растению проявлением неосознанного поиска того древа жизни, плодов которого лишили род человеческий? Алчем, так сказать, антидота... Разве же тут в деторождении дело? Что бы ни имел в виду реб Довид Фридляндер, затевая свою мандрагоровую антрепризу, она пробудила совсем иные, вовсе не

предвиденные им стихии. Повсюду проснулась в человеках великая жажда любви. Это, дамы и господа, единственная надежда: «и будут одна плоть». Вот ведь, казалось бы, какая абстрактная сущность, почти иллюзия, а отнимите у нас эту последнюю надежду – и мир вернется в хаос.

Причем же тут эти каверзные корешки? Какая связь между сомнительной прикладной наукой, какими-то влияниями неких растительных веществ на функции неких желез и совершенно никому не понятным чувством, которое одно только и совмещает в себе все противоположности: светлое и темное, восторг и отчаяние, жизнь и смерть, огонь и воду? Вот спросить бы у мудрейшего из мудрецов и у глупейшего из дураков – у таинственного автора трех никем не понятых свитков...

– Ну-с, сударыни, – говорит Гедалья, словно ни в чем не бывало, – пожалейте обе мои рученьки, потому что на обеих предстоит повиснуть по прекрасной даме. И не совестно вам было думать, госпожа Гойзман, что я не замолвил за вас словечко? Куда же это я засунул ваше приглашение...

Он нарочито долго роется в бумагах на столе и даже выворачивает карманы брюк.

– Ага! Вот оно, вложено в «Мандрагору» – верно, Кашпарек нашкодил. Извольте расписаться!

– И ты молчал... целый день? – Авигайль смотрит на него с притворным ужасом. – Гедалька, ты чудовище!

– Нет, нет! Он самый-самый-самый прекрасный...

– Красавица, – подсказывает тот. – Вернее, La Belle et la Bête[78] в одном лице.

– А у тебя найдется, что надеть? – спрашивает Авигайль.

– Это ты обо мне? – интересуется Гедалья. – Все зависит от того, какую мою ипостась желательно продемонстрировать обществу. Ежели красавицу...

– Да уж! Нет, это я не о тебе. Вечно ты дурачишься! Не обращай внимания, Рашель!

---

[78] *La Belle et la Bête* – Красавица и Чудовище (*фр.*).

– Надеть? Да, надеть… Найдется, – Cendrillon, еще не вполне оправившаяся от потрясения, вовсе не уверена, что ее лучшее платье, на которое, выезжая из «двери надежды» своей, она возлагала столько упований, действительно способно поразить воображение «сливок общества». – Конечно, это парижское платье, хоть и не самое новейшее. Но, знаешь, я, во всяком случае, ничуть не растолстела за последний год. Это уже хорошо. Ни капельки не растолстела. А ведь мне уже двадцать два года! Двадцать два, подумай только! И потом, этот веер из белых и палевых страусовых перьев – свадебный подарок Люли. Такого тут, наверное, ни у кого нет. Туфельки простоваты, но зато они легкие и, к тому же, я к ним привыкла, так что они не начнут во время вальса сваливаться у меня с ног, словно хрустальные башмачки. Мне их сшили у Поклена, на rue Réaumur[79], на двадцать первый год рождения. Представь себе – больше года назад, а нога ничуть не растолстела! Раньше я боялась, что после замужества превращусь в бочку, представляешь себе? А двадцать два года казались мне таким ужасом! Ой, я ни о чем не думаю! Прости, Абѝ, умоляю! Я не хотела тебя обидеть! Тебе-то двадцать два года, верно, кажутся далеким прошлым…

И надо же такому случиться, что особенно тяжелая головная боль уже с полудня уложила Авигайль в постель!

– В конце концов, – говорит она под вечер еще продолжающему надеяться на лучшее мужу, – я сама это накликала, так что соболезнования не принимаются. И не вздумай, пожалуйста, ничего выдумывать…

– Может быть, мы просто тихо-тихо полежим рядом в темноте…

– Размечтался! Немедленно одевайся и иди за Рашелью, иначе вы опоздаете.

– Ну что я там буду делать без тебя? Рыдать на глазах у публики?

– Представлять Рашель консулам и сплетничать. Иди, иди, не выдумывай! Я буду в полном порядке.

[79] *Rue Réaumur* – улица Реомюр (*фр*.).

Ну, раз так, не буду больше томить ожиданием своих долготерпеливых читательниц и читателей. Скорее на бал! По парадной лестнице поднимаемся на второй этаж роскошного дома Наси.

Музыка еще не играет, но музыканты – успевший неплохо сыграться квартет, в котором вместе с двумя еврейскими скрипачами и флейтистом из немецкой колонии выступает присланный от самого паши барабанщик с такими усищами, что ими можно было бы колотить в тугое барабанное брюхо не хуже, чем специальной палкой – уже здесь.

Гедалья подводит Рашель к госпоже Фортуне.

– Je suis heureux de vous rencontrer![80] Но что случилось с нашей красавицей Авигайлью?

К господину Нисиму.

– Enchanté![81] А что же с нашей милой Авигайлью?

К супругам Бен-Йегуда.

– Очень приятно познакомиться, Рахель. Но где же наша дорогая Авигайль?

К английскому консулу, сэру Нойэлу Мору, и его супруге.

– Delighted to make your acquaintance! But where did you hide your charming wife?[82]

Отнюдь не легкая миссия – подводить ко всем начинающую уже злиться Рашель и рассказывать о болезни Авигайли.

Гости начинают роиться у буфета. Буфет – узкий стол, тянущийся вдоль южной стены, подобен плодородному плоскогорью или музею изящных искусств, выставившему на радость просвещенной и жаждущей изыска публики произведения, созданные гением хозяйки бала. Если кто-то из приглашенных ожидал встретить в этом доме нехитрое про-

---

[80] *Je suis heureux de vous rencontrer* – Рада встрече с вами (*фр.*).

[81] *Enchanté* – Очарован (*фр.*).

[82] *Delighted to make your acquaintance! But where did you hide your charming wife?* – Счастливы познакомиться с вами! Но где же вы скрываете вашу очаровательную жену? (*англ.*).

винциальное угощение из заурядных бубликов – «джориков» и «сивадо», с простонародными «бурекас», «бугаджас», «пастиликос» и «шамис», отличающихся у разных сефардских болисс лишь количеством и соленостью пущенной на них брынзы, или, в лучшем случае, вареный из молока и рисовой муки сладкий пудинг «сотлаж», то, полагая так, он был столь же далек от истины, как далека деревенская ярмарочная площадь где-нибудь под Галлиполи от парижской Place des Vosges[83].

В самом центре этого подиума располагается…

Дорогие читательницы и читатели, все ли вы здесь? Никто не имел неосторожности отлучиться по какому-нибудь пустяковому поводу? Позовите отсутствующих, автор только что приступил к исполнению данного им обещания!

Итак, в центре стола располагается Gateau Saint-Honore[84] – непревзойденный архитектурно-кондитерский шедевр госпожи Фортуны, на изготовление которого были брошены самые ценные ресурсы, а к подсобным работам привлечена не только кухарка (в доме Наси постоянно работает кухарка!), но и пара наиболее способных и расторопных учениц старшего отделения на ролях кухонных девушек. На широком круглом фундаменте, возведенном из pâte feuilletée[85], покоится в неге тучный слой бледно-желтого crème chiboust[86], щедро обложенного маленькими круглыми и румяными pâtes à choux[87], поверх которых высятся розы из белоснежного crème chantilly[88] и тонкие полупрозрачные веера ломкой ароматной карамели.

Справа от него – овальное блюдо с baisers[89] – этими дышащими ванилью легчайшими поцелуями из взбитого белка в форме миниатюрных тюрбанов. Пары этих тюрбан-

---

[83] *Place des Vosges* – Площадь Вогезов (*фр.*).
[84] *Gateau Saint-Honore* – торт Сант-Оноре (*фр.*).
[85] *Pâte feuilletée* – слоеное тесто (*фр.*).
[86] *Crème chiboust* – заварной сливочный крем (*фр.*).
[87] *Pâtes à choux* – печеньица из заварного теста (*фр.*).
[88] *Crème chantilly* – сбитые сливки (*фр.*).
[89] *Baisers* – безе (*фр.*).

чиков скреплены розовым crème de petits fruits[90]. Слева – их близкие родственники – œufs à la neige или, если вам угодно, îles flottantes[91], украшенные парусами из апельсинных ломтиков и чуть покачивающиеся на тягучих молочных волнах crème anglaise[92] и жидкой карамели в глубокой хрустальной чаше-океане. От них в обе стороны расходятся подносы с прочими пирожными и печеньями, гранеными башнями высятся графины с десертными винами. Несладкие закуски – миниатюрные tartelettes[93] нескольких диковинных разновидностей – сервированы на меньшем столе напротив, у северной стены.

Не то чтобы константинопольские рецепты были вовсе забыты хозяйкой, но они знают свое скромное место и на обоих столах почтительно держатся во втором ряду. Есть там, к слову сказать, и «бурекас», но какие «бурекас»! Таких «бурекас» вы в Иерусалиме еще не пробовали. Вместо плотной местной брынзы они начинены привозимой из метрополии нежнейшей овечьей «фетой». А печенье? Не опускаясь до простеньких «мемолис», «тошпишти» и прочих примитивных «бискоджос», хозяйка предлагает собственноручно испеченные миндальные «шамизикос» и рассыпчатые «курабьедес» на чистейшем сливочном масле.

Господин Кассуто – выдающийся толстяк и знаток кулинарных традиций, конечно же, первый у стола. Он бесцеремонно берет Гедалью за руку, занятую пирожным, и голосом заговорщика, давно уже вынашивающего планы покушения на султанскую кухню, объявляет:

– Это-то – так, вообще, молочное, но вы попадите-ка к ним на вторую субботнюю трапезу, когда вскрывают хамин! Тут вам, пожалуй, кафэ-гляссэ и прочее баловство, но, однако… Вам не приходилось бывать у них на хамине? Нет? Так вы ничего не знаете о настоящем хамине! А я вот имел

---

[90] *Crème de petits fruits* – ягодный крем (*фр.*)

[91] *Œufs à la neige… îles flottantes* – Яичные снежки… плавучие острова (*фр.*)

[92] *Crème anglaise* – заварной крем (*фр.*).

[93] *Tartelettes* – тарталетки (*фр.*).

удовольствие в этом году обедать у них на Шаббат Берешит[94], когда вскрыли «хамин семи дней творения»!

Гедалья поспешно дожевывает свой eclair[95] с миндальным кремом a-la Medicis[96], пока господин Кассуто набирает в легкие достаточно воздуха, чтобы на одном дыхании выдать следующую тираду:

– В верхнем ряду – обычные с виду виноградные «долмадос» с рисом на лимонном соке, но они так пропитались за сутки идущими снизу ароматными парами, что вы их и не узнаете (и, поверите ли, что еще: госпожа Фортуна добавляет в них сосновые орешки!), но это, друг мой, еще только начало, потому что следом идут голубиные яйца, переложенные кружками картофеля, после – бараньи кишки, начиненные рисом и нежнейшей, жирненькой молотой бараниной, затем – малюсенькие копченые «кабанос», пересыпанные перловой крупой, далее – говяжья лытка (такая, знаете, мягчайшая – прошедшая огонь и семь вод) в окружении белой и красной фасоли, потом – половинки миниатюрных длинненьких тыковок «калабасикос», полные риса с говяжьим фаршем, и наконец – говяжий желудок с рисом и мелкими кусочками говядины (если вы думаете, что у госпожи Фортуны на всех ярусах один рис, то вы ничего не знаете! Тут у нее персидский рис, там испанский, а там вообще Бог весть какой), и между всеми этими слоями – прослойки пшена, ибо сказано: «да будет свод и да отделяет он воду от воды», и все это парилось целый день на говяжьих костях и целых египетских луковицах, а уж какие там у нее особые травы и специи, так этого она вам нипочем не скажет...

Трудно сказать, чем Гедалья потрясен больше – богатством «хамина семи дней творения» или ораторским рвением господина Кассуто. Так или иначе, после такого рассказа, густо пропитанного жирными мясными соками, ему

---

[94] *Шаббат Берешит* – суббота, в которую начинается новый годичный цикл чтения Торы.

[95] *Eclair* – эклер (*фр.*).

[96] *A-la Medicis* – а-ля Медичи (*фр.*).

уже больше не хочется сливочных пирожных. Глядя, как толстяк подходит к худому до полупрозрачности Бен-Йегуде, видимо для того, чтобы повторить ему слово в слово то же самое захватывающее кулинарное описание, он рассеянно переходит на другую сторону залы и подцепляет себе на тарелку «иринжинико» и «лимонико инжарадо» – пронзительно перченые и кислые закуски из погубленных во младенчестве баклажана и лимона, единственные изделия, к которым хозяйка не приложила свою вдохновенную руку, а гости даже и не притронулись.

Чтобы не скучать, он предается наблюдениям. Шперлинг уже разнес по всему салону пикантную новость: «Вот этот носатый мосье, вы его знаете: Гедалья Бухбиндер, вот это брюнет с бородкой, у которого жена борется с тяжким недугом, поверите ли, переводит на язык Эвера старинную итальянскую комедию. И что бы вы думали, в частности? «Мандрагору», сочинение Никколо Макиавелли! А! А-а? Вам это ничего не говорит? Ха-ха-ха! Хе-хе-хе ! Ну так еще скажет! Еще как скажет, поверьте мне! Пока это вам ничего не говорит, но ой как еще, хи-хи-хи, скажет! Это со временем будет не хуже бомбы русских тираноборцев, особенно когда я, Калев бен Дрор, поставлю эту пьесу на театре...»

И вот уже не столько Гедалья наблюдает за публикой, но сама публика его, не танцующего «носатого брюнета», вовсе не привычного к постороннему вниманию, фигурально выражаясь, «лорнирует». А он-то надеялся тихо провести вечер за скромными гастрономическими удовольствиями и изучением нравов...

Уйти бы немедленно с этого чужого бала и поскорее домой! Ведь и спутница его, хвала Всевышнему, более не нуждается в опеке – она танцевала уже чуть ли не со всеми, не исключая и британского консула. И, если бы не обязанность сопроводить ее до дома, в квартал Бейт Яаков, он, Гедалья, убежал бы немедленно – этакая бородатая Cendrillon, теряющая на ступеньках дворца поношенную черную штиблету изрядного размера...

А Карл Шперлинг умудряется, совершенно непонятным образом, одновременно щебетать с несколькими господа-

ми, причем с каждым из них – строго приватно, уписывать за обе щеки тарталетки и пирожные, да еще кружить в вальсе дам и барышень, не исключая самой хозяйки. Госпожа Фортуна вовсе не собиралась вальсировать, ибо правильное ведение такого бала ко всеобщему удовлетворению требует неотступного внимания. Но этот занятный субъект, подходя к ней с невероятным многоступенчатым поклоном испанского гранда, словно читая ее мысли, так прямо и заявляет:

– Мадемуазель, понимаю, что вам надобно следить за целой империей, как бы ваши подданные не рассорились, хе-хе-хе! Но единственное мое удовольствие состоит в том, чтобы проделать с вами хотя бы один тур… Не откажите страждущей душе «австрийского гостя»!

А уж как закружилась в вальсе, так всем сразу же стало видно, что такое настоящий танец, и кто тут действительно танцует, а кто топчется, словно выпавшие из гнезда желторотые недоростки. Рост, надо заметить, вовсе не мешает неподражаемой грации госпожи Фортуны. Она выше Шперлинга на целую голову, но они, тем не менее, образуют превосходную, гармоничную пару. Этот Бен Дрор, похоже, способен подладиться к какой угодно партнерше, и все будет на высоте, выше ли он своей визави или же едва достает ей до подбородка.

Впрочем, автор – вальсер абсолютно никудышный, а потому не станет вдаваться в подробные описания того, в чем ровным счетом ничего не смыслит. Сказать по правде, неведома ему ни одна фигура ни единого бального танца. А рассуждать о том, как трепещет под чьей-то потеющей в перчатке рукой гибкий стан какой-то барышни… Право, у нас с вами, просвещенные мои читатели, есть темы и поважнее.

Какие же именно? Ну, например, планы на будущее, имеющие самое прямое отношение к развитию сюжета.

В перерыве между танцами, когда утомленные музыканты предаются краткому отдыху и, благодаря демократическому настрою семейства Наси, получают угощение со сто-

ла для гостей, госпожа Фортуна делает торжественное объявление:

– Дамы и господа, на следующей неделе, в среду, с Божьей помощью, мы, Нисим, Кондесса и я, приглашаем вас на monter à cheval[97]. Мы надеемся, что это новое начинание доставит вам удовольствие и вскоре сделается обычаем у жителей Иерусалима.

Далеко не все гости понимают, в чем именно заключается это новое начинание. Как она сказала? Monter à cheval? Что это такое? И при чем тут конюшни? Позвольте, позвольте! Cheval – это, ведь, кажется, лошадь? Евреи верхом?! Такого Ближний Восток еще не слыхивал. И что же, неужели сам паша дал разрешение? Ой, прогресс, прогресс! Одно слово: прогресс! Или два: прогресс и просвещение!

Вот это новость! Рашель ведь обожает лошадей и прекрасно умеет с ними управляться. Но в Петах-Тикве на лошадях не катаются, на них ездят по делам и перевозят грузы...

Надо заметить, что автор и верхом ездить тоже не великий мастер, и не Бог весть какой знаток жеребцов и кобыл, так что не ждите от него впредь особенно ярких подробностей в описании конного спорта. Тут он, впрочем, не представляет исключения из большинства жителей Святого Града. Совсем не многие будут счастливы присоединиться к прогулкам верхом, задуманным госпожой Фортуной. Да что там кавалерия, когда и плясуны-то истинные на балу все наперечет! Если некоторые барышни еще както способны перебирать ножками под музыку, чтобы на счет раз-два-три сделать несколько кругов по зале, то призванные поддержать их в этом прогрессивном начинании молодые люди в большинстве своем не только ничему подобному не обучены, но и вообще застенчивы сверх всякой меры, и даже к столу подходят с опаской. Что такое, например, эти тюрбанчики? Из чего они слеплены, кто знает? Заманчиво, да боязно...

---

[97] *Monter à cheval* – верховая прогулка (*фр.*).

Один из таких скромников – Йоэль Рубин, самый юный из педагогов «Торы и ремесла», любимец Нисима Наси, преподающий мальчикам переплетное дело и арифметику.

– А я и не знала, господин Рубин, что вы вовсе не танцуете и не едите, – говорит ему Кондесса, только что открывшая для себя эту удивительную новость. – Ну, тогда я тоже не стану танцевать и пробовать пирожные. Давайте поговорим с вами еще о педагогии. Вы в прошлый раз говорили, что...

Впрочем, не так уж важно, что именно говорил в тот раз об этой важной науке молодой Рубин и что нового он может добавить к сказанному сегодня. Гораздо важнее – как он об этом рассуждает, каким воодушевлением переполняется, как сверкают его глаза, как взволнованно вибрирует высокий его голос.

Ах, что там педагогия! Кондессе было бы, пожалуй, приятно слушать его, заговори он с тем же душевным подъемом хоть о необходимости железнодорожного сообщения с Европой, хоть о заготовке дров... Ей даже кажется, что молодой Рубин и сам более воодушевлен не педагогией как таковой, а тем, что рассуждает об этом предмете именно с нею, Кондессой Наси, и что, действительно, переведи она сейчас разговор на заготовку дров – он подхватит эту тему с неменьшим энтузиазмом, только потому, что она этой темой заинтересовалась. И вот, словно какой-то бес подталкивает Кондессу. Ей уже непременно надо тут же, немедленно, проверить эту теорию. И она, надо признаться, совсем невпопад, спрашивает своего воодушевленного собеседника, с жаром искреннего убеждения заявившего, что телесные наказания учеников будут вскоре полностью отменены во всем цивилизованном мире:

– А хватает ли у вас в классах дров для отопления?

– Дров? Что ж, дров... – Молодой Йоэль Рубин совершенно не подготовлен к такому повороту разговора. – Да я не знаю, право, насчет дров...

Боже мой, он покраснел! Как он покраснел, как смутился!

Кондесса ничего подобного вовсе не ожидала. Она готова отругать себя самым жестоким образом, поставить в угол, носом к стенке, даже назначить себе телесное наказание. Но, в то же самое время, ей так нравится и то, что он смутился и покраснел, и то, как он смутился и как покраснел. Ей, похоже, понравилось ставить юного Йоэля Рубина в неловкое положение. Почему? Зачем? Ну, хотя бы для того, чтобы искренне его пожалеть. Раньше она за собой подобных склонностей не наблюдала. Никто не мог упрекнуть Кондессу в озорстве даже в детские ее годы. А тут... Надо же! Интересно, что думает по этому поводу современная наука педагогия? Господин Рубин, верно, мог бы дать ей на это вопрос вполне удовлетворительный ответ, но ведь не станешь же его спрашивать! Фу, даже и не смешно...

Не смешно? может быть, читателям моим и вовсе не смешно. Но Кондесса, эта серьезнейшая взрослая барышня двадцати трех лет отроду и весьма основательно образованная, отчего-то едва сдерживает смех, рвущийся наружу и искрящийся в устремленных на смущенного господина Рубина темных глазах.

А сам господин учитель Рубин? Ему все это отчего-то тоже приятно. В смущении своем он догадывается, что барышня Кондесса изволит над ним посмеиваться. Но, вместо возмущения, которое могло бы считаться вполне законным, он чувствует совершенно необъяснимую и ничем не оправданную радость.

Одним словом, этим двоим очень хорошо находиться рядом друг с другом и, спроси мы их сейчас, угодно ли им оставаться вот так вместе хоть всю жизнь, посреди общей суеты и гама, то, определенно, оба ответили бы утвердительно, даже не задумываясь, может ли что-нибудь из этого выйти.

Ну, право слово: она его на целых два с четвертью года старше, значительно крупнее, да и на общественной, так сказать, лестнице стоит целым пролетом выше. Возможно ли вообще, чтобы юный учитель переплетного дела и даже, скажем, арифметики решился сделать ей предложение по всей форме, пойти с этим к ее брату, господину Нисиму

Наси, заменяющему сестрам обоих покойных родителей? Тот, хоть его и очень любит, но ведь одно дело – преподавать переплетное дело и даже арифметику, и совсем иное – стать членом столь выдающейся семьи. Трудно в это поверить. Трудно, но отнюдь не невозможно. Все, в конечном счете, зависит от авторского произвола, дорогие мои читатели. Поживем – увидим, какое настроение будет у автора в ту решительную минуту, когда Йоэль Рубин окончательно и бесповоротно поймет, что без Кондессы Наси жизнь для него не имеет никакого смысла. И, если уж решится господин Рубин на этот отчаянный шаг, то пусть уж смело идет до конца, не считаясь ни с переменчивым настроением автора, ни с какими иными внешними условиями. И дай ему Бог удачи!

Но пока все это совсем не важно. Этим двоим просто доставляет удовольствие находиться рядом друг с другом, ей – беззлобно его поддразнивать, ему – приятно смущаться, вовсе не обращая внимания на то, что говорится вокруг.

Что же говорится? Что составляет предмет светского интереса? Да буквально все: электричество и его невиданные и неслыханные еще перспективы, злые диббуки, вселяющиеся в чужие тела, осложнения англичан в Египте и Судане, болезни и их лечение. Место доктора Файна из англиканской миссии тут занимает доктор Шульц – тевтонец огромного роста, возглавляющий «еврейскую» больницу имени Меира Ротшильда, ибо в домах, связанных с семейством Ротшильдов, не могут принимать представителей конкурирующих партий. Заодно вспоминают и нераскрытую тайну несчастного молодого служащего из банка Валеро. Сам господин Валеро его едва помнит, поскольку всегда-то с трудом замечал такую мелочь, но младшая дочь его, Фава, не может подумать об этом страдальце без того, чтобы из глаз ее не покатились жемчужные слезы. Однажды, когда она приходила в банк, молодой Шауль ей поклонился и так на нее посмотрел... Как посмотрел? Ах, не спрашивайте! Словами этого не передать.

Двое младших Валеро танцуют с барышнями, старательно, каждый в меру своих дарований и умений, приобретенных на трех-четырех уроках, которые их папаша счел необходимыми для полноты светского образования своих сынов и наследников. Младший Навон, огражденный своей семьей от языческого влияния ветреной Терпсихоры, не отходит от стола. Это не мешает ему находиться в центре внимания большинства учениц старшего, третьего отделения. Соседствующий с их школой сказочный особняк с фонтаном и золотыми рыбками придает ему ореол прекрасного принца. Танцы танцами, но он вовсе не лишен грации – не всякий смог бы так вальяжно и непринужденно держаться у стола, изящно прихватывая пирожные двумя пухлыми пальчиками с хорошо ухоженными ногтями благородной формы, отправлять их одно за другим в мягко очерченный благородный рот целиком, таким образом, словно речь идет не о поглощении сластей, а о новейшей салонной игре, расцветшей в аристократических гостиных европейских столиц. И более того, кто бы еще умудрился так напитать этими пирожными чрево свое, что весь этот физический процесс представляется со стороны чем-то совершенно возвышенным и духовным – без навязчивого скотского пережевывания, без неприятного собачьего чавканья, без судорожного удавьего заглатывания, колышущего все тело иного обжоры? Конечно, творения Фортуны Наси, как принято выражаться, действительно «тают во рту», но и этого одного не достаточно для того, чтобы поглощать их столь элегантно – тут требуется и charme inné[98], и некоторый род искусства, достигаемого талантом и серьезной выучкой, куда более редкими, чем умение вальсировать.

Но никто, абсолютно никто не привлекает к себе большего внимания, чем заезжий театральный деятель. Карл Шперлинг непредсказуем. Вот он вдруг пускается в какой-то невиданный галоп, таща за собой по всему периметру залы совершенно сбитую с толку и едва держащуюся на

---

[98] *Charme inné* – врожденное обаяние (*фр.*).

ногах школьницу из старшего отделения. Ему, кажется, и дела нет до того, что потрясенные музыканты продолжают играть вальс «Жизнь артиста», сочинение Иоганна Штрауса.

– Благодарю, сударыня! – кланяется Шперлинг, бросая совершенно задохнувшуюся барышню в объятия потрясенной матери. – Передайте вашему батюшке мои искренние комплементы. Ваш туалет обворожителен! Работайте над жестами и дыханием, и в будущем сезоне я смогу предложить вам контрамарку на водевиль «Un chapeau de paille d'Italie»[99].

– Lieber Herr Arzt[100], – подскакивает он к доктору Шульцу, – изволили ль вы уже снять пробу со всех пирожных? Бегите же к ним немедленно! Мне очень важно знать ваше ученое мнение об относительной пользе и вреде находящихся в них жиров и сахаров.

Хозяйке бала он рассказывает совершенно невероятную историю, якобы произошедшую пару лет назад с ним самим:

– Шел я как-то по Fondamenta delle Zattere[101] на Дорзадуро в Венеции. Вдруг, откуда ни возьмись, навстречу мне идет... Кто бы вы думали? Господин Рихард Вагнер собственной персоной! Слыхали вы об этом композиторишке? “Ах, это вы, Вагнер! – бросаю я прямо в физиономию этому паршивому юдофобу. – Не сочтите за фамильярность, если я откровенно сообщу вам, что ваш «Лоэнгрин» – это жалкий набор музыкальных банальностей: тирлим-пим-пим, тирлим-пим-пим! Тьфу!” Этот лилипут от неожиданности просто онемел. А я пошел себе дальше, насвистывая «Хабанеру» моего любимого покойного друга, бедняги Жоржа Бизе.

Господину Нисиму Наси он обещает непременно привезти из Женевы настоящего шоколаду от Филиппа Зухарда. Жене испанского консула сообщает о том, что прош-

---

[99] *«Un chapeau de paille d'Italie»* – «Шляпка из итальянской соломки», водевиль Эжена Лабиша.

[100] *Lieber Herr Arzt* – дорогой господин доктор (*нем.*).

[101] *Fondamenta delle Zattere* – набережная Заттере (*ит.*).

лым летом велел золотом выткать на занавесе городского театра в Лемберге бессмертный девиз любимого им Кальдерона Ла Барки: «Жизнь есть сон», и тамошние швеи уже приступили к работе, но невежда градоначальник прослышал об этом от своих шпиков и распорядился срочно заменить эти слова другими. Какими бы вы думали? «Многая лета его императорскому величеству!» Типичная австрийская тупоголовость!

Затем он выпрашивает у флегматичного немца-флейтиста его инструмент «на одну минуточку» и тут же выдает совершенно невообразимую трель, от которой все пары, танцующие польку «Тик-так» встают, как вкопанные. В этой заливистой трели есть нечто такое, что напоминает одновременно и о сотворении мира, и о конце света, и приводит все общество в такой конфуз, что господин Шперлинг даже считает своей обязанностью принести хозяйке и гостям искренние извинения:

– Не рассчитал силы своих легких! Tausend Entschuldigungen! Mille pardons![102]

Но едва ли не самые странные речи заводит он, заполучив на вальс «Утренний лист» Рашель Гойзман:

– Не думали ли вы, сударыня, вернуться к вашей театральной карьере?

– Вернуться к театральной карьере? То есть, как это: «вернуться»? – Рашель совершенно не понимает, о чем идет речь.

– Как! Вы хотите сказать, что не выходили на сцену? Ни в трагедиях, ни в водевиле? Быть этого не может! В вас каждое движение, каждое слово выдает прирожденную актрису!

– Да нет, я же вам говорю! – Рашель смущается, краснеет и сбивается с такта, отчего образ прирожденной актрисы в ней несколько теряет свою убедительность.

– Ах, правда? Не играли? А вот это, простите за каламбур, – настоящая трагедия нашей публики! Но у меня вы

[102] *Tausend Entschuldigungen! Mille pardons!* – Тысяча извинений (*нем.* и *фр.*).

бы заиграли! Заиграли бы вы, как роскошный брильянт в золотой и изящной оправе! Рашель вторая! Ха-ха-ха! Хи-хи-хи! А ведь я, признаюсь, вознамерился затеять весьма рискованную, я бы сказал: «революционную», антрепризу. Ищу соратников, готовых броситься со мною вместе на штурм вековой косности...

И, не дожидаясь формального согласия, он уже занят гримом и туалетом будущей примадонны. Вот он, силой магнетического внушения, собственноручно наводит румяна на ее и без того разгоревшиеся щеки, чернит брови и, порывшись в воображаемом сундуке, протягивает шитое фальшивым жемчугом флорентийское платье ренессансного покроя, продолжая звенеть над ухом:

– Теперь подсветить справа, подсветить слева! Синьора Лукреция собственной персоной! Какое соответствие: подлинная красота и непритворная стыдливость в одном лице – мы с вами попали в самую точку! О, этот звучный бархатный голос, этот тополиный стан и голубиный взор! Особенно прекрасно вы будете выглядеть в тех сценах, что балансируют на грани дозволенного! Тому порукой, сударыня, ваш взор, потупленный так дивно. За вашу карточку в сей роли станут драться гимназисты, пожертвования на наше возвышенное начинание потекут рекою! О, вы возрождаете во мне замершую было, но никогда не потухавшую вовсе надежду на создание еврейского театра в Иерусалиме! Мы с вами преодолеем все препятствия! Твердолобость и ханжество будут повержены, и театральный свет воссияет над Сионом, озаряя новый горизонт народного возрождения! Я уже вижу афишу в три цвета: Театр Калева бен Дрора. Никколо Макиавелли. «Мандрагора». Перевод Гедальи Бухбиндера. В роли синьоры Лукреции – Рашель!

Ой! Что это?

Доктор Шульц, налетевший на них со своей партнершей, пребольно отдавил ей ногу.

Очнись, Рашель! Это тебе знак свыше. Спустись на землю! Шульц этот, может быть, вовсе и не Шульц – ангел Гавриэль, посланник Господень. Почувствуй же персональную опеку над собою, прислушайся к стремлению небес защи-

тить тебя! Сегодня верзила доктор наступил тебе на ногу, завтра, может статься, норовистая кобыла сбросит тебя на святую каменистую землю нашу, еще не готовую к бурным овациям в твой адрес.

Не внемлет Рашель Гойзман. Голова ее кружится от новой, совершенно невероятной жизни, которая вся, кажется, состоит из сплошной скачки.

Как же так? Неужели та живость характера, которая уже осложнила некоторым читательницам сопереживание, столь необходимое персонажам всякой книги, граничит с обыкновенным тщеславием? Неужели она готова потерять голову от льстивых нашептываний Карла Шперлинга? Неужели она, в добавление к этому пороку, не дающему лучшим из наших читательниц поставить себя на ее место, чтобы вполне насладиться чтением, еще и настолько глупа и наивна, что позволяет заморочить себе голову этакой чушью? И ради чего? Ведь она никогда прежде не помышляла о сценической карьере. Да что там говорить, она и в театре-то побывала лишь однажды и без особого удовольствия. «Iphigénie»[103] Жана Расина была тем более скучна, что Рашель не понимала смысла и половины произносимых на сцене стихов. А когда madame la patronnesse повела их в театр во второй, и в последний, раз, Рашель была простужена и не имела возможности оценить «Le Tartuffe ou l'Imposteur»[104] Мольера. Что ей до театра!

Подождите, строгая моя читательница! Представьте себе, что вы уже замужняя дама, но это ваш первый настоящий бал. Что вы никогда еще не оказывались в обществе знати, пусть даже провинциальной, и вообще людей выдающихся. И вот, некая мировая знаменитость или некто, объявляющий себя таковым, держит вас, любезная сударыня, за талию, дышит вам в ухо и рассказывает... Ну, право, о чем угодно. Главное – что вы находитесь в фокусе этой ни к чему не обязывающей болтовни. Ну, хотя бы, о том, что в вас, судя по тому, как замечательно вы считаете на три

---

[103] *«Iphigénie»* – «Ифигения» (*фр*.).
[104] *«Le Tartuffe ou l'Imposteur»* – «Тартюф, или Обманщик» (*фр*.).

четверти, заложены столь великие математические задатки, что он – пусть это будет некое университетское светило – непременно в полгода сделает из вас нового Эйлера... У вас есть способности к точным наукам, сударыня? Вы, хотя бы, имеете представление о том, кто такой этот Эйлер? Нет? И, тем не менее, можете ли вы поклясться, что эти слова не заронили в вас некую надежду на что-то высшее, на что-то, чего именно и не хватает в вашей жизни, а то еще и призванное осчастливить человечество и открыть перед ним новый горизонт? Высшая математика? Да хоть бы и она! Вот и в том странном воодушевлении, которое охватило Рашель, было очень мало от глупого тщеславия и очень много от восторженного энтузиазма по поводу нового, совершенно невероятного прожекта.

Впрочем, задача, которую, берясь за перо, поставил перед собою автор, состоит в том, чтобы рассказать некую историю или, вернее, изложить некую цепь событий, произошедших в годах 5644-5645 в городе Иерусалиме, но уж никак не заниматься оправдательными или осудительными приговорами своим героям и героиням. Пусть что хотят, то и делают: пьют сомнительные порошки из сушеных корней таинственного растения, пляшут на балах, пишут фельетоны, играют на театре, разводят страусов, скачут верхом и затевают еще тысячи самых рискованных прожектов. А мы станем смотреть на все это со стороны.

Прощаясь, госпожа Фортуна пожимает Рашели руку:

– Бывайте у нас запросто, ma cherie[105]! И я надеюсь, что вы не станете пренебрегать нашими конными прогулками.

– Ну что, Рашель? – улыбается своей спутнице Гедалья, когда они, простившись со всеми, спускаются по ступеням школы для девочек. – «Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя!» Гарцевать вам среди наших кентавров и амазонок...

Представляя себе галопом мчащую по Яффской дороге кавалькаду с Фортуной Наси во главе и Карлом Шперлин-

[105] *Ma cherie* – моя дорогая (*фр.*).

гом, трубящим в рог, он с трудом сдерживает клокочущий внутри него смех. Такого Святой Град еще не видывал.

Домой, домой, наконец домой! – рвется из его груди ликующий клич. Чтобы скорее домчаться туда, где ждет его Авигайль, он готов и сам впервые в жизни вскочить на коня. Обернутые салфеткой обломки не без ловкости похищенного для нее baiser во внутреннем кармане пиджака колют его грудь и crème de petits fruits растекается по подкладке.

Интермедия

Романтический пейзаж Святой Земли, постепенно переходящий в жанровую сцену, которая завершается громами и молниями

В начале изменчивого и капризного месяца адара одинокая всадница на каурой кобылице спускается по дороге, ведущей из Иерусалима в Яффу. Солнце, стоящее в зените, начинает медленно скрываться за раскидистым серым облаком с рваными краями. Лучи его падают на каменистую землю резкими мощными полосами, четко очерчивая границу между ослепительным светом и густою тьмой, накрывающей зеленеющую долину с парой одиноких строений. Вокруг – ни души. Какая жалость, что некому запечатлеть эту картину на фотографическую пластинку или, хотя бы, взглянуть на нее в рамку из двух сложенных пальцев, чтобы навсегда сохранить в памяти!

«Ни души вокруг», – сказали мы, явно поспешив и тем самым допустив ошибку. Следом за всадницей, локтей на двести позади нее, из-за поворота дороги показывается арабский всадник на осле.

Возле одного из брошенных домов, зияющих в низине разрушающимися каменными остовами, всадница спешивается, привязывает кобылицу к растущей у самой стены оливе. Вот она заходит внутрь через пустой дверной проем.

Что ей делать одной в столь странном месте, не вызывающем у стороннего наблюдателя иного чувства, кроме одного из многочисленных оттенков граничащей с отчаянием возвышенно-таинственной суровости, присущих крайней степени романтического запустения?

Видимо, этим вопросом задается и ранее замеченный нами араб. Несколькими минутами позже приблизившись к брошенному дому, он также спешивается и привязывает своего осла, при ближайшем рассмотрении оказавшегося

ослицей, подле кобылицы. Вот он на цыпочках подбирается к дому, вот украдкой заглядывает в один из двух зияющих оконных проемов. Ничего! Ступая по камням с повышенной осторожностью, даже несколько утрируя опасливость каждого шага, словно театральный комик, исполняющий роль соглядатая в дешевом водевиле, переходит ко второму оконному проему. Ага! На этот раз он явно что-то увидел. Что-то заслуживающее особенно пристального внимания. Об этом можно судить по тому, как он весь напрягается, словно охотничий пес, обнаруживший в кустах куропатку.

Чтобы лучше видеть происходящее внутри дома, он повисает на окне, то вовсе отрываясь от земли, то едва касаясь ее носками огромных, не по мерке, башмаков. Араб как араб – из феллахов среднего достатка, из тех, кто не может позволить себе вторую жену, но все же имеет осла, чья рубаха-галабия, хоть и пропитана пылью, но не в конец штопана-перештопана, как у самых горьких бедолаг, а фетровая ермолка-абулебда обмотана куском не слишком грязной белой ткани.

Через несколько минут напряженного наблюдения на его физиономии, дотоле носившей непроницаемо выжидательное и даже несколько угрюмое выражение, возникает блаженная улыбка. Что же он там такое увидел, этот араб? Видимо, нечто поистине приятное для глаз правоверного магометанина.

И вот выражения этой физиономии начинают одно за другим стремительно меняться, мелькая, словно крайние состояния непостоянной весенней погоды: безумная сладость, едва сдерживаемая мука, искреннее изумление, внезапный ужас, наивный восторг, острое презрение, горячее одобрение, напряженное, до яростной натуги, соучастие в некоем тяжком труде... На лбу его выступают капельки пота и из уголка кривоватого рта сползает на подбородок струйка слюны...

Позвольте, позвольте... Кого-то он нам напоминает, этот мусульманин. Быть не может! Да нет, совсем и не похож. Вот только эти резкие перемены внешности и самого внут-

реннего существа его, происходящие у нас на глазах... Если бы не они, никогда в жизни мы бы и не подумали искать какого-либо сходства. Но кто же еще способен на такую ни с чем не сообразную изменчивость? Впрочем, все равно – быть этого не может!

Тут наши размышления прерываются самым неожиданным и резким образом, заставляя отчаянно вздрогнуть от неожиданного испуга. Ослица, до тех пор державшаяся тихо и спокойно, вдруг, ни с того, ни с сего, оглушительно ревет. И от этого внезапного рева, наш соглядатай, совершенно сомлевший от чего-то только что увиденного, сотрясается всем телом и едва не рушится в полный рост на неровную, каменистую почву под окном. Каурая кобыла отвечает на ослиный рев изумленным встревоженным ржанием. Она явно не ожидала от этой длинноухой карлицы такой вокальной мощи.

Смертельно напуганный перспективой быть пойманным на месте преступления, любознательный феллах с невероятной скоростью вскарабкивается на выдавшее его животное и, поднимая клубы дорожной пыли, уносится прочь со всей скоростью, на которую способно яростно погоняемое непарнокопытное. Не рискуя даже оглянуться, он слышит за своей спиною, один за другим, два оглушительных выстрела – резких, трескучих, раскатистых. Особенно долго перекатывается в напряженном воздухе эхо второго выстрела.

Впрочем, второй выстрел, возможно, – вовсе и не выстрел, а раскат грома. А первый? Ведь первый выстрел, все-таки, был настоящим выстрелом из пистолета или ружья? А, может быть, нет? Автор должен сознаться, что и сам в этом не уверен. Так или иначе, делается совсем пасмурно и почти темнеет. Дождь может хлынуть в любую минуту. Гроза в горной долине! Этого только не хватало...

Араб, или кто бы он ни был, видимо, одинаково опасается как погони, так и грозной манифестации гневной стихии адара. И поэтому он продолжает погонять свою скакунью по все более круто поднимающейся вверх дороге на Иерусалим. Звуков погони он за собою не слышит, и пос-

тепенно нервная прерывистая дробь его собственных зубов, которую он поначалу принял за настигающий его сзади стук копыт, сменяется истерическими, всхлипывающими смешками.

– Хи-хи-хи! Ха-ха-ха! – закатывается в седле ряженый. – Ну и ну! Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!

VIII

Глава, в которой и без того невероятные события принимают совсем уж фантастический оборот

Итак, начался месяц адар, о котором наши мудрецы сказали, что с его наступлением умножается радость.

Впрочем, глядя на Святой Град не из глубины веков и не со стороны, из далекого Вавилона, в коем оттачивалась мудрость наших «афористов», но изнутри его, скажем, из квартала Бейс Яаков, можно заметить, что наступивший месяц умножил нечто совсем иное. Какими словами определить то общее состояние, которое ознаменовал его приход? Люди вежливые и осторожные в выражениях сказали бы, что во всем царит некая необычайная ажитация, проявляющая себя в неупокоенности духа и в неясной тревоге. Грубияны, также, увы, встречающиеся между нами, не задумываясь, попросту назовут это умонастроение и душевную смуту «дурью».

Новомесячье не предвещало еще ничего из ряда вон выходящего. Но затем стали происходить события, о каждом из которых можно было бы сказать, что такого не припомнят даже самые древние старожилы. Газеты наши едва поспевали за происходившим. «Лилия» сообщала:

Всю последнюю неделю только и было разговоров, что о великом происшествии, случившемся в доме весьма почтенного земляка нашего, торгующего саванами для покойников. Речь идет о тяжком вздохе и крике «ой», каковые издали вареные части рыбы, фаршированной в честь святой субботы, раздавшиеся из овального блюда на столе. Домочадцы перепугались и поспешили донести о случившемся членам высшего раввинского суда. А суд, после долгих обсуждений, вынес решение, немедленно приведенное в исполнение. Куски той

рыбы обернули в белый саван и захоронили на кладбище с почетом и со священным трепетом.

Казалось, не только на город, но и на весь мир надвигается что-то такое, что за неумением понять и объяснить, нарекли ученым словом «эсхатология». Даже по праву гордящийся просвещенной трезвостью «Олень» не мог закрывать глаза на выползшие из-под спуда сверхъестественные страхи, находя в них, все же, повод для оптимизма:

Хотя в наши намерения вовсе не входит вызвать сердечную тревогу читателей наших зловещими слухами, на сей раз сообщим им, что недалек тот день, когда мир вернется в первобытный хаос. И возможно, услышав о том, что настает конец всякой плоти, антисемиты прекратят устремлять помыслы свои ко злу сынов и дщерей израилевых, поскольку не долго продлятся дни человеческие во Вселенной, и сие будет нам в утешение.

Мандрагоры выпустили свои морщинистые темно-зеленые листья на свет Божий из-под земли, допьяна напившейся в месяце шват.

Старый реб Шлойме Шварц, более семидесяти лет служивший образцом здравомыслия и уравновешенности, стал проводить дни на том самом фиговом дереве, которое возвышается перед домом реб Довида Фридляндера.

Пьющие из его уст слова святой Торы Реувен Вильденштейн, Янкеле Бойм и Биньюмен Дрейер попросту лишаются дара речи, когда после утренней молитвы реб Шлойме заявляет, что сегодня им предстоит отказаться от изучения трактата «Нидо» и от всех прочих занятий. Поспешно распустив всех прочих по домам, он подводит троих избранных к дереву и говорит:

– Вот это фиговое дерево. В чем его назначение?

– Пролейте на нас свет знания, реб Шлойме! – умоляет Реувен, пока двое других чешут в затылках.

– Служить Господу, олухи вы несчастные! – сердито ответствует учитель. – Это вы могли бы знать и сами. Но для служения Святому, благословен Он, есть многие пути. Какой же из них наилучший для этого дерева?

– Давать тень, – робко шепчет Янкел, несмотря на свою древесную фамилию, никогда не задумывавшийся над моральным долгом одинокой смоковницы.

– Приносить плоды? – с надеждой спрашивает обжора Биньюмен.

– Э! – в сердцах машет на них рукою реб Шлойме. – Тень! Плоды! Может быть, еще и листья, чтобы прикрывать позор вашей глупости?!

– Др... др... дрова? – холодея от ужаса, пищит Реувен.

На столь явный вздор реб Шлойме вовсе не обращает внимания.

– Есть путь праведных, ведущий далее, чем путь простого исполнения заповедей и следования раз и навсегда заведенным законам, которые принято называть законами природы, – продолжает он. – Тому, кто следует по этому пути, открываются высшие назначения вещей. Вот это фиговое дерево: его высшее назначение – стать опорой Торы. А как дерево может стать опорой Торы? Оно, горькие вы дураки, может стать опорой Торы, только предоставив опору человеку, призванному стать опорой Торы! Ибо высшее служение Святому, благословен Он, осуществляется лишь через человека, даже если бессловесные твари и неподвижные растения способны на низшее служение без его участия.

Реб Шлойме подходит к дереву вплотную, дотрагивается до него обеими руками и, обернувшись к почтительным ученикам, решительно требует:

– Поднимите меня на эту большую развилку!

Уже сидя наверху, на высоте не менее чем в два человеческих роста, свесив ноги вниз с мощной боковой ветви и привалившись спиною к узловатому стволу, он продолжает так, словно ничего особенного не произошло:

– Принесите мне подушку и одеяло... Нет, две подушки и два одеяла – ночами будет очень холодно. Реувен, принеси мне писчей бумаги, ибо мне предстоит провести на

этом фиговом дереве много дней, составляя книгу, которая не может быть написана ни на земле, ни на небе!

И вот он сидит на этом дереве, не слезая, уже третий день. Он не ест и не пьет, и за это жители квартала должны благодарить Всевышнего, иначе бы его моча и испражнения падали с дерева, словно манна небесная. Но сколько же он может вот так просидеть без еды и особенно без питья?!

На него приходят смотреть со всего города. Подумаешь, – скажет читатель, – эка невидаль: человек залез на дерево и не хочет спускаться! Не он первый, не он и последний. Много таких умников по всему свету и некоторые из них даже проникли в таинственный мир изящной словесности. Да и сам автор, между нами говоря, не прочь бы забраться на дерево, вот только приличия не позволяют...

– Как вы себя чувствуете, реб Шлойме? – спрашивают его то и дело.

Но он слишком много лет отвечал на глупые вопросы, и теперь может себе позволить ни на что не обращать внимания.

Он развеял по ветру нетронутые листы писчей бумаги и что-то пишет графитным карандашом на фиговых листах.

Карл Шперлинг, за бесценок нанявший комнату в сефардском квартале Оэль Моше, у некоего Йосефа Бен Нафтали, и чуть ли не ежедневно заявляющийся к Бухбиндерам, то по делу, то просто по дружбе, изрядно раздражая Авигайль, наблюдает редкостное представление с огромным удовольствием и требует от Гедальи:

– Вы просто обязаны вставить такую «сцену на древе» в вашу версию «Мандрагоры»! Это же квинтэссенция Иерусалима – Ein würdiges Beispiel der Gebräuche[106]! Классику нужно перерабатывать и обогащать, вот что я вам скажу. Возьмите общие контуры макиавеллевской «Мандрагоры» да перекроите все на иерусалимский лад – вот тогда выйдет всем комедиям комедия! От такой сцены на дереве не отказались бы ни Лабиш, ни Мариво.

[106] *Ein würdiges Beispiel der Gebräuche* – достойный пример нравов (*нем.*).

Он теперь всерьез почитает себя постановщиком «самой прибыльной и скандальной комедии, какая только была представлена на еврейской сцене». Любой здравомыслящий обыватель мог бы доказать ему, как дважды два, что комедия эта, все равно – с добавлениями ли, о которых он *мечтает и которые настойчиво советует написать Гедалье,* с купюрами ли, может быть представлена на этой самой «еврейской сцене» не ранее, чем евреи перестанут быть евреями, а в Святом Граде – и вовсе лишь после того, как земля вернется в первобытный хаос. Но это нимало не охлаждает его пыла и не умаляет его оптимистической веры в революционный прожект.

А вот Рашель Гойзман присутствие реб Шлойме на дереве угнетает. Ведь она вынуждена все время проходить мимо него, видеть в окошко его скрючившуюся среди ветвей фигуру и, даже затворяя ставни на ночь, чувствовать, что находится под присмотром его недреманного ока.

На третий день фиговой эпопеи обеспокоенные жители квартала решают послать за доктором Файном. Молодой Янкеле Бойм, снабженный благословением встревоженной общины, отправляется в Старый Город бить челом перед своим тезкой – тем самым выкрестом, которого он предпочел бы не видеть вплоть до собственных похорон. Идет Янкеле и чуть не в голос жалуется на свою жестокую судьбу. Нет бы ему тогда же, когда пришла в перетрудившуюся над книгами голову реб Шлойме эта странная идея – лезть на фиговое дерево, вместо того, чтобы помогать старику, взять да и запереть его дома под строгим надзором! Так нет же, сами подсадили, да еще и подушек принесли...

А тут, вдобавок ко всему, собираются тучи, среди бела дня наступают подлинные потемки, гремит гром и начинается, как назло, дождь. Что за дождь – потоп! Пропадет теперь душа несчастного ешиботника Янкеле Бойма! У Русского подворья он не выдерживает и прячется под навес у конюшни. Нельзя же одну душу принести в жертву за другую. Пусть делают что хотят, а тут уж не до походов в англиканскую миссию, не до докторских рецептов и проповедей. Если уж искать спасения в капище язычников, то лучше

снаружи, чем внутри, под козырьком у стенки, а не в самом логове перед алтарем! Он переждет этот ливень здесь, а они могут хоть срубить это вредное фиговое дерево, хоть спилить его, если реб Шлойме не пожелает перейти в более сухое место... Он, Янкеле, пока постоит здесь, хоть и в луже, но с крышей над головой, а там – видно будет. Тем более, что в такую погоду всем не до лошадей и не до пеших прогулок, город пуст, и никто ему не только не помешает вот так тихонечко стоять у закрытых дверей конюшни, но и вовсе его не заметит.

И вдруг, словно в ответ на его благочестивые мысли, – что это, Господи, прости и помилуй?! К конюшне во весь опор подлетает кобыла, а на ней верхом – не турецкий солдат, не русский поп – молодая женщина, Господи, прости и помилуй! Обе, и кобыла, и гойка, мокрые, что твои рыбы! Не вылезая из седла, эта безумная шикса изо всех сил колотит в дверь рукояткой кнута...

Господи, прости и помилуй, да это же Рухл Гойзман – невестка реб Довида Фридляндера, которая в отсутствие мужа живет в его доме! Мокрая насквозь, чуть не голая в потоках воды, страшная и красивая, как злодейка Лилит! Не смотреть, Янкел, не смотреть!!! Э... да что толку – не смотреть... Поздно уже! Посмотрел Янкел, еще как посмотрел, а теперь уже поздно глаза отводить – навсегда прилипла эта мокрая бесовка к его глазам, Господи, прости и помилуй! Куда он ни глянет – она там, а если совсем зажмурится – так еще того хуже, живее и жутче, чем наяву. Нет, лучше уж, чем глаза прятать – смотреть на нее прямо, всетаки не так страшно...

– Что уставился, дурак?! – кричит нетерпеливая всадница. – Отродясь лошади не видел? Стучи изо всех сил! Что они, спать пошли?!

И Янкеле стучит в двери конюшни, стучит что есть мочи, обоими кулаками и обоими носками промокших башмаков. А заодно еще и кричит по-русски, набрав полные легкие сырого воздуха:

– Отопряй! Отопряй! Живо!

Тем временем и в квартале Бейс Яаков – не то чтобы очень сухо и солнечно. Куда там – гроза в самом разгаре, дождь хлещет что есть сил, всем дождям дождь, способный промочить до нитки быстрее, чем вы сообразите, что происходит. А молнии! Кто может поручиться, что одна из них не ударит в единственное фиговое дерево, растущее в квартале и давшее в своих ветвях приют наскучившему хождением по грешной земле реб Шлойме? И тут уже в силу вступает непреложный закон, требующий спасти находящуюся в смертельной опасности живую душу, невзирая на то, что сама она, эта живая душа, обо всем этом думает.

И поэтому Биньюмен Дрейер, совершенно мокрый, но полный решимости, срочно вытаскивает Реувена Вильденштейна из уютного дома под дождь. Это они усадили своего старого учителя, реб Шлойме Шварца, на фиговое дерево, им нужно его оттуда и снять, сколько бы он ни протестовал и сколь яростно ни отбивался бы ногами. Мечущего проклятия, не менее пронзительные, чем молнии весенней грозы, реб Шлойме заботливо уносят под струями дождя в его одинокую комнату в левом крыле дома учения, где заботливая Двойра уже разводит самовар и взбивает сухие подушки, принесенные из собственного дома под мужниной капотой. В комнату набивается до десятка доброхотов. Все они желают реб Шлойме полного и скорейшего выздоровления и обещают не покидать его до тех пор, пока он не согреется в постели, не попьет чайку с водкой и не отойдет к спокойному пользительному сну. Реб Шлойме, снова оказавшийся на земле, вдруг теряет всякий интерес к происходящему вокруг него. Ему совершенно безразлично, что с ним станут делать эти люди, которых он столько лет пытался хоть чему-то научить.

– «Плод праведного – древо жизни», – едва слышно бормочет старик никому не понятные стихи притчей Шломо. – «Кто полагается на богатство свое – упадет, но праведные, как лист процветут... И праведному воздастся на земле...» На земле! Как грустно, как уныло...

А пока они там все толпятся, Рашель пробирается к фиговому дереву по расплывшимся вокруг глубоким лужам.

Ни лошади, ни, тем паче, Янкеле Бойма, при ней нет. Она совсем одна в потоках воды, и совершенно ясно, что столь долгое время, проведенное в самом средоточии водной стихии, делает эту русалку почти нечувствительной к тем неудобствам, которые любая из наших читательниц сочла бы, пожалуй, непереносимыми. Она поспешно вынимает что-то из-за пазухи и, приподнявшись на цыпочки, тянется рукой к небольшому дуплу чуть повыше ее головы... Вот несчастье! Рашель теряет равновесие, поскальзывается в луже и, вскрикнув, падает, хватаясь за толстый узловатый фиговый ствол.

В доме напротив распахивается дверь.

– Рашель! Что с тобой? – Авигайль не на шутку перепугана. – Какой ужас! Гедалья, иди, помоги!

– Ничего страшного, – неуверенно и смущенно откликается Рашель. – Я пойду домой, не волнуйтесь.

Все еще не вставая, она шарит рукой в луже, явно что-то ища.

– Даже и думать об этом не смей! Сейчас я тобой займусь! Гедалья!!!

В тот момент, когда Авигайль отворачивается, Рашель успевает подхватить с земли какой-то совсем маленький сверток, размером немногим больше крупной фиги, и сунуть его в дупло.

Гедалья выскакивает под дождь и, в нарушение всех законов, охраняющих скромность, подхватывает хромающую Рашель под обе руки, помогая ей добраться до спасительного побережья своего дома.

– Что с тобой происходит, Рашель? Что случилось? – ужасается Авигайль.

– Я сломала каблук, Аби̂... Сущая ерунда!

– Опять каталась верхом! Одна? Конечно, одна. Ты сумасшедшая!

Рашель молча кивает, отчего ее пропитанные водою волосы, давно потерявшие сходство с тем, что принято именовать «прической» и что замужней женщине следует держать под покровом головного убора, окатывают подругу холодным дождем брызг.

– А лошадь? Где же твоя лошадь?

– Фатьма-то дома, в тепле, – смеется Рашель, дрожа и стуча зубами. – Хорошая, милая моя Фатьма...

– Ты что же, вернула эту твою Фатьму в конюшню, а сама вот так, под дождем, шла от русского подворья? Ты сумасшедшая! Да у тебя зуб на зуб не попадает... Гедалька, зажигай чудо-печку! Готовь чай!

– Мое почтение, фрау Гойзман! Мое почтение!

Это Карл Шперлинг, который всегда оказывается там, где в данный момент происходит самое занимательное представление.

– Изволили гулять? Ай-яй-яй! Погоды нынче на диво непостоянные, вроде сердца ветреной красавицы, как поется в песенке, сочиненной для старика Верди моим бедным покойным другом Франческо Пиаве: La donna è mobile[107]...

– Так, господа мужчины, – решительно заявляет Авигайль, – мы удаляемся в спальню – нужно принять срочные меры. Вы можете сидеть здесь, петь песни или переписывать на свой лад комедии – только не мешайте! И... Гедалья – кипяти чайник!

Она достает из верхнего отделения комода полный на две трети графинчик и граненый стакан, из нижнего – стопку полотенец, и уводит Рашель в спальню.

– Раздевайся, утопленница! – командует она. – На, выпей полстаканчика! Ты совсем голову потеряла с этой твоей верховой ездой...

Тут автору придется, в который уже раз, свернуть с прямого пути повествования, чтобы вооружить своих изумленных читателей знанием, необходимым для понимания всего происходящего.

Прогулки верхом, о которых впервые зашла речь на балу в Школе для девочек, стали если и не обычным, то, во всяком случае, постоянным явлением иерусалимской жизни. Раза два в неделю от десятка до полутора дюжин всадников, в зависимости от погоды и настроения, брали лоша-

---

[107] *La donna è mobile* – женщина переменчива (*ит.*), традиционный перевод песни герцога: «Сердце красавиц склонно к измене».

дей в конюшне на Русском подворье и отправлялись проводить время à plain air[108]. Не менее чем двое мужчин при этом непременно бывали вооружены. Обычно кавалькада выезжала по Яффской дороге и спускалась к местности у потока Сорек, именуемой Моца и упомянутой в трактате «Суккот» как то место, где собирали на праздник ветви речных ив, в изобилии растущих там и по сей день.

Без малого три десятилетия назад, когда первые единоверцы наши стали селиться за городскими стенами Иерусалима, два молодых друга, Шауль Йегуда и Йегошуа Елин, купили там оливковую рощу. Они построили для себя два дома и восстановили и достроили древнее византийское строение под постоялый двор к северу от дороги, надеясь зарабатывать на жизнь земледелием и приемом паломников и путешественников. Надежды молодых братьев не оправдались. Британский консул Джеймс Финн, содействовавший им в этом предприятии, помогая преодолевать немалые трудности в отношениях с властями, внезапно покинул Иерусалим, и молодые люди оказались беззащитными против домогательств грозных соседей из деревни Абу-Гош, которые требовали платить «за защиту» непомерную дань. Их семьи разорились, дома были брошены, Елин возвратился в Иерусалим, Шауль Йегуда умер с горя в возрасте 24 лет, земля оставалась невозделанной.

Расположенные в живописном ландшафте и поросшие травою останки этих домов, которые удовлетворили бы самые строгие запросы впечатлительных немецких романтиков, обладали особой притягательностью для любителей загородных прогулок верхом. Уважая права несчастных семейств, Наси и их приятели воздерживались от того, чтобы посещать эти руины и исследовать их, но знали, что в одном из домов нашел приют древний старик-отшельник, убогий араб, которого им довелось пару раз наблюдать за молитвой возле разрушенного колодца. Рашель стала душою этих прогулок и не пропускала ни одной из них. Более того, она не могла уже удовлетвориться общими выез-

---

[108] *À plain air* – на свежем воздухе (*фр.*).

дами, и стала брать полюбившуюся ей кобылу, носящую имя дочери пророка, чуть ли не каждый день, клятвенно обещая семейству Наси, что не станет рисковать, отправляясь в далекие путешествия, а ограничится короткими выездами до Шнеллерова подворья или до греческого монастыря Мар Элиас.

А вот единственная попытка Карла Шперлинга прокатиться на лошади оказалась столь неудачной, что он не стал впредь подвергать себя сомнительной чести быть осмеянным компанией заправских наездников. Вместо этого, он за несколько дополнительных мелких монет нанял у своего домохозяина, «марокканца» Йосефа Бен Нафтали, его ослицу и стал с удобством разъезжать на ней по всем своим делам из квартала Оэль Моше в Бейс Яаков, Нахалат Шива, в Старый Город и даже в Немецкую Колонию. Эта молодая ослица, немедленно нареченная им Фрау Билам, выполняла тяжелые обязанности верхового и вьючного животного с терпением, заслуживающим самой высокой оценки и достойным всяческого подражания.

Но оставим на время непарнокопытных и вернемся в дом Бухбиндеров, где Авигайль делает все возможное, чтобы спасти любительницу верховой езды от неминуемой простуды.

Бóльшая часть водки выливается на полотенца. Авигайль яростно растирает мелко дрожащее, непривычно отвердевшее и голубоватое от холода тело подруги.

– Терпи! Сейчас согреешься и полезешь в постель, под одеяло.

Она, конечно, не упускает из виду три красных пятна, украшающих кожу своей пациентки: одно на шее, ближе к левой ключице, другое – ниже, на плече, третье – под правой грудью. Такие свежие алые розочки не расцветают сами собой, какой бы дождь ни поливал грядку. Нет, только охваченный страстью и забывший всякий стыд кавалер способен преподнести даме подобный букет.

Авигайль делает вид, что ничего не замечает. Не станет же она, в самом деле, задавать глупые вопросы! Какое ей дело до чужих приключений! Жизнь – не газетный фелье-

тон, а Рашель – взрослая девочка. Захочет – сама расскажет.

– Абѝ, – говорит Рашель, отдышавшись после выпитой мелкими непрерывными глоточками водки, – ни о чем не спрашивай!

– Очень надо было спрашивать! Вернулась живая и – слава Богу! Полезай под одеяло, сейчас чай будет. И голову замотай полотенцем – вот так!

– Абѝ, – повторяет Рашель спустившимся на целую октаву голосом, ныряя в супружескую постель Бухбиндеров, – ты – самая-самая-самая! Слушай, Абѝ: у меня – отец, мать… муж… черт знает, где его носит там по Волыни. Все они тебе в подметки не годятся.

Она постепенно пьянеет, по всему ее жарко растертому телу разливается блаженство, ничуть не менее сладостное, чем то, ради которого она ездила к черту на рога, за горы мрака, в эту глупую, глупую Моцу…

– Абѝ, я хочу, чтобы ты знала: ты мне самый родной человек, по… понимаешь? И мне, кроме тебя, больше ника-во… Понимаешь?

– Понимаешь, – смеется Авигайль, подтыкая вокруг нее одеяло.

– И я тебе клянусь: больше никаких лошадей, никаких monter à cheval! Терпеть не могу этих жеребцов и их глупых Моц…

– Вот и прекрасно! – кивает Авигайль. – Я тебе об этом напомню, если забудешь.

– Не-е-е… не забубу! Абѝ, я спать пойду, – она закрывает глаза и посылает любимой подруге воздушный поцелуй.

В этот момент дверь в спальню, скрипя, приоткрывается.

« Мог бы постучать, прежде, чем нести чай», – успевает подумать Авигайль.

Но это вовсе не Гедалья с чаем – в дверь бесцеремонно просовывается голова Карла Шперлинга в строгом черном парике с косым пробором.

– Wie geht'es[109], фрау Гойзман?

Авигайль сердито машет на него обеими руками.

– Ухожу, ухожу! – сладким голосом поет Шперлинг. – Желаю здравствовать, прощаюсь с вами, но разговор наш мы возобновим! Adieu[110], мадам Гойзма́н! До скорого свидания, фрау Бухбиндер, целую обе ваши злые ручки! Ха-ха-ха! Целую руки, целую руки, я не одну слезу пролью по ним в разлуке! Пора уж мне, объехавши полмира, бежать туда, где ждет меня квартира! Хе-хе-хе!

Дождь, между тем, кончился. Снова сияет над Иерусалимом яркое солнце адара. А когда оно начинает клониться к закату, в квартале Бейс Яаков появляется, наконец, доктор Джеймс Файн, сопровождаемый Янкеле Боймом. Прибывшая из Старого Города повозка останавливается на дороге, и Янкеле, сразу же заметивший, что фиговое дерево опустело, указывает доктору путь к комнате реб Шлойме. Ешиботник старается не смотреть на выкреста, пользовавшего его в клинике стаканом горячего напитка из круто заваренной ивовой коры. Ведь надо же случиться такому поруганию веры, чтобы этот нечестивец, продавший веру отцов за английский костюм-тройку, был допущен в святой дом учения, да еще в святом месяце адаре, да еще чтобы не кто-нибудь, а он, Янкел Бойм, за свои многочисленные грехи, обречен был ввести его туда! Этот гойский отвар ивовой коры застрял у него в пищеводе надолго, быть может, навсегда – ни переварить, ни изблевать. И сколько ни сплевывай, нет никакого избавления от его омерзительного вкуса...

Но, хвала и слава Всевышнему, к реб Шлойме этого выкреста не пускают. Броха, жена старосты, реб Ицхока Меира, в дверях сует доктору деньги и сообщает, что больной сейчас, слава Богу, спит, и тревожить его не надо.

– Да он и вообще, слава Богу, совершенно здоров и во врачебной помощи не нуждается, – сообщает она. – Мы было подумали, не болен ли он, не дай Бог, раз сидит на де-

---

[109] *Wie geht'es* – Как дела? (*нем.*).

[110] *Adieu* – Прощайте (*фр.*).

реве, но потом увидели, что он, слава Богу, совершенно здоров, дай нам Бог всем столько же здоровья. Но вот у Бухбиндеров, – она указывает тройным подбородком в нужном направлении, – женщина насквозь промокшая, в сильной горячке, уж не при смерти ли, не дай Бог... Не пойти ли вам, что ли, туда?

При упоминании насквозь промокшей женщины Янкеле делается совсем скверно, и он поспешно ретируется. С него хватит! Слишком много испытаний за один день! Сейчас же пойдет к себе, раскроет трактат «Нидо» на том листе, где так внезапно оборвались их занятия с реб Шлойме, и будет до утра вникать во все его подробности... Нет! Господи, прости и помилуй, как же он справится теперь с трактатом «Нидо»?! Мало ему нечистых женщин и без трактата «Нидо»?! Нет, все что угодно, только не «Нидо»! Может быть, «Брохес»... Или, на всякий случай, «Ирувин»?

У Бухбиндеров доктору тоже сообщают, что пациентка спит и после растирания и горячего питья во врачебной помощи не нуждается.

– Может быть, я все же осмотрю ее, коль скоро приехал в ваш квартал? – любезно предлагает доктор.

– Нет, нет! – торопливо возражает Авигайль. – Пусть спит, отдыхает.

«Осмотреть! Как бы не так! – думает она, едва сдерживая смех. – С этакими-то украшениями...»

– Ну, хорошо, миссис Бухбиндер. Видимо, вы правы, – соглашается доктор. – А вы как себя сегодня чувствуете при всех этих переменах погоды?

Авигайль уверяет его, что ничего, кроме самой обычной мигрени, не испытывает.

– Вот тут tinctura[111] коры Salix alba – речной ивы из Моцы. Она содержит весьма целительную при простуде кислоту, именуемую salicin. Если ваша гостья почувствует жар, пусть принимает по двадцать капель с водой...

А когда доктор, совершивший свое бесполезное для общего здоровья путешествие, укатывает восвояси, она про-

[111] *Tinctura* – настойка (*лат.*).

вожает давно уже проснувшуюся Рашель в дом напротив.

На следующее утро та просыпается в своей постели совершенно здоровой, бодрой и почти спокойной. Неужели все бури вчерашнего дня позади? Неужели все осталось в прошлом, как эта внезапная чудовищная гроза? Она больше не будет вести себя как взбалмошная избалованная девчонка. Кажется, вчера она пообещала Авигайли, что с Моцей и лошадьми покончено? Да, да, именно так! Она полна решимости сдержать свое обещание. Да и кто теперь согласится предоставить бедную Фатьму в ее распоряжение! Пора браться за ум. Осталось только одно маленькое дельце.

Рашель одевается и выходит во двор. Быстро подходит она к фиговому дереву...

– Интереснейшее деревце растет в этом богохранимом квартале. Хи-хи-хи! Посмотришь со стороны – фига как фига...

Карл Шперлинг в коротком кучерявом парике a-la Metternich[112] выглядывает из-за дерева, словно змей-искуситель.

– Фига, und nicht mehr[113]. Но, стоит углубиться, с позволения сказать, в изучение этого дерева – такое обнаружишь, что и в сказках Шахерезады не встречал. Угадайте-ка, любезная, что мне вчера, совершенно случайно, попалось в дупле его? Ни за что не догадаетесь! Откуда же вам знать, невинной поселянке!

Слыша эти речи, Рашель бледнеет.

– Во чреве своем сия фига вынашивала... А? Не догадываетесь? Драгоценный рубин во столько карат, сколько аплодисментов дай нам Бог слышать за нашу бурную жизнь!

– Что вам угодно? – делает она неестественно удивленный вид. – Не понимаю, о чем вы...

– А я о том, что вы, сударыня, у меня в руках. Хи-хи-хи! А почему? А потому, что я все вижу и все замечаю. И в этом благословенном квартале, и в местах столь отдаленных, что без резвого коня туда не добраться. Так что представьте се-

---

[112] *A-la Metternich* – а-ля Меттерних (*фр.*).
[113] *Und nicht mehr* – и ничего более (*нем.*).

бе такую захватывающую трагикомедию или, если вам так больше нравится – мещанскую драму: Калев Бен Дрор, проникший в некую роковую тайну, вертит юной героиней, как ему заблагорассудится. Смертельно боясь разоблачения, она исполняет все его необременительные пожелания. А? Что скажете?

– Отдайте немедленно мой камень и идите ко всем чертям, гадкий вор! – взрывается Рашель.

– Нет, камень я вам не отдам, голубушка! Он дорогого стоит и, к тому же – вовсе не ваш. А вот ко всем чертям – извольте! И пойду, и пойду! – Шперлинг шутливо притоптывает на месте. – Уже пошел. Все черти, ау! Вы меня слышите? Вот и я – Калев Бен Дрор собственной персоной, иду к вам! Соблаговолите пропустить эту юную особу – она со мною! Вы теперь никуда не денетесь, моя милая. Быть и вам среди всех чертей. Хе-хе-хе!

Чудовищное омерзение овладевает Рашелью. Ничего гаже этого Шперлинга она, кажется, за всю свою жизнь не видела, не исключая страусов. Она изо всех сил пытается изобразить презрительное равнодушие:

– Ну, как угодно, мерзкий вы червяк! Можете подавиться этим камнем. Мне и дела нет.

– Ах, нет ей и дела до камня сего! О-о! – поет Карл Шперлинг, вставая в позу. – Она не желает уж видеть его! О-о! И ей безразлично, кому и о чем, пом-пом! Расскажет тот камень – ей все-о-о-о ни-и-и-по-чем!

Он тут же меняет и жанр, и собственное амплуа и, приставив ребро ладони ко рту, в лучших традициях дешевых мелодрам, обращается к ней громким трагическим полушепотом:

– Но увы, дочь моя! Сколько бы ты ни умоляла, злодей тебя не пощадит. Лишенный совести и состраданья, он донесет обо всем ревнивому мужу, который точит свой кривой кинжал, и напишет за океан алчной хозяйке похищенного рубина. Темная толпа невежественных соседей тоже узнает о твоем позоре. Ты будешь раздавлена и втоптана в грязь, несчастная дочь моя! Ты будешь ославлена на весь мир, заклеймена каленым железом безжалостных языков.

От тебя станут шарахаться, как от прокаженной. И ты умрешь, повержена во прах!

Последняя фраза так ему нравится, что он снова принимает позу оперного премьера и поет пронзительным фальцетом:

– И ты-и-и умрешь, повер-же-на-а во прахxx!

Больше всего Рашели хотелось бы плюнуть в эту наглую гуттаперчевую физиономию и немедленно уйти. Так она непременно и поступит. Никакого дела ей нет до всех этих театральных угроз и никакое общественное осуждение ее не пугает. Эти глупости – для дурочек Рохл, Рухл и Рихл, а она, слава Богу, не из их числа! Вот так, плюнет в его скользкие масленые глазенки, повернется и уйдет, не оборачиваясь. Хорошенькую он тогда состроит рожу! Но сперва нужно, конечно, понять, чего именно он от нее добивается. Но при этом, ни в коем случае не подавать вида, что это ее хоть сколько-нибудь тревожит.

– Да чего вы от меня добиваетесь, негодяй вы этакий? – спрашивает она, и в голосе ее чрезвычайно трудно заметить следы какого-либо испуга или, Боже упаси, повышенного интереса.

– Ах, да ничего я не хочу, милочка! – пищит в ответ Шперлинг, жестикулируя с жеманством провинциальной тетушки. – Право, мне от вас ничего не надо! Разве что сознание того, что вы в полной моей власти, и стоит мне на вас немнезесько ляссельдиться... Хоп – и вы плепали! Хи-хи-хи! Совсем плепали! Но, вообще говоря, я совершенно бескорыстен. Чего же мне от вас добиваться, чего требовать? Мне, несчастному старику?

Шперлинг неожиданно переходит на бас:

– Дайте-ка подумать! Вдруг что и придет в голову. Сейчас, сейчас... Глядишь – и надумаю! Ага! Ну-с, извольте! Раз уж вы так настаиваете, раз уж вам поистине угодно исполнить любое мое желание, удовлетворить любую мою прихоть, я вам скажу на ушко...

Тут он разражается истерическим хихиканьем, прерываемым икотой.

– Хи-хи-хи! Ик! Ой, да бросьте! Ик! Это совсем не то, совсем, ик, не то, о чем вы мечтали в одиночестве своей холодной постельки! Хи-хи-хи! Совсем не то, к чему стремились в тайниках шаловливой души вашей! Нет, нет, нет! Чего не могу обещать, того не могу! Имею собственные горести, мадам, тяжкие разочарования... Просто я желаю, чтобы вы стали моей марионеткой. Всегда мечтал о живой марионетке. Дерну за одну ниточку – она тянет ручку, дерну за другую – поднимает ножку. Хи-хи-хи! Ну-ка, давайте порепетируем! Поднимите ножку! Ах, ладно! Экая вы сердитая! Не желаете ножку поднять – и не надо. Я вас, сударыня, и не в такой позиции видал.

Теперь он совершенно серьезен и даже строг. Весь облик этого оборотня оказывается пропитан неизвестно откуда взявшимся благородством и суховатой аристократичностью.

– Начнем с самого простого, сударыня. Первое: извольте не позднее, чем завтра в полдень, передать мне дюжину этих чудодейственных порошков, которые ваш свойственник расхвалил по всему миру. Безвозмездно. Глядишь – и пригодятся. Второе же касается вашего праведного отшельника, вашего страстного шейха. Но об этом мы поговорим позднее... А рубин я оставлю себе, милочка. У меня на его счет имеются некоторые планы.

Подавленная и злая одновременно, сидит Рашель и обдумывает свое новое чудовищное положение. Вынимает из комода и пересчитывает все оставшиеся порошки Mandragora officinarum – двадцать шесть аккуратно упакованных в папиросную бумагу порошочков с приколотой к каждой упаковке короткой запиской, содержащей точные указания к пользованию.

– Прикололи – откололи. Откололи – прикололи, – вслух повторяет Рашель, уставившись на пакетики неподвижным тяжелым взглядом. – Прикололи – откололи. Откололи – прикололи. Булавочки маленькие, тоненькие... А настоечки не угодно? Нет? Имеете, стало быть, собственные горести? Тяжкие разочарования? Вот и не будете больше иметь никаких горестей! Ни горестей, ни забот, ни ра-

зочарований… Что это я? Господи, что это я…

Обедает она у Бухбиндеров. Сидит за столом, будто онемевшая, изредка, почти машинально отправляя в рот ложку с супом.

– Тебе нехорошо? – с тревогой спрашивает Авигайль. – Может быть, я напрасно вчера отправила доктора? Или просто от моего супа портится настроение?

– Нет, Абѝ, спасибо! Вкусно… очень вкусно… Спасибо, я совершенно здорова, – отвечает Рашель, явно думая о чем-то совершенно ином.

После еды, когда Гедалья отправляется в типографию, она, наконец, решается и спрашивает, словно ненароком вспомнив какую-то мелочь:

– Да, Аби́! Помнишь, ты мне говорила, что у вас оставался яд против крыс? Можешь мне дать немножко? Я утром такую злую крысу видела!

– Ну конечно, – отвечает Авигайль. – Сейчас насыплю тебе немножечко. Только будь очень осторожна! Обещаешь?

Рашель обещает. Она будет очень-очень осторожна.

А потом наступает главное событие взбалмошного месяца адара. В Иерусалиме празднуют избавление от смертельных происков злодеев-юдофобов в Шушане, столице персидской империи. Во всех синагогах и молельнях гремят колотушки, трещат трещотки, топают по полу тысячи ног, когда читающие свиток Эстер произносят имя негодяя Амана.

В клинике протестантской миссии доктор Джеймс Файн сидит за своим рабочим столом, упираясь локтями в столешницу и сжав голову руками. Только что он получил телеграмму из Роттердама, в которой сообщается о том, что накануне, 11 марта, его друг Вильгельм Мозэс Шапиро застрелился из пистолета в Отеле Блемендаль. Он ушел во тьму непонятый, оболганный, оплеванный, лишенный надежды на спасение. Бесследно исчез, словно сквозь землю провалился, бесценный свиток книги Второзакония, написанной собственной рукою Моисея – Мойше, сына Амрама, с добавлением восьми последних стихов, добавленных на горе Нево Йегошуа бин Нуном. Один из величайших прожек-

тов человечества рухнул, не выдержав людского невежества.

– Он сжег свиток! Сжег! Как пить дать сжег! – твердит Доктор Файн, в охватившей его скорби постепенно начиная раскачиваться над столом, словно молиться по-еврейски.

И вот он уже стонет и подвывает вслух, и раскачивается все сильнее. И сами собою слетают с его искривленных горем пухлых губ неизвестно из каких темных глубин выплывшие арамейские слова:

– Исгадал вэискадаш шмеи рабо... бэалмо ди вро хирусэй вэйамлих малхусэй[114] ...

А евреям и дела нет ни до несчастного Шапиро, которого они терпеть не могли еще тогда, когда он держал свою лавку древностей на Христианской улице, ни до пропавшего некошерного свитка, в котором спорные места записаны согласно поповским поправкам, ни до выкреста Янкеле Файна, в котором еврейская скорбь проснулась аккурат в день всеобщего веселья.

В квартале Бейс Яаков, как и во всех еврейских кварталах, Шушан-пурим встречают добрыми делами, обменом сластями и безудержным пьянством, заповеданным нашими мудрецами. Шперлинг, которому, несмотря на массу приложенных усилий, так и не удалось собрать в Святом Граде труппу для постановки настоящего пуримшпиля, все же решил не ударить лицом в грязь перед провинциалами, в жизни не видавшими подлинного маскарада, и явился верхом на Фрау Билам, украшенной лентами и венком из фиговых листьев. Сам же он наряжен шейхом пустыни. Фрау Билам ревет ослом, Калб ибн Друр развлекает и без того разгулявшуюся публику какими-то несусветными тирадами на тарабарском языке, и во всем царит небывалое оживление.

---

[114] *Исгадал вэискадаш шмеи рабо… бэалмо ди вро хирусэй вэйамлих малхусэй* – Да возвеличится и освятится великое имя Его… и да установит Он царскую власть Свою, и да взрастит Он спасение (*арам., ашкеназ.*) – слова из молитвы Кадиш.

А когда на город спускается темнота и всеобщая гулянка начинает постепенно выдыхаться и затихать, одновременно с двух противоположных сторон к кварталу приближаются два совершенно неожиданные и никак не согласованные между собою шествия. С запада, со стороны деревни Лифта, на разомлевший от беспечного веселья и готовящийся отойти к праведному сну Бейс Яаков движется ватага грабителей, вооруженных ножами, мотыгами и серпами. Впереди всех вышагивает вооруженный револьвером предводитель, уже знакомый нам по описанию миссис Годсон.

И ведь никому и в голову не могло прийти, что нечто подобное может произойти из всех 354 ночей долгого 5645 года именно в эту ночь, на исходе Шушан-пурима, когда даже наши древние мудрецы, да будет их память благословенна, имели обыкновение выпивать столько, что переставали различать между злодеем Аманом и праведным Мордехаем.

Иное дело – простой будний день или, скажем, суббота. Те же самые деревенщины-феллахи, которые посылали сюда, на стихийно возникший на пустыре базар, своих жен, чтобы продать евреям редьку, помидоры и лук, могли в любую ночь явиться в квартал с факелами, мотыгами, топорами да серпами, вломиться в пару домов, вытащить из них кое-какой скарб, порешив между делом хозяев, и быстро удалиться восвояси, чтобы через день-другой снова прислать сюда своих благоверных с корзинами овощей на головах.

После трех таких налетов товарищество вынесло решение, одобренное всеми жителями. Теперь в квартале было принято оставлять пару ешиботников на ночное дежурство, с предписанием в случае тревоги стрелять из специально приобретенного для этой нужды ружья, хранящегося в доме учения заряженным и в полной боевой готовности. Одновременно со стрельбой караульным следовало свистеть в свисток и греметь трещоткой. Эти меры возымели самое благоприятное действие, и две последние попытки разбоя были столь успешно пресечены на самой ранней стадии, что со времени последней уже более полугода ни-

каких неприятностей не случалось. Похоже было, что пара ружейных выстрелов навсегда отбила у феллахов охоту искать тут легкой добычи. Надо также отметить, что все пять нападений происходили вскоре после наступления темноты, ибо честные и трудолюбивые жители Лифты, приученные к усердной работе на своей скудной каменистой земле, вставали чуть свет, а потому и спать укладывались рано.

Но вот теперь, когда им следовало бы мирно отдыхать от трудов праведных, храпя подле своих верных жен, они бредут размеренным шагом земледельцев, решительно ведомые своим таинственным предводителем, навстречу сомнительному ночному приключению.

Одновременно с тем, как они приближаются к кварталу Бейс Яаков с запада, из Мазкерес Мойше, с юго-востока, идет им навстречу Йехиэль Вайнтрауб, известный всем под именем Альбрехт. Он вышагивает в ночи в полном одиночестве, сжимая в простертой деснице ритуальный бараний рог шофар.

Долгие расчеты, подсчеты и выкладки привели Альбрехта к выводу, что именно сегодня, на исходе Шушан-пурима, настает время для великого деяния.

– Шушан-пурим, хэй– тав-рейш-мем-далет, – громко возглашает Альбрехт, вышагивая в ночи, преисполненный великой радости. – Это что значит? Это значит, что Шошана бросила ***пурим*** – жребии, и эти жребии указали ей на нынешнюю ночь. Почему на нынешнюю ночь? Да потому, что сказано: «Близится день, который не день и не ночь»! А что означают хэй-тав-рейш-мем-далет? Только мудрый сердцем и вооруженный современной научной методикой поймет: тав-рейш-мем-далет – ***т'ка рош мемшелес дудаим***! Воструби, глава правительства мандрагор! Воструби, Альбрехт, сын златовласой Шошаны бас Хилкия, от нее самой произошедший, путем соединения положительно и отрицательно заряженных полюсов и благословения, приобретенного вкушением тела священных мандрагор!

Тщательно все просчитав с утра и, по своему обыкновению, перепутав пятерку и четверку, Альбрехт принял на закате двойную дозу порошка Mandragora officinarum. Сей-

час он чувствует, что во чреве его поворачивается драгоценный плод, явления которого ждут, стойко претерпевая тяжкие муки, бесчисленные поколения народа Израиля, доныне не вооруженные современным научным знанием.

– А что же сообщает нам буква «хэй» пяти завершенных тысячелетий, открывших путь последнему, шестому тысячелетию истории? – вопрошает Альбрехт сияющие в ночном небе полную луну и звезды – воинство небесное. – Это даже древние знали. Имя Господа! Имя Господа, от имени «Шошана» посредством отрицательного электрического заряда отлепившееся и к имени «Шушан» посредством положительного электрического заряда приставшее! Все сходится! Все сходится! Ликуйте, сыны и дщери Израилевы! Выходите встречать спасителя вашего, помазанника долгожданного! Вот-вот явится он из чрева моего при звуках шофара великого!

Альбрехт очень хорошо умеет трубить в шофар. Может быть, лучше всех в кварталах Мазкерес Мойше и Бейс Яаков вместе взятых, а уж о прочих кварталах и говорить нечего. На Дни Трепета так, бывало, протрубит: «ткиа-шварим-труа-ткиа», что у всех мурашки по коже поползут. Но в эту ночь ему предстоит не обычное трубление. Тут уж придется напрячь все физические и духовные силы, все скрытые возможности воплотить в реальные научные показатели, которые превзошли бы все, зарегистрированные ранее. Говоря языком простого народа: чтобы земля сотрясалась и небо содрогалось. Вот уже подходит он к южному фронту притихшего квартала...

– А почему все должно свершиться именно в квартале Бейс Яаков? – хитро улыбаясь, спрашивает Альбрехт раздутую, словно готовую разродиться тысячей мельчайших помазанников, бледную луну. – А-а-а! Разве не сказано в Писании: «Душ дома Яакова – семьдесят». Семьдесят! Гематрия «дудаим» – шестьдесят пять, гематрия буквы «хэй», буквы Господней, к Шушану прилепившейся – пять. Итого: семьдесят! Понятно всем, наконец?!!

С запада врывается в беззаботно похрапывающий квартал разбойная ватага, предводительствуемая таинственным

немым вожаком. Помавая пистолетом, он решительно ведет толпу на приступ. И вот уже мотыги и топоры обрушивают яростные разрушительные удары на главную дверь крайнего дома, в котором Янкел Бойм и Биньюмен Дрейер, вскочив, как ошпаренные, с постелей, в ужасе мечутся по комнатам, натыкаясь на стулья. Совершенно не соображая, что делает, Биньюмен распахивает дверь изнутри и тут же получает оглушительный удар чем-то тяжелым по уху. Янкел швыряет в ворвавшегося первым разбойника стулом и сам падает лицом вниз, не рассчитав силы замаха.

И этот момент с востока доносится мощный голос великого шофара. Ткиа-шварим-труа-ткиа!

С того единственного раза, когда сыны Яакова «видели голоса» у горы Синай, еще никогда не разрывали ночную тьму подобные звуки. Ткиа! Долгий, исполненный неземной тоски трубный стон, словно спускающийся с матово сияющей полной луны. Шварим! Три коротких громогласных вскрика, будто вырвавшихся в ответ на первый вселенский сигнал из глубины земных недр. Труа! Россыпь кратчайших звездных уколов. Ткиа! Мировой зов, способный поднять из могил и соединить заново давно рассыпавшиеся в прах останки сухих костей.

Мужи квартала, еще не распавшиеся на составляющие их химические элементы, но все же словно разобранные на части после праздничного разгула, при этих грозных пронзительных голосах приходят в себя от забытья и, поспешно натягивая какую ни на есть одежду, выскакивают в двери. Жены их, бормоча молитвы, высовываются в окошки.

Ткиа-шварим-ткиа!

Но более всего потрясены трубным гласом суеверные феллахи. Побросав на месте мотыги, серпы, топоры да факелы, они подхватывают полы своих галабий и что есть мочи бегут прочь из одержимого шайтаном квартала.

Ткиа-труа-ткиа!

Мужественный и, видимо, свободный от суеверных страхов предводитель пытается остановить свою позорно бегущую шайку.

– Марратан ухраа, уаджубна!!![115] – во всю силу легких кричит немой.

Его призыв не помогает, и тогда он, высоко подняв руку, стреляет в воздух из своего пистолета.

В этот миг он более всего похож на Бонапарта на Аркольском мосту, каким изобразил великого полководца художник Жан Антуан Гро. Измените его наряд и прическу, отбросьте совершенно неуместное знамя, уберите саблю в ножны и дайте ему в правую руку вместо нее пистолет – вот так, подняв его вверх дулом, да и всю руку вытянув повыше – и сходство получится совершенно полное.

Но и это не помогает. Он пытается выстрелить снова, но пистолет только слабо щелкает. Еще одна попытка – с тем же сомнительным успехом! Видимо, выпущенный в воздух заряд был последним.

Видя это, трое пытаются тут же схватить его. Один из нападающих – Гедалья Бухбиндер, успевший поймать его левое запястье. Разбойник бьет его своим пистолетом по руке. Пистолет падает на землю. Гедалья, вскрикнув от боли, разжимает руку. Бонапарт Иудейских гор увертывается от двух других и бежит вглубь квартала. Преследуемый со всех сторон, он мечется между домами. Вот он скрылся за фиговым деревом. Никакая резвость не поможет ему уйти от преследования пылающих праведным гневом жителей квартала! Сейчас его схватят у дома Фридляндера, и уж тогда-то заговорившему немому придется много чего рассказать...

Но каким-то совершенно сверхъестественным образом главарю разбойников удается исчезнуть. Он словно бы растворяется в ночи. Только что был тут – и вдруг его не стало!

Долго еще, подобрав брошенные феллахами факелы, обшаривают жители квартала Бейс Яаков все его углы. Никого!

Несколько женщин ухаживают за пострадавшими Биньюменом и Янкеле. Тут же, рядом с ними, остается не

---

[115] *Марратан ухраа, уаджубна*!!! – Назад, трусы!!! (*араб.*).

разродившийся, но продолжающий бесноваться Альбрехт, которого пришлось связать по рукам и ногам.

Реб Шлойме Шварц пробудился с некоторым опозданием. Он растворяет ставни, выглядывает в окно. Что могло его потревожить? На дворе глубокая ночь. Покой. Земля по-прежнему на земле, небо – все еще на небе, между ними много лишнего пустого пространства. Он закрывает ставни и снова ложится спать.

Только Рашель, кажется, так и не просыпалась, не слышала ни трубного гласа, ни выстрела, ни гомона и суматохи растревоженного квартала.

Авигайль растирает сильно ушибленную руку мужа. Он настолько возбужден, что совсем не чувствует боли. На столе перед ним лежит только что подобранный бельгийский шестизарядный револьвер Nagant модели 1878 года – теперь, кажется, совершенно бесполезный, без единого заряда.

– Семь причин, – едва слышно произносит Гедалья. – Видишь, Ави: даже семи причин оказалось недостаточно для самоубийства.

Письмо госпожи Фортуны Наси барону Эдмону де Ротшильду

Высокочтимый господин барон,

считаю своим долгом сообщить Вам о самостоятельно принятом мною решении, в связи с только что предложенным мне нововведением в пользующейся Вашим покровительством школе Alliance israélite для девочек.

Господин Карл Шперлинг, театральный постановщик и антрепренер из Вены, находящийся ныне в Святом Граде Иерусалиме, в частной беседе предложил мне свои услуги в качестве преподавателя сценического искусства в вверенной моей заботе школе. Суть его предложения состояла в том, чтобы девочки в возрасте 14 лет и старше, уже проходящие у нас курс бальных танцев, занимались под его руководством драматическим ремеслом и пением. Аналогичное предложение он сделал также моему брату, Нисиму Наси, директору школы для мальчиков «Тора и ремесло», о чем тот Вам, несомненно, уже докладывал.

Ранее этот господин уже обращался к нам с прожектом театральной «мастерской» для желающих разыгрывать драматические и комические представления к праздникам. Желая на опыте проверить целесообразность и успешность такого начинания, мы назначили в нашем доме встречу лиц, заинтересованных в развитии искусств, с господином Карлом Шперлингом, имевшую некоторый успех. По следам общей дискуссии и по предложению моего брата, Нисима, решено было начать чтение по ролям древнееврейской комедии Йегуды Соми Порталеоне из Мантуи «Цахут бдихута декидушин»[116]. (Господин Шперлинг предлагал чтение итальянской комедии «Дудаим» в новом переводе, над которым трудится знакомый Вам друг наш, Гедалья Бухбиндер, но общество приняло предложение моего брата.) Одна-

---

[116] *«Цахут бдихута декидушин»* – «Комедия обручения» (*арам.*), пьеса XVI в., написанная на иврите.

ко, после трех «репетиций», занятия, в которых, кроме членов нашей семьи, сначала приняли участие пятеро господ и две дамы, сами собою прекратились, так как на второе чтение явились только двое господ и одна дама, а на третье – только дама.

Внимательно выслушав новый прожект господина Шперлинга и мысленно взвесив все pro et contra[117] его предложения, и прежде всего, имея в расчете общее мнение семей, вверивших мне воспитание своих чад, я сочла разумным от него отказаться. Аналогичное решение было принято также моим братом в руководимой им школе.

Пребываю в надежде на Ваше полное одобрение, господин барон.

С совершеннейшим почтением и пожеланиями всяческого благополучия и благоденствия,

преданная Вам
Фортуна Наси

Иерусалим. 20 адара 5645 года (7 марта 1885 года)

---

117 *Pro et contra* – за и против (*лат.*)

IX

Глава, в которой происки злонамеренных растений приводят одну из героинь к страшному преступлению, а другими овладевает соблазн дальних странствий

– Только к Торе Господней влечение его, и Тору изучает он днем и ночью...

Какой голос! Какой неописуемый голос! Отныне вечно звучать сладкозвучному стиху первого псалма Давидова, произнесенному этим неземным голосом, в голове Янкеле Бойма, литься струею густого субботнего вина, повторяться раз за разом, словно записанному на фонограф Томаса Альвы Эдисона.

Отчего так сдавило грудь бедного Янкеле? Ведь ушиб он, храбро сражаясь с разбойниками, вовсе не грудь, а только локти да правое колено, когда упал в пылу сражения. Отчего кру́гом идет голова, не подававшая признаков слабости после двух часов прилежного учения? Ведь это у соседа и приятеля его, Биньюмена Дрейера, должна бы кружиться голова после того страшного удара по уху! Когда бы в той голове завязли голоса, не находящие выхода наружу, это еще можно было хоть как-то объяснить. Но нет – вот он, Биньюмен, сидит себе с перевязанной головою, улыбается, как ни в чем не бывало. А он, Янкеле, пропал. Совсем пропал. Ангел Господень коснулся его своим крылом – и оставил калекой, от которого теперь проку ни на грош. Какое тут учение! Ничего в голову не лезет. Он уже не различает ни хриплых слов, ни невнятных фраз, слабо сочащихся из полуприкрытого, чуть перекошенного рта реб Шлойме, того самого рта, который после возвращения старика на землю стал все больше скашиваться на сторону и все меньше пропускать звуков. В ушах Янкеле звенит голос ангела Господня, в глазах – мерцание и переливчатый туман, не даю-

щий различать буквы на раскрытой перед ним странице.

Четыре огненных ока прожгли ему четыре сквозные дыры в груди – одну пару над другой. Красные мягкие губы вот-вот коснутся его, уменьшившегося до размеров мизинца, навсегда запечатают его онемевший рот, как царский указ, мягким расплавленным сургучом. И не будет больше Янкеле – одна бессловесная и бессознательная бандероль. Даже и вспомнить его некому…

– Ну, и которая же из двух тебе больше понравилась? – спрашивает Биньюмен, когда реб Шлойме, давно уже клевавший носом, засыпает над своим листом Гемарры.

После героической обороны квартал Бейс Яаков принялись жаловать визитами многие видные горожане. Непременной частью этих визитов было посещение больных, пострадавших при ведении военных действий. На некоторое время Янкел и Биньюмен стали героями, которых всяк готов был превозносить до небес, жалеть и задаривать подарками. Не составило исключения из общего правила и семейство Наси – господин Нисим, сопровождаемый сестрами Фортуной и Кондессой.

Собственно, в дом учения, где проводили большую часть своего дня Биньюмен и Янкел, они заглянули ненадолго. Более того, пока господин Нисим беседовал с изучающими слово Божье, барышни, чтобы не нарушать святости места, скромно стояли возле двери. Тем не менее, начитанная и острая на язык Кондесса не смогла удержаться, чтобы не произнести своим низким певучим голосом, с легчайшим оттенком иронии:

– Только к Торе Господней влечение его, и Тору изучает он днем и ночью…

Старшая же, Фортуна, как пристало мудрой наставнице по призванию и в должности, мягко, но твердо взяла ее за руку и бросила на нее добродушно укоряющий взгляд.

– Что значит: которая из двух? – изумленно переспрашивает Янкел.

– Ну, брось, не притворяйся! – продолжает дразнить его приятель. – Всякий бы заметил, что ты совсем сомлел.

Но скажи, к которой сватов посылать: к младшей или к старшей?

Потрясенный одновременно и бесцеремонностью вопроса и содержащимся в нем откровением, Янкеле не находит, что ответить. Уж не морочит ли его нарочно этот Биньюмен?

– Старшая, пожалуй, красивей будет, – не унимается тот. – Но она тебе в матери годится.

Нет, видно все так и есть. Ведь Янкеле и самому известно, что в семействе Наси две сестры. Вот они и предстали пред ним обе и, если бы он не так старательно опускал глаза к полу, едва пронзили его эти четыре огненные ока, то, верно, заметил бы, что, если то был все же не ангел, а плоть и кровь, то было этих живых существ не менее, чем два. Не бывает же у людей четырех глаз, даже у женщин! Где это про такое слыхано...

Да, но что, если это все-таки ангел... или демон?

«Что же это такое? – вероятно, изумится долготерпеливый читатель, до сих пор стоически переносивший описания бесчисленных иерусалимских аномалий. – Это уже вовсе ни на что не похоже! Многое можно себе хоть как-то представить даже раздвоения личности, неоднократно описывавшиеся в науке, но такого явления, как соединение двух вполне благонамеренных личностей в одну, причем еще какую-то ангельскую или демоническую – это слишком даже для Иерусалима!»

«Неужели эти сестры Наси столь неотразимы? – весьма вероятно, добавит прежде снисходительная к авторским изъянам читательница. – Ни о чем таком нам ранее не сообщалось!»

Автор должен признаться, что и сам не подозревал ни о чем подобном. Когда-то, в совсем другой своей книге, самой первой и самой незрелой, он даже позволил себе некое рассуждение на тему недобросовестности авторского всезнания. Откуда-де автору взять абсолютное знание своих персонажей, если он и о себе-то рассуждает, как дилетант. Или нечто в этом роде – сейчас он уже и не упомнит.

Так или иначе, он должен признать, что вовсе не собирался создавать образы сестер неземной красоты. Он уже заметил, что сестры Наси несколько крупноваты во всем, начиная с фигуры и кончая чертами лица, и даже в певучем низком голосе Кондессы сам он не слышал ничего, что могло бы возвести ее в ангельское достоинство. Фортуна, с которой она имеет большое сходство, изваяна, может быть, чуть более изящно, но все ее 35 лет, известные в мировой литературе как «бальзаковский возраст», что называется, при ней и никуда не прячутся. В ее черных волосах на самом видном месте красуется седая прядь. Она достаточно хороша, чтобы служить для своих учениц образцом благородной женственности, к которому следует стремиться, но достичь которого дано далеко не всем. Однако уже в старшем, третьем, отделении школы найдутся несколько юных барышень, для которых любимая директриса и чересчур стара, и излишне смугла, и несколько «тяжеловата» в сравнении с их идеалами тех «эфирных существ», какими они склонны видеть себя самих, хотя бы в ближайшем будущем.

Что же получится, если привести сестер Наси на строгий суд какого-нибудь особенно чувствительного к красоте живописца, вроде мистера Уильяма Хольмана Ханта из Братства Прерафаэлитов? Тут, несколько неожиданно для всех нас, может обнаружиться, что и правда, во мнении несомненных законодателей красоты, они чрезвычайно близки к эстетическому совершенству.

Этот новый английский мастер, еще несколько лет назад проживавший в собственном доме на Задней дороге, в каких-то десятках шагов от нынешней школы для девочек, но незадолго до возвращения семейства Наси в Иерусалим уехавший в Лондон, был некогда страстно влюблен в некую Фанни Во. Эту Фанни он не только неоднократно писал, но и сделал своей женою. Более того, когда несчастная умерла родами во цвете лет, мистер Хант женился на ее сестре Эдит. По утверждению художника, бедняжка Фанни посмертно изображена им в картине «Изабелла и горшок базилика», иллюстрирующей прославленную поэму несчастного

Джона Китса. Кто только не изображал героиню, в порыве страстного влечения прильнувшую к горшку с ароматическим растением, произросшим из мертвой головы возлюбленного! Но ни Джон Эверетт Милле, ни Джордж Генри Мэнтон, ни Уильям Уотерхауз не сообщат нам ничего относящегося к делу, сколь бы проворны ни были их кисти. Однако Изабелла на картине Хольмана Ханта, то бишь, Фанни, являет собой словно бы писанный с натуры портрет Кондессы Наси. Если дотошный читатель решит сравнивать образ Изабеллы с другими портретами Фанни, сделанными при жизни, то скоро убедится, что всякое сходство с Изабеллой, а, следовательно, и с Кондессой, в них отсутствует. Вместо склонной к полноте смуглянки с широким лбом над густыми черными бровями, сильными скулами и подбородком, большими чувственными губами и темными магнетическими глазами дочери Востока, с портретов и фотографий на него станет смотреть бледная изможденная английская леди с запавшим ртом-копилкой, сложенным в подобие чопорной гримасы.

К чему тут все эти рассуждения? Не станет же автор утверждать, вопреки всем историческим фактам, что живописец изобразил на своем полотне Кондессу Наси? Ни в коем случае! Он всего лишь хочет подчеркнуть, что воображение склонно играть в свои собственные игры, ничуть не связанные с уроками академического рисования с натуры. Более того, пожелав изобразить идеализированный образ возлюбленной, некий образчик безупречной красоты, художник может повернуть один тип несовершенства в прямо противоположном направлении и, утратив по дороге всякое сходство и приведя его к другому типу несовершенства, остаться вполне доволен результатом и объявить его совершенством, которому сам же станет восторженно поклоняться.

Что уж говорить о Янкеле Бойме, который, в отличие от художников-прерафаэлитов, не всматривается часами в сидящую перед ним в заданной позе натуру, а лишь позволяет себе на долю секунды скользнуть по ней заранее смущенным взором! Тут уж от двух вполне телесных бары-

шень тридцати пяти и двадцати трех лет до одного ангела дистанция весьма короткая. Особенно, если и душа, и тело постоянно жаждут чего-то невероятного, невиданного и неслыханного.

Итак, Янкеле Бойм сражен четырехглазым ангельским взором и гласом, донесшимся из мира горнего. Но произвел ли сам Янкеле, сын Шмуэля и Хаи Брохи, с самого своего появления на свет, произошедшего восемнадцать лет назад, и проводящий свои дни в мире дольнем, хоть какое-то впечатление на ангельских сестер?

Наблюдательная госпожа Фортуна, конечно, заметила его, но перевязанная голова Биньюмена сосредоточила на себе куда более значительную долю ее внимания, в котором, впрочем, нет смысла искать ничего, кроме естественного сострадания.

А что же барышня Кондесса? Если она нашла уместным при виде юных школяров заговорить словами псалма, то, видно, уж разглядела и того из них, чьи глаза были крепко прикованы к листу Гемарры...

Ничего она не заметила, кроме того, что какой-то мальчишка изо всех сил старается показать всем вокруг и, в первую очередь, своему наставнику, что кроме учения его ничто на свете не занимает. И это наивное притворство привело ее в шутливое расположение духа. Не заметила наблюдательная барышня Кондесса ни того, что на какой-то кратчайший миг он все-таки оторвал глаза от книги, и глаза эти были огромные, серо-зеленые, смертельно испуганные, окруженные длинными, совсем женскими ресницами, ни того, что при звуке ее голоса он не только глаза эти, но и всю свою фигуру будто впечатал в раскрытую книгу. Ничего важного она не заметила. И произошло это не из стыдливости, не позволяющей внимательно наблюдать за окружающими, и не из чванства, которое у нее отсутствовало вовсе, а просто оттого, что перед ее мысленным взором постоянно находился молодой учитель, господин Рубин, совсем не умеющий танцевать, но зато умеющий так чудесно улыбаться и так увлекательно рассказывать про новейшие веяния в науке педагогии.

Нет, Янкеле, даже став одним из героев обороны квартала Бейс Яаков, даже снискав всеобщую симпатию, остался, в сущности, не замеченным и незаметным. Имя его, хоть и упомянутое в обеих иерусалимских газетах, забылось всеми уже на следующий день после их прочтения. Быть может, так оно и лучше – прожить свою скромную жизнь незаметно, опустив глаза в книгу, женившись, не глядя, по распоряжению старших, по сватовству, родив и воспитав таких же незаметных детей...

Совсем по-иному, причем в худшем направлении, обратилось отношение общества к истинному герою и спасителю положения, опасного для жизни и имущества людей. Повязав Альбрехта по рукам и ногам, доброхоты из одного квартала передали его отцам и наставникам другого, а те, в свою очередь, долго совещались и, все тщательно обсудив, приняли решение требовать от медицины, в лице выкреста доктора Файна, решительных мер. Подумать только: сегодня этот больной среди ночи пошел трубить в шофар, а завтра он, не дай Бог, может пойти и поджечь город! Необходимо его строжайшим образом отделить от всего внешнего мира, поместить в клинику под замок и держать там, пока господин ученый доктор не соизволит его вылечить совершенно, или, не дай Бог, он окончательно и бесповоротно, не про нас будь сказано, не отправится туда, куда прямым путем идет всякая плоть, и где пребывает до страшного суда. Конечно, лучше всего было бы усадить этого опасного для общества Вайнтрауба в Яффе на пароход и отправить его за море, к родным, в Баварию, чтобы раз и навсегда избавить Святой Град от его сумасшествий. Но где взять на это деньги? Нет уж, пусть этот выкрест позаботится о своем подопечном за счет протестантской миссии! Пусть посадит его, как принято во многих заведениях просвещенной Европы, на цепь, и держит его в наручниках, колодках, смирительной рубахе, с повязкой на глазах и с кляпом во рту.

Доктор Файн, однако, вступился за несчастного Альбрехта, напомнив членам совета, что тот не только никому не

повредил своим поведением, но даже спас целый городской квартал от разбойничьего налета. Он, со своей стороны, не видит в нем угрозы обществу и опасности для горожан. Истинной же причиной необычного поведения Альбрехта, по его абсолютному медицинскому убеждению, является не его внутреннее состояние, лишь незначительно отклоняющееся от нормы, но принятые им в неверной дозировке порошки Mandragora officinarum. И он решительно требует прекратить распространение этого растения и любых изготовленных из него препаратов. Как ему известно, уже неоднократно случалось, что действие мандрагоры на человеческий организм оказывалось опасным и совершенно непредвиденным. Таким образом, если главы общины действительно озабочены порядком и безопасностью города и его жителей, им следует поддержать его мнение и обнародовать соответствующий документ. И он им настоятельно советует именно так и поступить, иначе он вынужден будет обратиться по этому поводу к властям.

Такого поворота дела члены совета никак не ожидали. Выкрест, ранее пользовавшийся снисходительным доверием евреев, очевидно, поставил себе целью злонамеренно препятствовать борьбе с бесплодием среди сынов и дщерей Израиля, дабы не допустить роста рождаемости, упрочения общины и приближения избавления. Ради этого он полон решимости лжесвидетельствовать перед властями, чтобы на чудодейственное почтенное средство, которым Пресвятой, да будет Он благословен, наградил Землю Израиля, был наложен запрет! И все это угрожает народу Израиля по милости одного сумасшедшего, сидящего под домашним арестом в квартале Мазкерес Мойше!

Тут доктор Файн, видя, что слова его произвели на делегацию самое устрашающее впечатление, придал своему лицу менее суровое выражение и заявил, что, прежде всего, его пациент, Йехиэль Вайнтрауб, нуждается в очередном сеансе франклинизации. Если прописанный ему курс лечения будет и впредь прерываться, последствия, действительно, могут оказаться опасными для здоровья больного и общественного спокойствия. Но, если господа из совета

готовы немедленно освободить Вайнтрауба и позволить продолжение процедур, он, доктор Файн, сделает все возможное, чтобы никаких экстренных происшествий не случалось, а вопрос о продаже и использовании Mandragora officinarum согласится обсудить позднее, при участии всех вовлеченных сторон, не исключая и пользующегося его уважением Довида Фридляндера.

В тот же день Альбрехта наблюдали бегущим за ослицей Фрау Билам с сумрачным Карлом Шперлингом на спине, которые проследовали из квартала Оэль Моше в Старый Город. Альбрехт призывал равнодушное животное омыться в целебных водах Силоамского источника, чтобы обелиться в глазах Бога и человека.

Шперлинг, привыкший на любом представлении, даваемом жизнью, находиться, как сказали бы русские, «в царской ложе», был немало обескуражен тем, что пропустил ночную драму в квартале Бейс Яаков. Бездарно проспав в своей постели и трубный глас, и выстрел, он стал вдруг каким-то иным, незнакомым Карлом Шперлингом. Он по-прежнему менял свои обличья и манеры, но все они при этом оставались непривычно тяжеловесными. Сам же он, казалось, постоянно пребывал где-то в отдалении. Что-то, похоже, непрестанно варилось в его голове, строились и рассыпались какие-то дальние планы, рассматривались и пересматривались некие схемы, наводились и разводились невесть какие мосты, строились и рушились воздушные замки. Продолжая появляться у Бухбиндеров, он уже мало и как-то вяло интересовался комедией иерусалимских нравов, словно нехотя отдавал дань давним легкомысленным увлечениям прежнего Карла Шперлинга.

Получив от Рашели порошки, он велел ей передать некую записку «таинственному шейху», но, узнав, что записка передана, он уже встречал госпожу Гойзман рассеянно и равнодушно, едва здоровался и невпопад интересовался погодой или здоровьем президента Французской республики.

Однажды, когда Рашель сидит за чаем у Гедальи и Авигайли, Шперлинг является и, с места в карьер, сообщает с

самым таинственным видом:

– А сейчас, Meine Damen und Herren[118], я вам сообщу нечто совершенно невероятное!

Рашель бледнеет, но он не обращает на нее ни малейшего внимания и продолжает:

– Сногсшибательная новость моя состоит в том, что через два дня, не позднее, я вас покидаю. Еду к морю. К морю! Свободная стихия кати̂т валы лихие! Да и вы засиделись в своем каменном мешке. Вянете вы тут, как и все тут вянет. Фрау Бухбиндер, посмотрите на себя в зеркало! Где свежий румянец, где блеск в глазах? Бледная немочь! Поезжайте на море, подышите солью и йодом! Но, впрочем, как хотите, а я так больше не могу...

Шперлинг демонстративно рассвобождает воротник рубашки, показывая, что задыхается. Что за город этот Иерусалим! Ему даже подумать страшно о том, чтобы пережить здесь пасхальную неделю.

Есть в его настроении нечто такое, что даже Гедалья, долго находивший его забавным, сегодня мечтает поскорее от него отделаться и рад-радешенек, что через два дня театральный деятель будет вдыхать соль и йод вдалеке отсюда.

Рашель чувствует себя очень нехорошо. Она словно и вправду задыхается в каменном мешке и, не в силах переносить присутствие Шперлинга, торопливо прощается.

– Позвольте вас проводить, сударыня! – немедленно вызывается тот, растянув рот в людоедскую улыбку. – Путь дальний – через двор, мимо древа познания добра и сами знаете чего... Вам нужен cicerone[119]!

Чуть выйдя за дверь, злобно шипит у нее над ухом:

– Я в отъезде намереваюсь посетить некоторые места и найти применение вашим порошочкам. Горе вам, матушка, ежели они плохо подействуют! Тотчас донесу о вас властям!

И уже за деревом, у самого ее дома, добавляет:

---

118 *Meine Damen und Herren* – дамы и господа (*нем.*).

119 *Cicerone* – чичероне (*ит.*).

– Али-Бабе вашему передайте: к возвращению своему я жду обещанного. Терпение мое поистине беспредельно, но отступаться я не намерен. Не получу – сгною обоих в подземелье с крысами!

Что же произошло с Карлом Шперлингом в последнее время?

Всего-то ничего. Карл Шперлинг, вернее, Калев бен Дрор, посватался и получил отказ. Явился он как-то в дом семейства Наси, полный радужных надежд и самых грандиозных планов. Госпожа Фортуна встретила его любезно. Он, стремясь произвести наисильнейшее впечатление, не стал рассуждать про театральные прожекты, но сразу же бросился ей в ноги и начал нести громогласный и высокопарный бред про жаркую страсть и слезы в ночи. В ответ госпожа Фортуна велела ему подняться с колен, сесть на стул и выпить чашечку кофе, дабы успокоиться.

Внешне они расстались друзьями, и Калев бен Дрор даже проникновенно обещал ей навсегда сохранить в своем сердце то высокое чувство, которое привело его к ее ногам. Но Карл Шперлинг был вне себя от возмущения. О чем думает эта безмозглая старая дева? Может быть, она думает о том, что она невесть какая находка для любого благородного жениха? Что она такая уж неотразимая приманка, со всем своим никому даром не нужным образованием, с этим изрядно раздутым состоянием, с весьма сомнительным происхождением, со всей этой невостребованной красой? Да думает ли она вообще, способна ли она думать, если позволяет себе вот так, сходу, отвергнуть его предложение? Ведь и на прямо поставленный вопрос, кто его счастливый соперник, она отвечала: «никто». Вот и останется она с этим «никто» до старости, которая уже стучится в дверь ее богатого дома высохшей, дряблой своей рукою! А он?! Неужели до конца дней ему предстоит вести эту сирую плутовскую жизнь в долг, среди интриг и интриганов? Прощайте, стало быть, мечты о спокойном и беззаботном дрейфе по тихой полноводной реке жизни за спиною богатой супруги! «Стареющей провинциальной дуры» – иначе он теперь ее

и не назовет. Фортуна? Schlappe, Unglück, Fatalität![120]

Нет, ничто больше не держит его в Иерусалиме. Порошкам мандрагоры, чудесным действием которых он желал изумить свою будущую жену в брачную ночь, он найдет лучшее применение. Бесценный рубин обеспечит его старость. Записки разбойника Иудейских гор принесут ему мировую славу. Он, Карл Шперлинг, в проигрыше не останется, не то что провинциальная дурища, обучающая провинциальных дурочек дурацким провинциальным манерам...

– Два дня, – думает Рашель, сидя за столом реб Довида и неподвижно глядясь в стеклянную чернильницу, чернило в которой давно высохло за долгим неупотреблением и образовало подобие амальгамы, так что чернильницей можно вполне пользоваться как зеркалом. – Два дня, а потом уже поздно будет. Я стану убийцей. Cette femme est un assassin[121]. Господи, что же делать?

Мысль о том, что этот отвратительный Шперлинг через два дня поедет к морю и найдет там, как он выразился, «применение» смертельному яду против крыс, бросает ее то в жар, то в холод.

«Нажрется и будет кататься по полу, корчась от боли и пуская изо рта вонючие пузыри», – думает она. – «Еще и двойную дозу примет для надежности... Знаю я этих маньяков! Или, еще того хуже – продаст всю дюжину ни в чем не повинным людям. И все они умрут в страшных мучениях. И это все по моей милости!»

От этой мысли, прежде ее не посещавшей, Рашель приходит в такое отчаяние, что у нее начинает кружиться голова и к горлу подкатывает тошнота.

«Не мог, гад ползучий, сразу же, в первый же день отравиться, пока я ни о чем не думала и ничего не чувствовала, кроме того, как я его ненавижу и боюсь! Сдох бы тогда же – я бы и не раскаялась... Или, может быть, пришла бы в ужас, но это было бы уже в прошлом и быстро бы за-

---

[120] *Schlappe, Unglück, Fatalität* – Поражение, несчастье, неудача (*нем.*).
[121] *Cette femme est un assassin* – Эта женщина – убийца (*фр.*).

збылось. Но он, гад, нарочно все так подстроил, чтобы мне всю жизнь отравить!»

Рашель выпивает кружку воды и начинает ходить по комнате, хватаясь за стены и за все попадающиеся ей на пути предметы, словно утопающий за соломинку. Она старается сосредоточиться и придумать что-нибудь, что укажет выход из этого безвыходного положения. На помощь со стороны рассчитывать не приходится. После неудачного налета на квартал незадачливый герой-любовник несколько часов просидел у нее под кроватью и скрылся перед самым рассветом, пообещав на прощание найти способы видаться с нею и умоляя ни в коем случае его не искать. С тех пор о нем – ни слуха, ни духа.

«Вот так любовь окрыляет мужчину», – едко думает Рашель. «Надо просто забраться этой же ночью в логово мерзкого Шперлинга и украсть у него порошки. Но как же их украсть? Я даже не знаю, где он их держит! Надо его убить и потом обыскать комнату. Нет, надо пойти к нему и во всем признаться, пока не поздно! Нет! Это все глупости! Глупости! Absurdité[122]! Я, как только увижу его подлую физиономию, сразу же передумаю сознаваться и плюну в его отвратительные змеиные глазенки. Ничего не выйдет! Выкрасть эти страшные порошки, выкрасть – иного выхода нет! Но как это сделать?»

И тут Рашель начинает рисовать в своем воображении совершенно невероятную сцену. Вот она украдкой, чтобы не быть замеченной хозяевами дома, подбирается к двери Шперлинга в квартале Оэль Моше… Нет, лучше не к двери, а к окну. Она стучится в окошко. Этот мерзавец высовывает голову… Господи, как трудно удержаться, чтобы тут же не размозжить эту отвратительную голову камнем! Он видит ее и идет отпирать. От изумления и неожиданности он даже не надевает ни одного из своих многочисленных париков и предстает перед нею совершенно лысым.

– Омерзительным лысым чудовищем, похожим на старую задницу! – в голос кричит Рашель.

---

[122] *Absurdité* – абсурд (*фр.*).

Она снова усаживается за стол.

На гадкой лысой физиономии написано изумление. Шперлинг подозрительно спрашивает, что ей угодно. Она совершает над собою страшное усилие, изображает робкую улыбку и, вместо того, чтобы тут же изо всех сил ударить его по голове тяжелой напольной жаровней, говорит, что пришла, потому что не может больше терпеть и желает, пока он еще не уехал навсегда, немедленно ему отдаться.

– Тьфу! – Рашель в ярости топает ногою. – Никто никогда не поверит! Какая из меня актриса! Ну и ладно, не поверят и не надо. Я аплодисментов не требую. Главное – добраться до этих пакетиков с ядом...

Она вешается ему на шею и начинает громко, чтобы скрыть отвращение, чмокать его в обе щеки и в эту противную лысину. Говорят, есть такие женщины, которым чем противнее, тем приятнее... И старается его таким образом воспламенить, вместо того, чтобы сразу же задушить рваным чулком. Он что-то бормочет о своих проблемах и, вынужденный держаться на высоте, мерзкий лысый impuissant[123] лезет в потайной шкафик за порошками. Тут она хватает стул и сзади наносит этому пакостному уроду удар такой силы, что стул раскраивает эту гадкую башку, словно орех.

Опять не то! Надо было как следует рассчитать силу удара, чтобы только слегка оглушить это чудовище и, воспользовавшись моментом, схватить пакетики с ядом и убежать из этой проклятой норы!

– Не могу! – в полном отчаянии стонет Рашель. – Не могу ничего рассчитывать! Убью, как увижу!

Она начинает все более сознавать, что признание и покаяние – единственный для нее выход. Но не перед этим же мерзким чучелом каяться!

Жадно выпивает она еще одну кружку воды и решается идти к своей лучшей подруге. Куда же еще?

У Бухбиндеров, совершенно неожиданно, гости: Джеймс

---

[123] *Impuissant* – импотент (*фр.*).

Файн со своей мрачной, похожей на пастора, женой Доротеей и еще одна совершенно не знакомая ей англичанка. Читатели сразу же узнают в ней Офелию Грэйс Патришу Годсон. Все, и гости, и хозяева, так оживлены и веселы, что Рашель хочет немедленно провалиться сквозь землю. Но Авигайль решительно тянет ее к столу.

Там, сидя перед стаканом чаю и энергично помахивая в такт словам чайной ложкой, выдающаяся американская писательница громогласно заявляет, что никогда не простила бы себе, если бы упустила возможность провести в Иерусалиме и Easter, и Passover[124].

– Как вы это называете, мистер Би? Можно, я буду звать вас мистер и миссис Би, мои дорогие? Splendid![125] Так как? Песах! Пе-сах! Как это звучно! Как торжественно и убедительно! И, знаете: очень похоже на Passover, не правда ли? Я обязательно запомню: Пе-сах! И, конечно же, мандрагоры уже цветут, и скоро нужно ждать созревания плодов.

– Вполне возможно, что уже отцвели, – замечает Гедалья. – В книге Бытия говорится о том, что Реувен нашел мандрагоры и принес своей матери в разгар жатвы… И это многих удивляет, потому что плоды созревают уже весной, в середине или конце нисана. Вспомните «Песнь Соломона» – там речь идет о весне. Возможно, Реувен принес Лее вовсе не ягоды, а корни… Но мы можем хоть завтра же пойти на участок рабби Моше Графа и проверить.

Авигайль представляет гостье Рашель, подчеркивая, что та живет в колонии Петах-Тиква и трудится на земле: A new fresh life on the old soil[126].

– Муж ее, вы не поверите, разводит там… Гедалья, как называются страусы по-английски?

– Ostriches[127].

– How amazing![128]

---

[124] *Easter… Passover* – Пасха… Песах (*англ.*).
[125] *Splendid* – великолепно (*англ.*).
[126] *A new fresh life on the old soil* – новая молодая жизнь на старой почве (*англ.*).
[127] *Ostriches* – страусы (*англ.*).

– А это миссис Офелия Годсон, из Америки. Помнишь, мы рассказывали? Та самая, с которой ездил Гедалья. Помнишь? Та самая, у которой разбойник отобрал рубин. Мы как раз рассказывали ей о том, что тут происходило в Пурим.

– Поурим! Поурим! – повторяет миссис Годсон, явно наслаждаясь звучанием *библейского* слова, уловленного ею в только что произнесенной Авигайлью фразе. – Incredible![129] Но как жаль, что мистеру Би пришлось сдать этот револьвер в полицию!

Конечно же, английский – единственный язык, на котором могут вестись эти разговоры, и сами по себе способные довести Рашель до ужасного нервного срыва. Это добавляет ко всему ощущение какого-то уже вовсе непереносимого ужаса: она ведь вовсе не понимает, что именно тут говорится. Она вынуждена довольствоваться тем, что Авигайль сочтет нужным ей перевести. И это – в положении, когда каждое их слово может стать смертным приговором, вынесенным ей, отравительнице невинных людей и сообщнице грабителя! Она, конечно, улавливает слово там, слово – здесь, но, в сущности, этот много о себе понимающий English больше похож на еврейский жаргон, чем на французский язык, на который, хотя бы из приличия, следовало бы ему походить. И ей начинает казаться, что от нее что-то утаивают, что Авигайль вовсе не все ей переводит, а что переводит, то, возможно, искажает по-своему, и кто знает, случайно она это делает или не случайно. Да и как можно полагаться на переводчика, когда речь идет о жизни и смерти! Ведь они, может быть, давно уже все знают и про одно ее преступление, и про другое... Особенно, конечно, про то. Это хоть не так жутко, но до чего же низко с ее стороны принять в подарок краденое! Иначе почему бы Аби̇ чуть ли не сразу заговорила про этот проклятый рубин? Нельзя было с самого начала даже прикасаться к этой мерзости!

---

[128] *How amazing!* – Как удивительно! *(англ.)*

[129] *Incredible!* – Невероятно! (*англ.*).

Ей тут же делается стыдно, что она позволила себе заподозрить в каких-то злых умыслах свою единственную подругу. Это она-то, которой скоро отрубят голову на площади перед кишле, посмела вообразить такое о своем добром ангеле! Как бы она хотела излить ей душу наедине, пока еще не поздно, как умоляла бы дать ей, безголовой, испорченной девчонке, готовой шагать по трупам, добрый совет или, хотя бы, пожалеть ее. Но на это нет никакой надежды...

Доктор Файн, тем временем, смеясь, рассказывает о своих трениях с советом квартала Мазкерес Мойше, добавляя, что, в создавшейся ситуации, пришел сюда, рискуя жизнью. И все же, несмотря на всеобщее веселье, он считает нужным заметить, приняв докторский тон:

– Я считаю, что с Mandragora officinarum, действительно, нужно обращаться крайне осторожно. Мы еще слишком мало знаем о свойствах этого уникального растения. Видимо, в его химический состав входят какие-то яды, что вообще характерно для Solanaceae[130]...

– Я пробовала препарат мистера Фридлэндера, – ничуть не смущаясь, откровенно заявляет миссис Годсон. – И мне совершенно не на что пожаловаться. Мое состояние после приема порошка было весьма возвышенным. Правда, третьего ребенка мне Бог не послал, но тут виноват мистер Годсон, который попросту заснул.

Хозяева от души смеются, отдавая должное язвительному соотнесению God и Godson[131]. Но доктор неожиданно смущается. Что же до молчаливой миссис Файн, то она и вовсе предпочла бы не слышать этих разговоров на столь рискованную тему.

– Знаете ли, муж обычно исчерпывает свои positive merits[132] за двадцать лет супружеской жизни, – как ни в чем не бывало, продолжает американка. – Шучу, шучу, милые мои миссис и мистер Би! Но, так или иначе, мы с Клиф-

---

[130] *Solanaceae* – пасленовые (лат.).

[131] *God... Godson* – Бог... Божий сын (*англ.*).

[132] *Positive merits* – положительные свойства (*англ.*).

фордом решили проводить как можно больше времени врозь. Нет, о разводе речь не идет! Он слишком заботится о нравственной витрине своей фирмы! Да и мне это ни к чему. Я с самого начала имела неосторожность публиковать все мои сочинения под именем Офелии Грэйс Годсон, оставляя вне сферы общественного внимания одну лишь Патришу, и теперь уже очень неудобно, да и ни к чему что-либо менять. Но, поверьте мне, я и не предполагала, что люди, проведшие бок о бок четверть века, способны так отравлять жизнь друг друга!

Слово «poison»[133] Рашель улавливает на лету, и от него, произнесенного уже дважды за какие-то считанные минуты разговора, ей делается так плохо, что тошнота снова подкатывает к горлу и в глазах начинает мутиться.

– Абӥ, я пойду, прости меня! – очень тихо говорит она и встает, тяжело опираясь на стол сжатыми в кулаки руками. – Извините! Извинись за меня, пожалуйста!

– Мы замучили молодую леди английским языком, – сочувственно говорит миссис Годсон. – Я всегда считала, что англосаксы – самые несносные люди на свете, и мне даже неловко самой к ним принадлежать. Они положительно убеждены, что все обязаны понимать их язык, а если кто-то его не понимает, то он или она делают это либо из вредности, либо по возмутительной нерадивости. Ха-ха! Вы такого не наблюдали, мистер Би?

Совершенно обессиленная, Рашель медленно идет к двери. Авигайль бросает встревоженный взгляд на доктора, и тот, приподнявшись со своего места за столом, спрашивает густым, звучным голосом, в котором слышится едва ли не отеческая забота, на тайч-идиш:

– Рохл, вы уверены, что не нуждаетесь в помощи доктора?

И, видя какое мучительное отвращение появилось при этом на бледном лице колонистки, добавляет на ломаном французском:

---

[133] *Poison* – отравлять, яд (*англ.* и *фр.*).

– Vous êtes so pâle! Etes-vous que vous n'êtes pas empoisonné?[134]

Рашель испуганно мотает головой, словно провинившаяся перед взрослыми маленькая девочка.

– Джеймс, будь любезен, не навязывай себя молодой леди! – неожиданно каркает миссис Файн, нарушая, казалось, добровольно взятый на себя обет светского молчания.

В дверях Рашель крепко сжимает обе руки провожающей ее Авигайли:

– Я так хотела поговорить с тобой, Абӥ! Но теперь не могу...

– Что случилось, Рашели? Ты меня пугаешь!

– Нет, нет, ангел мой! Пугаться нечего. Я совсем здорова, – бормочет Рашель. – Здорова, как лошадь! Я-то здорова... Покойной ночи, Абӥ! Пожелай мне спать покойно! – просит она, хотя на дворе еще часа два до заката.

– Спи спокойно, Рашели! – торжественно произносит Авигайль, улыбаясь.

– Обещаю, – старательно улыбается в ответ Рашель. – Буду спать спокойно-спокойно и смотреть сон про Palais Royal[135]...

Она идет к себе и, действительно, тут же ложится. Ей отчего-то все делается вдруг безразлично и хочется ничего не знать, не помнить и ни о чем не думать.

У Бухбиндеров общий разговор продолжает вращаться вокруг выдающейся роли английского языка в системе мировых отношений.

– А что, эта пара... Вильдштейн? Вальденштейн? – вспоминает доктор. – Они все еще берут у вас уроки английского языка?

– Вильденштейн. Глава семьи давно уже поднял руки вверх, – отвечает Гедалья с улыбкой. – Но вот жена его, Двойра, не сдается. Приходит на урок два раза в неделю.

---

[134] *Vous êtes so pâle! Etes-vous que vous n'êtes pas empoisonné?* – Вы так бледны! Вы уверены, что вы не отравлены? (*фр.*+ *англ.*).

[135] *Palais Royal* – Пале Ройаль (*фр.*).

Что, Ави, осталось в языке Шекспира и Милтона что-нибудь еще недоступное твоей ученице?

– Может быть, нам стоит проверить? – предлагает Авигайль. – Давайте-ка я приглашу ее зайти и мы с ней продемонстрируем все, на что она способна. Ведь она, знаете, мечтает познакомиться с миссис Годсон.

– Вот незадача! Это ведь я имел неосторожность заронить... – смущается доктор. – Это, видите ли, я рассказал им про один из прожектов мистера Годсона – про его план показать «древних евреев» в восточных и средних штатах.

– Совершенно чудовищная идея, должна заметить! – возмущена миссис Годсон. – Только подумайте: выставлять напоказ детей народа Божьего, словно каких-то малабарцев или конголезов! Мы из-за этого страшно поспорили в Италии. И ему, представьте себе, пришлось со мной согласиться и выбросить этот бред из головы. Да, милая миссис Би, позовите ее, пожалуйста! Я буду рада познакомиться с poor little thing[136].

«Poor little thing» заявляет постучавшейся к ней Авигайли, что ей нужно немножко привести себя в порядок, прежде чем явиться на встречу, от которой, возможно, зависит будущее ее детей, внуков и правнуков. Она «приводит себя в порядок» очень долго, чуть ли не полчаса.

«И что же ей столько времени приводить в порядок?» – изумится моя читательница, не без основания полагающая, что ни о каких куафюрах и маникюрах речь тут идти не может и что в гардеробе Двойры Вильденштейн не слишком много разнообразных нарядов, требующих долгого обдумывания.

И точно: у Двойры есть один-единственный субботний и праздничный наряд, и он, хвала Всевышнему, находится в прекрасном состоянии. И что же может помешать ей с чистой совестью надеть его в будний день, если этот день так много значит? И какие же тут могут быть проблемы, требующие полчаса на размышления?

Легко сказать: какие проблемы!

---

[136] *Poor little thing* – бедная малышка (*англ.*).

«Нужно ведь с первого же момента правильно себя поставить», – думает предусмотрительная Двойра. И тут возникает очень и очень серьезный вопрос, который в одну минуту не решишь... Если надеть все праздничное: блузку, юбку и «камизол» из шоколадного крепа-жоржет и белый батистовый «фартух» со стеклярусом и лентами, все, слава Богу, хоть и не самое новое, и шито не в Париже, но и не рвань какая-нибудь, хвала Всевышнему, да черный платок с ярким цветочным рисунком на голову, уши наружу... Нет, серебряные свои сережки со стразами, которые Рувик подарил ей на свадьбу, она никогда не наденет, выходя из дому, ибо сказано: «Вся слава дщери царской в дому ее»! И... Вот, стало быть... И если еще добавить к тонкому кружевному воротничку нитку жемчуга, которую носила еще ее прабабка в Ковно и станет, с Божьей помощью, носить, если Господу будет угодно, и ее собственная правнучка... Словом, если одеться по-праздничному, то может, не дай Боже, возникнуть впечатление, что она либо недостаточно скромна, раз носит такие наряды в будни, либо слишком богата для того, чтобы вызвать у некоторых действительно богатых дам сочувствие и желание оказать ей протекцию. Стало быть, праздничный наряд может только все испортить.

Но, с другой стороны, если ничего этого не надевать, и явиться на встречу с американкой в том самом платье из синей китайки, которое и сейчас на ней... У нее есть еще одно, точно такое же, с первого взгляда и не отличишь, только у этого край подола чуть больше пообтрепался, а то, второе, чуть больше повыцвело... Так вот, если, значит, так и пойти, и платок черный завязать под подбородком, то может возникнуть впечатление, что она либо не придает этой встрече достаточного значения и не готова почтить американскую даму праздничной одеждой, либо, не приведи Господи, нарочно прибедняется и изображает из себя нищенку, у которой нет приличной одежды, и все это, чтобы разжалобить богатую даму и низким обманом вызвать у нее сострадание.

В конце концов, рассудительная Двойра делает решительный выбор в пользу субботнего наряда, но без жемчу-

га и без слишком роскошного *фартуха*. Так она сама, по крайней мере, будет чувствовать себя на должной высоте и так ей легче будет разговаривать по-английски. Если бы это было возможно, то она предпочла бы и вовсе надеть совершенно новое платье, неважно какое, пусть хоть самое простенькое и незаметное, только бы новое, чтобы почувствовать, что в нем она вступает в совершенно новую жизнь. Но, как говорится, умей довольствоваться тем, что у тебя есть, и всегда будешь не беднее Ротшильдов.

– Nice to meet you, Missis Godson![137] Nice to meet you, Missis Godson! – дважды повторяет она, оттачивая произношение, прежде чем войти в дом Бухбиндеров.

– Nice to meet you, Missis Godson! Nice to meet you, Missis Godson! – словно заведенная, произносит она, войдя в комнату и совершенно не понимая, к кому обращается.

Глядя на нее, стоящую рядом с красавицей Авигайлью, миссис Годсон невольно думает о том, что так, видимо, выглядела рядом со своей прекрасной сестрой нелюбимая жена библейского Иакова, Лея – низенькая, почти без шеи, со смешно оттопыренными ушами, с маленькими бесцветными глазками. И, подумав об этом, она немедленно переполняется к poor silly little thing[138] чуть ли не материнской нежностью.

– Миссис Би говорила мне, милочка, что вы хотели бы повидать мир, побывать в Америке, – говорит она, ласково улыбаясь.

Двойра, совершенно неожиданно для самой себя, обнаруживает, что забыла все английские слова. Она три раза подряд робко кивает и шепчет на вовсе неуместном тайч-идиш:

– Если Господу будет угодно…

– Дэбора, говори по-английски! – Авигайль, совершенно не готовая к такому педагогическому провалу, не знает,

---

[137] *Nice to meet you, Missis Godson!* – Приятно познакомиться, миссис Годсон! (*англ.*).
[138] *Poor silly little thing* – Бедная глупенькая малышка (*англ.*).

плакать ей или смеяться. – Ты же прекрасно можешь сказать это по-английски.

– Yes, thank you![139] – вполне отчетливо, но совсем чужим голосом произносит Двойра.

Если бы она была с глазу на глаз с этой миссис Годсон, то, верно, свободно и раскованно болтала бы с ней, совершенно не задумываясь, английский это язык или какой-то другой. Но при посторонних, при этом выкресте, который лазил ей в глотку, да и сейчас смотрит на нее так, словно она ручная обезьянка, при его жене, которая морщится так, словно хлебнула уксусу... Даже Гедалья с его насмешливой улыбкой, будто бы говорящей: «Как ты ни старайся, а лучше меня не скажешь», словно бы держит ее за язык. Даже Хана, которую она знает с тех пор, как обе они увидели свет Божий, сейчас напустила на себя столько важности, что можно подумать, будто она сама не родилась в еврейском квартале, а только что приехала из Америки...

Но доброте и терпению миссис Годсон нет границ. Она усаживает poor little darling[140] подле себя и, попросив всех присутствующих не смущать молодую леди, с улыбкой говорит ей, неспешно и старательно выговаривая каждое слово:

– Мы, дорогая миссис Уайлденстайн, не будем обращать ни на кого внимания. Пусть они говорят о своем, а мы с вами станем говорить о своем. Хорошо?

– Very well, Missis Godson![141] – соглашается Двойра и улыбается ей в ответ.

– Я рада, что мы с вами познакомились, и надеюсь, что со временем мы сблизимся. И тогда вы станете звать меня Оффи и позволите звать вас Дэбби. Хорошо?

– Very well, Missis Godson! – подтверждает Двойра и чувствует, что еще не все потеряно в жизни.

– От наших общих друзей я слышала о том, что вы и ваш муж хотели получить место в предприятии мистера Год-

---

[139] *Yes, thank you!* – Да, благодарю вас! (*англ.*).

[140] *Poor little darling* – Бедная малюточка (*англ.*).

[141] *Very well, Missis Godson!* – Очень хорошо, миссис Годсон! (*англ.*).

сона. К сожалению, моя дорогая, все это предприятие отменено, совершенно отменено. Окончательно и бесповоротно отменено и не состоится. Вы понимаете, ни в коем случае не состоится, потому что это абсолютно абсурдное предприятие! Вы меня понимаете?

– Very well, Missis Godson!

– Но вы не должны думать, милая миссис Уайлденстайн, что на этом Америка для вас закрывается. Мы придумаем что-нибудь другое, гораздо лучшее. Хорошо?

– Very well, Missis Godson!

Совершенно неожиданно для всех присутствующих и для себя самой Двойра разражается судорожными рыданиями. Вся она содрогается с головы до ног. Слезы льются из ее глаз двумя полноводными потоками, которые можно было бы сравнить с реками Прат и Хидекель, не будь они такими невыносимо солеными. Они моментально разъедают глаза, попадают в дрожащий полуоткрытый рот, капают с подбородка, стекают по короткой шее за кружевной воротничок.

«Ну и денек сегодня!» – думает Гедалья. «Видимо, что-то происходит в атмосфере. Женщины, кажется, особенно чувствительны к атмосферным явлениям». Он с тревогой смотрит на Авигайль, едва удерживаясь, чтобы не спросить ее, как она себя чувствует, и, представив себе, что не удержался и спросил, словно увидев со стороны собственную встревоженную физиономию и ее изумленно-насмешливый ответный взгляд, говорящий: «Гедалька, ты неподражаем», сразу же готов расхохотаться.

– Двойреле, варенья хочешь?

Чтобы каким-то образом извлечь Двойру из бездонного омута засасывающего ее горя, Авигайль выпаливает первое, что приходит ей в голову.

Первое, что приходит в голову, часто бывает совершенно неожиданным и отнюдь не всегда таким неуместным, каким представлялось вначале.

Двойра фыркает сквозь рыдания. Это же, честное слово, просто смешно! Эта потешная Ханеле думает, что ее нужно утешать вареньем, как маленькую! Ей предлагают варенье!

Ее собственной варки варенье – инжирное, из плодов того единственного фигового дерева, что растет в квартале, всего в десятке шагов от того стола, за которым они сидят!

Инжирное варенье госпожи Киршенбаум, излившееся в мокрый снег от удара о стеклянную банку опущенного господином Киршенбаумом тяжелого ведра с водой, видимо, окрасило всю ее жизнь. Иногда ей кажется, что это ее горькая судьба – все разбивается прямо на глазах, все изливается мимо, проходит мимо нее, теряется где-то поодаль, хоть и было предназначено именно ей. Она старается гнать от себя эти неприятные и безбожные мысли, но куда же деться от всех этих бесконечных примеров...

Зато варенье она варит превосходное, не такое, как у всех прочих хозяек. Это чувствует всякий, кто хоть немного понимает в варенье, хотя объяснить, в чем состоит отличие, не может никто. Видимо, Двойра вкладывает в это варево, кроме обычных фруктов, сахару и воды, нечто такое, что глазами не разглядеть и носом, даже самым чувствительным, не учуять – какую-то мельчайшую летучую частицу своей души, оставшейся в далеком полуголодном детстве без варенья. Ей самой все эти связанные с физикой, химией и прочими науками вещи невдомек, но ведь господа ученые недаром постоянно жонглируют такими неуловимыми на первый взгляд понятиями, как атомы, а с некоторых пор и в этих незримых сущностях различают способность к делению на сущности еще меньшие и еще более неуловимые. Вот, видимо, такими незримыми эманациями своей души Двойра и придает любому варенью, выходящему из-под ее рук, особенный, неповторимый оттенок.

Выходя замуж за Реувена, Двойра, о варенье которой уже заговорили соседи, стала строить планы, иными словами – «вынашивать прожект». В воображении она видела себя в снежно-белом переднике с шумовкой в руке, царящей в прекрасной чистой кухне с дюжиной керосиновых горелок, на каждой из которых варилось в медной кастрюле варенье особого вида. При этом дюжина детей ходила за ней по пятам, от одной струящей сладкий ароматный пар кастрюли

к другой. Все ее дети рисовались ей, отчего-то, одного возраста – двухлетние, а под передником вздымался изрядного размера и веса живот, явно указывавший на скорое прибавление семейства. Варенье всех сортов, в стеклянных банках, которые заполняли бесконечные ряды полок вдоль стен, обеспечивало счастливому семейству Вильденштейн безбедную жизнь, и Реувен, «Верх достоинства и Верх Могущества», мог не заботиться ни о чем, кроме изучения Торы, в котором двигался от одной вершины к другой. Единодушно признанные «непревзойденными в своем роде», варенья ее, завоевав Иерусалим, начинали уже победоносное вторжение в пределы Яффы, Цфата, Хеврона, Бейрута, и ходили слухи, что заказчики из Литвы и Польши стали обихаживать несравненную Двойру-мастерицу, чтобы добиться выгодных соглашений с нею.

Увы, сколь бы прекрасным в глазах иерусалимских хозяек ни было сваренное Двойрой варенье, оно не заслуживало того, чтобы потратить на него хоть на грош больше, чем уходило у них на покупку фруктов и сахару для варки собственного. Этот дополнительный грош либо давался им тяжелым трудом и потому заслуживал лучшего применения, либо и вовсе отсутствовал, неизвестно когда провалившись в дыру непрерывно штопаемого кармана мужниной капоты, да так и не вернувшись. В конце концов, та сахаристая смесь, что выходила из под их рук, пусть и лишенных божественного вдохновения, могла быть с ничуть не меньшим удовольствием съедена в холодный зимний вечер за стаканом горячего жидкого чаю. Эка невидаль: варенье!

«Ей бы в Европу или в Америку с ее вареньем», не раз говорила Авигайль, сама обязательно покупавшая у Двойры два литра инжирного, неизменно заканчивавшегося к пасхе. Вот и сейчас, на столе – несколько последних ягод в тягучем прозрачном сиропе цвета позднего облачного заката. О том, что это варенье из ягод растущего за их дверью дерева сварила именно Двойра, она тут же торжественно сообщает гостям.

– Это ваше произведение, миссис Уайлденстайн? – спрашивает миссис Годсон, изображая на своем лице изумление, которое приличествовало бы нежданной встрече с автором «Венецианского купца» или симфонии «Eroica»[142]. – Поразительный вкус! Совершенно неподдельный *библейский* вкус!

Двойра застенчиво улыбается сквозь завесу слез.

– Дэбора, сокровище мое! Вы позволите мне вас так называть? Я чувствую, что мы с вами добьемся настоящего успеха!

В ее сострадательной душе уже рождается величественный прожект спасения poor little thing и вывода ее в люди.

– Дэб, мы поедем с вами в Соединенные Штаты, и вы покорите их своим вареньем. Я вам скажу больше, милая Дэб: мы с вами напишем книгу, которая принесет вам неслыханную славу. Вы хотите написать со мною книгу, не правда ли?

Книгу? Она правильно понимает это английское выражение? Что за книга? Причем тут книга? С какой стати? Что еще она придумает? Построить пароход или что еще? Ну, хорошо, если этой американке хочется книгу – пусть будет книга! Но как, спрашивается, она, Двойра, может ее написать, эту книгу, даже если не одна, а целых пять американских писательниц возьмутся ей помогать?

– Я уже знаю, как она будет озаглавлена, – продолжает миссис Годсон. – «The Taste of The Old Testament»![143]

Постепенно сметливая Двойра начинает постигать невероятный план, который при своем появлении на свет, казалось, грозил окончательно сокрушить ее придавленное всеми событиями дня сознание. Она будет только готовить и рассказывать своей co-author[144] обо всем, что она делает. Так, словно имеет дело с маленьким ребенком, совсем не умеющим готовить и не отличающим ложки от ножа и соли от

---

[142] *«Eroica»* – «Героическая» (*лат.*).

[143] *«The Taste of The Old Testament»* – «Вкус Ветхого Завета» (*англ.*).

[144] *Co-author* – соавтор (*англ.*).

сахара. Одним словом, самой ей ничего писать не придется ни на каком языке. И, тем не менее, если верить этой странной доброй американке, она может стать знаменитой писательницей, вроде господина Лунца или господина Фрумкина!

Вот, оказывается, как пишут книги! У одного, скажем, есть кое-какие соображения в голове, но он не очень-то умеет писать, хоть и обучен буквам, как полагается. Зато другой пишет, как говорит – хоть стихами, но при том не имеет за душой ничего, на что стоило бы тратить такое редкое умение. Ну, вроде бы, не про нас будь сказано, ничего он в жизни не видел, не слышал, ни о чем возвышенном или имеющем практическое значение не помышлял, иными словами: внутри пуст, да златоуст. И что же? Неужели ни тот, ни другой уже ничем не могут служить Пресвятому, да будет Он благословен? Ничего подобного! Им нужно всего-навсего найти друг друга и взяться за дело сообща, и уж тогда...

Эти мысли едва ли не в буквальном смысле окрыляют Двойру. Распрощавшись со всеми и прощебетав свои самые что ни на есть английские благодарности, легче легкого выпорхнувшие из ее головы и беззаботно раскачивающиеся на ловко подвешенном языке, мчится она домой, словно птаха, летит к своему гнезду, в котором покуда восседает лишь полный тяжелых приземленных мыслей супруг ее, Реувен, но вскоре, она знает, зачирикают и запищат ее птенчики.

Словно весенняя бабочка порхает она, как никогда весело и споро, готовясь к пасхальной неделе, раньше всегда вызывавшей у нее прилив почти нестерпимой тяжести в обреченных из последних сил трудиться руках и ногах.

– Мы едем в Америку, Руველе! Представляешь себе? Уже этим летом, с Божьей помощью, едем в Золотую Страну!

Реувен не знает, что и подумать. Он не решается спрашивать о том, что ему следует думать на этот счет, ни у реб Шлойме, в последнее время все меньше внимания уделяющего внешним сторонам жизни, ни у иного учителя, кото-

рый мог бы наставить его. Нет, он продолжает жить со своим незнанием, влекомый крылатой невесомостью жены, попавшей на гребень некой стремительной воздушной волны. А Двойре все уже представляется легко доступным. Ей кажется, что теперь все ее пожелания одно за другим непременно сбудутся. Она знает, что в последний раз сидят они за пасхальным столом вдвоем, словно две одинокие свечки. В последний раз Реувен читает в Агаде про четырех сыновей, не видя перед собой ни одного: ни мудрого, ни глупого, ни, не про нас будь сказано, нечестивого, ни даже такого несмышленого младенца, который еще не умеет спрашивать и который, с Божьей помощью, непременно появится на будущий год. И если супруг ее, да хранит его Господь, такой, какой он есть – не от мира сего, то она, Двойра, сама позаботится обо всем. Уж она знает, что делать!

Легкой рукою и с легким сердцем, не задумываясь о том, что язычникам недозволенно вкушать яства с пасхального стола и что она, Двойра, жена праведная и верная, совершает деяние, подобное краже храмовой жертвы, откладывает она для своей co-author харойсес и хрен, и мацовый кнейдл из бульона на пробу, чтобы у той непрерывно оставался во рту «подлинный библейский вкус», чтобы не пропало вдохновение и рвение, и желание сделать для четы Вильденштейнов все, что в ее силах, и лично удостовериться, что их самым законным образом усадили на пароход дальнего следования.

Эта неслыханная и невиданная крылатая легкость, кажется, подхватывает и подгоняет само наше повествование, ветром крыл своих треплет и перелистывает дни, как листки дневника или судового журнала, которые автору недосуг было заполнить описанием незначительных событий, а читателю – не достало бы времени и терпения прочесть или даже проглядеть мельком, когда бы на них что-либо значилось.

Сам месяц нисан реет и вьется на весеннем ветру, игриво и невесомо перепархивает со дня на день, словно грациозная приния с цветка на цветок. Адепты Священной истории слышат в его самозабвенном щебетании отзвуки

сладкозвучной Песни Шломо в переводе на семьдесят языков. Приверженцы истории естественной не спускают глаз с природы, наливающейся натуральной медвяной сладостью. Но и те, и другие, каждый по своему, не могут не ощущать, что все вокруг них стремительно приближается к своему апогею, к той высшей точке благоухания, с которой начинается медленный, но неизбежный, постепенно набирающий тяжесть зрелости спуск в долину, полную перезрелых плодов душного лета.

В Винограднике Авраама мандрагоры, ночами то вздыхавшие, то пересмеивавшиеся под землей, тянули навстречу солнцу свои тонкие зеленые ручки. Зревшие на них ягоды с каждым днем набирали все большую густоту живого золота, накапливали все более бродившего в них затаенного огня, готовясь к тому часу, когда весь воздух наполнится их нестерпимым приторным ароматом. Тогда люди, эти наивные создания, гордящиеся способностью передвигаться по поверхности, потеряв голову от мучительного влечения к недостижимому, готовы будут отдать все преимущества своего разума за одно прикосновение языка к их истекающей негой безумия мякоти.

Йемениты, работающие на винограднике реб Мойше Графа, тщательно, как истинные знатоки, присматриваются и старательно принюхиваются к этим ягодам, стоически сопротивляясь соблазну и дожидаясь того дня, когда золотые шары достигнут идеальной спелости. Но всегда находится кто-то нетерпеливый, нестойкий, кому неймется, кто в незрелой своей наивности полагает, что неспелый плод способен утолить клокочущую в нем жажду блаженства. Молодой лопоухий Овадья еще неделю назад не удержался и тайком от всех слопал пяток только начавших желтеть ягод. Умял их с кожей и косточками. Потом всю ночь орал, как младенец, истекал пóтом и слезами, метался, не в силах управлять ни руками, ни ногами, и слеп от сияния огненных решеток, пылавших в его оголенном мозгу, позади бессмысленно вытаращенных глаз. Через день кое-как оклемался, но на мандрагоры больше и смотреть не хочет. А ведь старик Ихия, которого все почитают знатоком, назна-

чил срок. По его расчетам он придется на первый день месяца ияра, в этом году выпадающий на четверг.

Но у Тамар, которая в прошлом году родила двойню, не без содействия всемогущего растения, имеется на этот счет свое собственное мнение. Никакой Ихия ей не указ, потому что на ее стороне свой собственный тайный опыт. А если это кого-то не убеждает, то маловеры могут узнать мнение ее мужа, сухоногого Захарьи, который, хоть и прикован к своему тюфяку и вообще сам по себе ни на что не способен, но, когда дело в свои руки берет Тамар, дотоле безжизненный член его вырастает, как Вавилонская башня и, движимый неведомо какой чудесной силой, пашет, сеет и боронит лучше дюжего бычка. Слыхали ли о чем-либо подобном ученые господа?

Каждую среду поутру Тамар забирает у жительниц квартала Бейс Яаков корзины с бельем для стирки и каждую пятницу поутру разносит по домам чистое исподнее, белоснежные простыни, наволочки и скатерти, отстиранные тонкими сильными руками йеменских женщин и высушенные щедрым иудейским солнцем. Все шалаши на подходах к Винограднику Авраама, в которых ютятся пришельцы с дальнего Юга, окружены накрепко связанными веревками, служащими двум целям. Во-первых, согласно законам субботнего эрува, они превращают разрозненные частные жилища в единую обитель, позволяя ее жителям вести себя так, словно они находятся в собственном доме. Во-вторых, служат той же цели, которой натянутые под открытым небом веревки служат всем племенам земли, независимо от религиозных учений и национальных традиций: на них развешивают стираное белье.

Обычай отдавать белье в стирку йемениткам небогатые ашкеназские хозяйки из квартала Бейс Яаков, экономящие на варенье, завели два года назад. Они, с детства привыкшие сами управляться со своей стиркой, пошли на это ради того, чтобы та нищенская помощь, которую получали от них семьи этих непонятных евреев, явившихся из-за реки Самбатион, словно предвестники близящегося избавления, имела вид не менее почтенного заработка, чем солид-

ная мужская работа на винограднике реб Мойше. Хвалы, которых удостоились сердобольные жительницы квартала, сначала от товарищества «Архавас а-боним», а потом и от других отцов города, и даже от издателя «Лилии», господина Фрумкина, видимо, могут стать порукой тому, что обычай этот не будет забыт и тогда, когда господин Валеро построит, наконец, как намечено, и для этих бедолаг настоящие дома.

В последнюю среду нисана, забирая у Двойры корзину с бельем, Тамар говорит ей своим тишайшим басом, наделенным сверхъестественным свойством проникать сквозь кожу и звучать будто бы изнутри слушающего, в то время как ее собственные лиловатые уста почти не движутся:

– Этой ночью, как ты просила, идем собирать золотые шары. Да будет нам с легкой руки!

Бесстрашная Двойра чувствует, как гортанный язык Эвера обжигает ее внутренности, как бешено колотится ее сердце при одной мысли о том, что ей предстоит выйти из дома в эту жуткую ночь, когда в непроглядной черноте неба не будет даже ниточки нового месяца и единственным источником света предстоит быть горящим жидким пламенем глазка̀м мандрагор.

– По твоему слову: да будет нам с легкой руки, Тамар!

– Вечером дай своему мужу выпить вот это! – Тамар протягивает ей заткнутый обрывком тряпки глиняный пузырек размером с палец. – В чай, в кофе, в простую воду – он ничего не почувствует. А ночью будет хорошо спать. Будь готова и выходи на дорогу через час после наступления темноты.

Как же вычислила Тамар единственно правильное время для сбора мандрагор? В гематриях и прочих ученых материях она не разбирается, о календаре, хоть и слыхала, но пользоваться им не умеет, но зато внимательно следит за луной и, наблюдая ее убывание, может предсказать, когда та полностью покинет небосклон. И в ту ночь, в которую с ночной нивы исчезнет последний след малого светила, единственные огни, затмевающие тусклое свечение звезд – спелые ягоды мандрагор, в течение целого месяца ко-

пившие силы, сами упадут в протянутые к ним женские руки. Смертельно опасные при жарком сиянии солнца и при холодном свечении луны, готовые жестоко наказать всякого, кто неосторожно дотронется до них, эти совершенные в своей абсолютной завершенности, горящие сладостным огнем жизни шары, спустившиеся с небес, послушно отдадутся той, что имеет разумение и владеет ведением.

В этом наивном мышлении, которое одни ученые господа назвали бы «женским», а другие «первобытным», есть своя последовательная логика, находящая обоснование подобного в подобном. Такой взгляд на мир был отнюдь не чужд как нашим мудрецам, так и всем прочим мыслителям древности. Они видели в извилистой внутренности грецкого ореха подобие человеческого мозга и на этом основании полагали, что поедание этого плода способствует развитию умственных способностей; или, различая людские фигурки в корешках мандрагор, считали на этом основании, что те способны повлиять на таинство зачатия нового человеческого существа. Следуя той же самой логике, по которой Тамар уподобляет золотые ягоды мандрагор размноженным и спустившимся на землю солнцам – уменьшенным подобиям источника материальной жизни, силой особого заклятия охраняющим себя от злого глаза завистливого ночного светила, эта толковательница символов прибегает к еще одному подобию.

– Когда муж твой поест мандрагор и воспылает к тебе, – делится она священным опытом, – протяни руки и возьми в них яички его, так, будто хочешь сорвать их с ветки, и ты увидишь, что они засветились во тьме. Это тебе знак: семя в них живое и готово принести плод. Не сомневайся! Это не из гроба покойника поднять. Твой-то всего одну ногу подволакивает...

Интермедия

Драма дня субботнего в семействе Вильденштейн

После завершения скромного субботнего ужина Двойра ставит на стол мисочку с ягодами.

– Ну-ка, покушай, Рувеле! – говорит она сладчайшим голосом.

– Что это? – Реувен подозрительно трогает кончиком ножа глянцевитый желто-оранжевый шарик. – Я такого еще никогда не видел... Мама такого не подавала...

– А ты попробуй, Рувеле! Слышишь, как чудесно пахнут?

– Ну, пахнут... Что это? Я никогда такого не ел.

Двойра старается уклониться от прямого ответа.

– Разве не сказано: «Все плоды сада ешьте»? Попробуй, попробуй!

И она первой берет из миски золотистый шарик размером с маслину и отправляет его в рот. Двойра жмурится от удовольствия. По лицу ее растекается неизъяснимое блаженство, и она позволяет себе даже причмокнуть, как маленькая девочка. Муж ее никогда не узнает, какого страха она натерпелась, собирая эти ягодки, такие милые и невинные сейчас, когда они лежат в миске на столе. Все ее ночное приключение не только сейчас представляется ей невнятным страшным сном. Нет, именно таким сном было оно от начала и до конца, когда происходило с нею в реальности. В реальности! Да разве можно назвать этот колдовской бред словом, подразумевающим то, что способны воспринять и осмыслить привычные органы чувств? Ведь она даже не может с уверенностью сказать, светились ли они во тьме ночи или то были отсветы масляной лампы, раскачивавшейся в руке этой ведьмы Тамар...

– Кушай, Рувик!

– Да, но что это? – не отступается ее муж, подозрительность которого вот-вот, кажется, приведет его к единствен-

но возможному выводу.

Он напряженно тянет носом. Дивный аромат, ничего не скажешь!

– Благословен ты, Господи, Бог наш, Царь Вселенной, сотворивший благовония многие! Где ты это взяла? У арабов?

– Нет, нет! Это наше, еврейское.

– Как называется? Я такого никогда не видел. Мама этого никогда не покупала. Еврейское? Двойреле, а кто поручится, что соблюдены все правила, что отделены трумойс и маасройс? Что это? Сливы? В такой сезон?!

– Это не плод дерева, Рувеле! Не беспокойся! Это растет на земле. Благослови «при а-адомо» и кушай на здоровье!

– У кого ты это купила? Тебе не сказали, как это называется?

– Ну, что тебе за дело, как называется, Рувеле! Тоже еще нашелся «ботаник», под стать реб Довиду, дай ему Бог здоровья! Ешь! Йемениты собирают, вот и поделились...

Некая невидимая сила немедленно подкидывает Реувена Вильденштейна на стуле, словно он испытал на себе опыт франклинизации.

– Это мандрагоры, Двойра! Это мандрагоры!

– Конечно, мандрагоры, Рувик. Эка невидаль! Кушай на здоровье!

И она целиком отправляет в рот второй золотой шарик и начинает со вкусом жевать его, а потом глотает, закатив глаза от наслаждения и даже не думая выплюнуть кожицу и мелкие косточки. А ведь кожицу и косточки надо обязательно выплевывать, чтобы не случилось беды! Но этого Двойра не знает. Мудрая Тамар то ли забыла сообщить ей об этом, то ли и вовсе считала все то, что доктора именуют «побочными эффектами» не таким уж большим злом, на которое следует обращать много внимания. И еще одного не знает Двойра: особенно неприятным может оказаться влияние мандрагоровых ягод, съеденных сразу же после плотной трапезы. Да и кто бы ее надоумил в этом? Только не йемениты – эти голодари в сороковом колене!

Реувен совершенно растерян. Он не находит, что сказать и, словно во сне или под влиянием какого-то магнетизма, тянет руку к миске и, невнятно промямлив благословение, кладет в рот сочную ягоду.

– Вкусно, Рувик?

– Ну, вкусно! – нехотя соглашается он. – Зачем ты это, Двойра? Разве не сказали наши мудрецы, да будет их память...

– А ты ни о чем таком не думай, Руведе! Кушай себе, с Божьей помощью, и ни о чем особенном не думай! – наставляет его жена, жадно съедая подряд три ягоды. – Кошерно? Кошерно! Вот и кушай! Правда, вкусно?

– Вкусно.

– Ну, вот и все! Где-нибудь сказано, что нельзя кушать мандрагоры, Руведе?

Тот только разводит руками.

– Еще по две ягодки...

Двойра полна самых радужных надежд. Несколько радуг одновременно расплываются в ее глазах, готовых покинуть свои привычные орбиты и унестись ввысь, на седьмое небо. Да и какие это радуги! Не те, обычные дуги, составленные из семи-восьми-девяти красок... Нет, каждая мерцает и переливается двумя дюжинами цветов, и каждая ничуть не повторяет другой! За глазами, между лбом и затылком бьют ослепительными струями фонтаны тайного света. У нее великие, великие, великие-великие-великие, самые-самые великие-великие-великие-великие предчувствия. И эти предчувствия чувствительнее любых чувствий и послечувствий, которые она до сих пор чувствовала обычными чувствами! Что-то большое и сильное поднимается в ее груди. Впрочем, не совсем в груди... Скорее, как сказали бы наши мудрецы: в утробе. Нет, не так они говорили, мудрецы наши: во чреве. Да, именно: во чреве! Значит: под сердцем! Там распахивается невиданным веером огромная радуга. Кажется, она... От нее все мутится, все плывет вокруг в многоцветном тумане...

Реувен хватается за живот и, стеная, первым ковыляет в отхожее место. Но Двойра, проворная Двойра, успевает

опередить его и в последнюю секунду проскользнуть мимо, и захлопнуть за собою дверь. Страшно вскрикнув, она палит, словно турецкая караульная пушка, возвещающая наступление ночи.

Реувен, из последних сил сдавливая себя обеими руками поперек тела и обливаясь пóтом, катается по полу.

– Двойра, Двойра, пусти!

Двойра, словно восставший из гроба труп с темными кругами вокруг выпученных глаз, уступает супругу место, и он, рыдая, вползает в нужник. Два оглушительных залпа, один за другим!

– Руви! Рувеню-ю-ю! – стонет несчастная жертва собственного необдуманного прожекта.

Держась обеими руками за стенку, тот самоотверженно освобождает ради скорчившейся жены приют страждущих душ, только для того, чтобы не более минуты спустя начать барабанить в его дверь, глухой к несущимся оттуда стонам и разрывам картечи.

Так проводит чета Вильденштейнов эту душную субботнюю ночь, которую предприимчивая Двойра опрометчиво замышляла как ночь нежного супружеского влечения и тяготения, ночь тучности и злачности, ночь зарождения новой жизни.

Весь последующий субботний день проходит у них не лучше, чем у нечестивцев-караимов, по упрямому неразумию погребающих себя во мраке и неподвижности: изможденные, белые, словно собственные призраки, лежат Реувен и Двойра в постели, как можно дальше отодвинувшись друг от друга и не обмениваясь ни словом. Лишь изредка то он, то она пробирается на слабых, дрожащих ногах на кухню, чтобы выпить кружку холодной воды, вновь доплестись до отхожего места и опять заползти на постылую супружескую постель.

Только под вечер Реувен нарушает молчание. Он тихо шепчет про себя благословение, на которое ему недоставало сил утром:

– Благословен Ты, Господи, Бог наш, Царь вселенной, сотворивший человека в мудрости Твоей, и в нем отверстия

и полости многие... и когда бы одно из них отверзлось или замкнулось... Благословен Ты, Господи, целитель всякой плоти, творящий чудо!

А потом поворачивается к жене, уже не надеющейся на его прощение. Он берет ее холодную слабую руку в свою мелко дрожащую ладонь, жалобно улыбается и говорит:

– Все хорошо, Двойреле... Могло быть хуже, гораздо хуже. Учили мы с реб Шлойме в трактате «Шабес»: «Кто богат? Рабби Акива говорит: всякий, у кого есть жена достойного поведения; рабби Йоси говорит: всякий, у кого есть нужник вблизи стола».

Злонамеренные корешки на участке реб Мойше, произраставшие и напитавшие предательским соком ядовитые кругляки фальшивого золота, уже собранные все до единого жадными руками сынов и дщерей человеческих, ехидно похихикивают в своем подземном квартале.

X

Глава, в которой некий едкий корешок-самозванец узурпирует роль мандрагор и в лукавстве своем блефует, с блеском разрешая проблему, казавшуюся неразрешимой

О чем разговаривают любящие друг друга люди, когда остаются наедине? Да о чем угодно. Предметом их обсуждения могут стать любые, самые неожиданные жизненные прожекты или легкомысленные глупости, не заслуживающие даже краткого упоминания. Но чрезвычайно редко заходит между ними речь о любви, а если уж все-таки зайдет ненароком, то вряд ли высказывания их обогатят человечество глубокой мыслью и научат лучше прозревать бездонные глубины того таинства, которому не перестает дивиться род человеческий. И в этом нет ничего странного. Разве дано им судить о чувстве, которое лишало рассудка даже самых хладнокровных скептиков? Иное дело – писатели наши, принесшие живую жизнь свою в жертву словесному ремеслу, живущие в мире мыслительных абстракций, далекие и от бесконечных страданий любви, и от ее утешительных мгновений. Сколько прекрасных, мудрых и верных слов, смелых и порой парадоксальных суждений высказали они в своих сочинениях! А любящие – только любят да посмеиваются над нашими мудрецами. Только произносят, зачастую вовсе не к месту: «любовь моя», «любимый», «любимая», «люблю тебя больше жизни» и прочий ничего не значащий вздор, которого устыдился бы любой серьезный автор. И лишь невзначай, мимоходом, иной раз скажет любящий о любви нечто, заслуживающее внимания.

Вот, например, Авигайль. Сидит, перебирая свою коллекцию газетных вырезок и внезапно задумывается о чем-то таком, чего никак не ожидает от нее тут же сидящий над томом Макиавелли Гедалья. В какой момент вышла она за

ограду райского сада? Когда покинула преисподнюю? И что это на нее нашло? Вернись, Авигайль, вернись, пока не поздно! Автор все отдаст, чтобы только ты не задержалась по ту сторону изгороди.

– Любовь – это как погода. То есть, обычно ты ее не замечаешь и не думаешь о ней. Просто живешь себе внутри этой погоды, а она словно и не существует, хотя на самом деле, конечно, существует, и хорош бы ты был без нее... И только когда вдруг грянет гром и хлынет страшный ливень, или ветер подует такой, что все вот сейчас улетит неизвестно куда, или вдруг снег, или страшная жара, от которой звенит в ушах... Тогда ты вдруг понимаешь: вот она, погода. Да, тогда ты, словно внезапно проснувшись, видишь, что с погодой шутки плохи. Ну, и сразу же убеждаешься, что она, конечно, все время была тут с тобой, только незаметно, так, чтобы не сводить тебя с ума каждую минуту. Признайся, что и ты чувствуешь так же, Гедалька...

– Я! Что ж я? Я старый, много всего повидавший человек, – с самым серьезным видом отвечает Гедалья. – Страсти во мне если и не совсем остыли, то дотлевают, так сказать...

Он особенно пристально смотрит на Авигайль и смех начинает пробиваться сквозь эту напускную серьезность, словно первые струи дождя – верные признаки той самой погоды, которая до этого момента скрывала свое присутствие. И вот они оба уже снова там, откуда отлучились на краткий миг, так перепугав своего любящего автора.

– Душа моя, ты еще не заметила, что я старею? Мне уже тридцать восемь. Скоро будет сорок, а там и пятьдесят не за горами. В бороде седой волос пробился, да не один, а целый выводок... Смотри!

Авигайль грозит ему пальцем:

– Слыхал русскую пословицу: «седина в бороду – бес в ребро»?

– Я тебя уверяю, ребрышко мое: никаких бесов! Я в них не верю, ты же знаешь. Но погода, кажется, всегда при мне, не дает о себе забыть. Теперь я так и буду тебя называть: «моя погода».

– Ну, Гедалька, ты неисправим! Погода у тебя всегда, а в бесов ты не веришь, хотя они все время где-то под носом.

– Не верю, гроза души моей, потому что их не существует, даже, если они все время под носом.

– Ну, под таким носом много чего можно не заметить. А мандрагоры? Их тоже, по-твоему, не существует?

– Мандрагоры, конечно, существуют, – чтобы не забыть, Гедалья записывает какую-то фразу перевода и отодвигает работу в сторону. – Это, видимо, вполне серьезные растения, достойные всяческого уважения. Но не дай Бог, чтобы все стали плясать под их дудку, придавать им больше значения, чем они заслуживают. Тогда они зазнаются и постепенно займут место людей, окончательно задурив им головы. Да-да, прокрадутся в темноте в наши дома, вылезут из-под пола прямо посреди комнаты, а нас, потерявших рассудок, загонят под землю. Что, страшно, сударыня?

– Ничуть не страшно. Я эти мандрагоры и в руки не возьму, не то чтобы их есть. А ты пугать меня задумал? Так-так... На-ка вот, прочти! – Она протягивает ему чуть пожелтевший листок. – «Иудея и Иерусалим» семилетней давности:

Девочка лет двенадцати, дочь женщины бедной, и отца нет у ней. И девочка, весьма смышленая, слегла в месяце шват. Первые три дня была она словно поражена слепотою, безумием и страхом, вся дрожала и ни звука не вырывалось из груди ее. Британский доктор приложил все усилия и испробовал различные средства, но напрасно. А по прошествии трех дней отверзла уста и принялась проклинать мать свою и поносить веру иудейскую и все ее святыни. Ежели видела мать молящуюся или произносящую благословение – плевала ей в лицо и скрежетала на нее зубами, и издавала леденящие сердце и почки ужасные вопли: то как бык, то как петух, коза или осел ревущий. А ежели кто поминал при ней имя Господне или синагогу, то оборачивалась лицом к стенке и вопила и плевалась, и скрежетала зубами. А при упоминании священников или церквей радовалась и говорила: «Хорошо! Хорошо! Я

для них и они для меня!» А когда мать ея зажигала субботние свечи, не успокаивалась, пока оне не гасли. А в ночь пасхального сейдера весь дом сотрясался от ее ужасающих воплей и хрипов.

Так прошли три месяца, и это стало известно многим, и стекался народ в дом недужной, и я тоже не удержался от многократного посещения болящей. И все, что слышали мы из уст других, видели мы теперь собственными глазами. И говорила нам девочка (собственные ея слова): «Разве вы не знаете меня? Ужели стану плевать я при помине... (не могла изречь ни слова о святом). Лишь тот, кто вселился в меня, святотатствует и кричит ужасными голосами». И рассказала нам внятными словами: «В три первые дни являлся он мне и запугал он меня страшно, и великая тьма охватила меня – ни сидеть, ни стоять, ни лежать не могла я, пока три дни спустя не вошел в меня». А кто же он? «Выкрест, сменивший веру свою. А имя его не могу вам сообщить, ведь он... не смогу, не позволит он мне. И еще пройдет немало дней, не послушается он ни заговоров, ни уговоров, и не выйдет ранее им самим назначенного времени». И еще не кончила она говорить, а уже вопли ужасные стали вырываться из горла ее. И более получаса не прекращались ужасные крики. Так было с нею несколько раз на дню.

А после истечения дней счета омера собрались в ее доме мудрецы, сведущие в каббале, сотворили особые молитвы. Но она продолжала вопить страшными голосами, говоря: «Не послушаю вас и не выйду, пока не исполнятся дни!» Но вот, спустя еще некоторое время, голоса прекратились, и пролежала она около двадцати дней, подобно глухонемой, а после сказала матери своей отвезти ее в пещеру Илии пророка на горе Кармель в Хайфе. И мать немедленно отправилась с нею в Хайфу, и та проспала ночь в пещере Илии. И было утро, и сказала матери своей: «Благословен Господь, исцелилась я, ибо ночью был мне голос, что я исцелена, и велел мне отправиться в Тверию, на могилу рабби Меира-чудотворца». Мать на радостях отправилась с нею в Тверию, а после вернулись в

Иерусалим, и отроковица здорова и разумна, как прежде. И призвала меня мать, и поведала мне обо всем.

Сие происшествие, кое видели все бывшие в Иерусалиме, следует занести в памятную книгу боящихся Господа. А я подписываю свое имя во свидетельство подлинности случившегося: Йосеф Ривлин.

– У тебя на всякий случай жизни найдется фельетон из коллекции, как у наших мудрецов притча, – шутливо замечает Гедалья, возвращая ей газетную вырезку.

– Рано или поздно, – серьезно отвечает Авигайль, бережно возвращая листок в бювар, а бювар в ящик стола, из которого тот был взят, – эти перлы составят новые Мишну и Гемарру, и по ним потомки станут изучать жизнь и мнения детей Яакова в Святой Земле.

Он улыбается, но тягостное впечатление, которое произвела на него эта заметка, не проходит. Ах, как хотелось бы просто отплеваться от всей этой чертовщины! Как славно было бы жить в мире, управляемом законами разума, в таком мире, где сумасшествие не было бы единственным стоящим стараний прожектом.

– Где-то теперь наш безумный друг Альтшулер? В какое тело вселился его неугомонный дух? – спрашивает он. – Кого и на какой дороге грабит он сейчас?

– А может быть, – предполагает Авигайль, – никого он уже не грабит, а сидит где-нибудь с пером и бумагой и пишет воспоминания бандита по заказу какого-нибудь «журнала».

– Может быть, может быть, – задумчиво повторяет Гедалья. – Многообещающее занятие – литература...

А что же Двор Лилии? Не померкла ли звезда его, не потускнело ли величие, достигнутое тяжелым созидательным трудом на ниве просвещения, не побледнело ли в сравнении с ослепительным сиянием квартала Бейс Яаков, восходящего по ступеням славы все выше, к своему апогею? Не заслонили ли невероятные события, происходившие в последние месяцы за стенами Старого Города, то возвышенное строение прогресса, которое кропотливо возво-

дилось двумя достойнейшими печатными изданиями?

Ничуть не бывало. Мемории бедуина-разбойника в их распоряжение не поступали, но всяческого увлекательного материала – пруд пруди. Пишут они про все, начиная с событий, произошедших в самом дворе, и кончая сотрясающими земной шар битвами в далекой Африке: и про то, как Махди осадил англичан в Хартуме, и про то, как пруссаки завоевали Камерун. Дабы убедиться, что, по слову пророка, слово Господне по-прежнему исходит из Иерусалима, достаточно обратить взор на первые страницы обоих еженедельников.

В начале месяца ияр «Лилия» устами своего северного корреспондента, пишущего под псевдонимом «Правдивый», предупреждает читательниц:

Всем известна вызванная дурным воспитанием судьба браков в городе Цфате: отпрыски богатых семейств сменили супруг уже трижды, и нет почти ни одного, кто бы не исполнил сию заповедь! И вот ныне я предостерегаю против одного из оных. Он взял себе за правило ежегодно брать новую жену, а затем изгонять ее с позором, и уже прогнал таким образом восьмую жену. Поскольку же известно по всей Галилее злодейство его, и нет таких простодушных, что пойдут за него, ныне ищет он девственницу в Иерусалиме (ибо лишь девственниц берет он в жены!).

Тогда же «Олень», не побоявшись публичного выражения благодарности известному уже выкресту, публикует сердечное послание некоего Элиезера Клячко:

Высокочтимому врачу-специалисту, доброму доктору Джеймсу Файну, опытнейшей приемнице, г-же Бейле Мендельсон и почтеннейшему ученому-ботанику-медику, рабби Довиду Фридляндеру (временно в отъезде по важному просветительскому делу среди братьев наших на Европейском континенте).

На языке и на устах моих не найти слов, дабы должным образом выразить вам, троим, хотя бы намек на те тысячи чувств благодарности, переполняющие нутро мое и стремящиеся вырваться из него наружу через ротовое отверстие! Чудодейственное средство Ваше, дорогой реб Довид, – целебный корень мандрагоры в порошках Вашего изготовления, несущий плодовитость дщерям Израилевым, подействовал незамедлительно, и жена моя, Сара Ривка, зачала и выносила во чреве своем тройню! Подобно ангелам-спасителям явились Вы, дорогой доктор Файн, и Вы, приемница, г-жа Мендельсон, к жене моей Саре Ривке, носящей троих младенцев мужеского пола в одном чреве, и трудились, не покладая рук, всю ночь, спасая жизнь ее от угрозы страшной смерти во время тяжелых родов. Вы, г-жа Мендельсон, в великой опытности своей, сразу же догадались, что жена моя рожает тройню! Вы, д-р Файн, с великим умением своим оградили и мать, и приплод ее от всякой беды. С Божьей помощью, вам удалось извлечь всех троих, и ныне они пребывают в добром здравии, и роженица также здорова и не жалуется.

А прочие выдающиеся личности, населяющие этот поистине священный двор нового храма Израилева? Все ли они живы и здоровы?

Осел Шалома Маймуна, усатого владельца гладильной для фесок на рынке благовоний, вернул душу своему Творцу еще в пасхальную неделю. Произошло это внезапно, и причина скоропостижной кончины этого славного трудолюбивого животного так и не была раскрыта. Возможно, какую-то роль в этом печальном событии сыграло окончательное его разлучение с ослицей Фрау Билам из квартала Оэль Моше, произошедшее после того, как беременность молодой супруги, на протяжении полутора лет являвшая собой секрет, по крайней мере, от людей, стала вполне очевидна. Кто знает? Душевные драмы непарнокопытных до сих пор еще являются тайнами за семью печатями, к раскрытию которых стремятся не столь уж многие веберы, гельмгольцы и вундты, эти новые аристотели нашей прог-

рессивной эпохи. Достоверно известно лишь то, что он ни в коем случае не стал жертвой охоты за мандрагорами: никто не привязывал к его хвосту веревку для извлечения из земли колдовских корешков, намеренно обрекая бессловесную тварь на мучительную смерть. И на том спасибо! Этот осел, за неполных два десятилетия своей земной жизни не удостоенный хозяином даже имени, покинул Двор Лилии без чьего-либо злого умысла.

Все же прочие обитатели двора продолжают здравствовать.

Горькая вдовица Хая Вильденштейн не только не исчерпала все возможности своих испытанных временем прожектов: куриного и козьего или, если читателю так больше нравится: яичного и молочного, но и добавила к ним новый. Ни слова не было напечатано ни о ней, ни о ее последнем предприятии на страницах обоих славных изданий, но, тем не менее, вскоре молва о том, что «мудрая, благочестивая женщина, сведущая в травах и народных средствах» торгует целебными мандрагорами по цене вдвое меньшей, чем известный реб Довид Фридляндер, уже разошлась по всему Иерусалиму.

Слава Богу, что об этом ничего не знал ее единоутробный сын Реувен, совсем недавно переживший тяжелое испытание, связанное с этим коварным растением! Священный ужас, испытываемый им перед маленькой тщедушной старушкой, два с половиной десятилетия назад отодравшей его хворостиной за разбитую корзинку яиц – источник недельного заработка многодетного семейства без отца, в соединении со смертельным ужасом, который теперь наводили на него «сатанинские ягоды», мог бы, пожалуй, вовсе лишить его рассудка.

«Неужели же одна, пусть даже болезненная, порка способна внушить такой трепет перед матерью, который не проходит даже у взрослого, женатого мужчины?» – с изумлением спросят рационально мыслящие читатели. – Неужели и самого автора этого правдивого повествования вовсе никогда не пороли?»

Позвольте, дамы и господа, второй ваш вопрос оставить без ответа. В конце концов, эта рукопись отнюдь не ставит перед собою задачу стать исповедью сына века! Что же до страхов Реувена перед матерью, то тут дело, конечно, не столько в самой порке, которую можно было бы даже признать наказанием вполне заслуженным, сколько в той атмосфере, в которой она производилась, и в тех словах, которые ее сопровождали. Со свистом взмахивая прутом и прилежно припечатывая его на тощие ягодицы сына, Хая Малка Вильденштейн произносила буквально следующее:

– Быть тебе битым все дни жизни твоей, недотепа колченогий! Отец за тебя пред престолом Господа не похлопочет, мать всыплет и еще добавит! Быть тебе битым все дни жизни твоей, недотепа колченогий!..

И так одно и то же, раз за разом, при каждом новом ударе.

А сколько было их, этих ударов? Да не так уж и много: дюжины, может, полторы. Но страшные слова о непрерывном унижении и боли, предстоящим ему на протяжении всей жизни, и без порки казавшейся Реувену не слишком радостной, продолжали звучать в его ушах, год за годом возвращаясь к нему в самых неожиданных жизненных положениях. И точно так же, как посреди изучения трактата «Брохес» с реб Шлойме и компанией ешиботников, ни с того, ни с сего, доносился к нему из глубины прожитых лет скрипучий голос матери, повторяющий ужасное проклятие, внезапно возвращался к нему сопровождавший эти слова дух места и времени. Реувен, успевший стать мужем и составителем календарей, вдруг вновь оказывался лежащим со спущенными латаными штанами поперек лавки в сырой полутемной коморке Двора Лилии. В нос ему ударял запах куриного помета и подкисающего козьего молока, и даже полные глубокого и утешительного смысла слова наших мудрецов, да будет их память благословенна, не могли избавить его от нахлынувшего кошмара.

Недаром заметила острая на язык госпожа Авигайль Бухбиндер: «Мать вынашивает ребенка девять месяцев и

рожает его в муках, а ребенок потом вынашивает ее в муках всю свою жизнь».

Отчего же Хая Малка Вильденштейн была столь жестока к своему сыну Реувену? Отчего материнская любовь не остановила ее руку с занесенным над младенцем прутом, подобно ангелу, остановившему руку праотца нашего Авраама, когда тот замахнулся ножом на сына своего, отрока Ицхака? Какая злая сила заставляла ее повторять страшные слова, не оставлявшие бедному ребенку надежды на спасение? Видимо, Реувен, в противовес своему библейскому тезке, первенцу праотца нашего Яакова, родившийся у вскоре овдовевшей матери последним, оказался лишним. Недаром обогатившая народ Израиля целым выводком сынов и дщерей Хая Малка Вильденштейн никак не могла вспомнить, каким он был по счету. Весьма хваткая и сметливая во всех житейских делах, Вильде Хае, которую никто бы не подумал назвать выжившей из ума, всякий раз, начиная пересчитывать детей, вышедших из ее утробы и разошедшихся в разные стороны по извилистым дорогам судьбы, в полной растерянности останавливалась в подсчетах, дойдя до Реувена:

– Ицхок – раз, Гершон-покойник – два, Хава-Броха и Дов-Бер – четыре, Зелда – пять, Нехама – шесть, Довид-покойник – семь, Шмуэль и Голда-покойница – девять, Мотке – десять, Реувен... Который же Реувен, прости Господи? Нет, тут что-то не так! Значит, Ицхок – раз, Гершон-покойник – два, Хава-Броха и Дов-Бер – четыре, Зелда – пять, Нехама – шесть, Довид-покойник – семь, Шмуэль и Голда-покойница – девять, Мотке – десять, Реувен... Тьфу, несчастье с этим Реувеном! с самого начала было ясно, что никакого толку из него не выйдет. Ну-ка, еще: Ицхок – раз, Гершон-покойник – два, Хава-Броха и Дов-Бер – четыре, Зелда – пять, Нехама – шесть, Довид-покойник – семь, Шмуэль и Голда-покойница – девять, Мотке – десять, Реувен... Ах, чтоб его!

Вот и Реувен Вильденштейн, видимо, чувствовавший себя лишним, не любит свою мать Хаю Малку, взрастившую и выкормившую его, в полном соответствии с божествен-

ными, природными и человеческими законами. Если же он и почитает ее, как предписано нам святой Торой, то всеми силами стремится делать это в наибольшем отдалении от родительницы.

Как и прежде, он полагается на волю Пресвятого, благословен Он, и считает, что, если суждено ему избавиться от материнского проклятия, то есть, стать человеком успешным, уважаемым, состоятельным во всех отношениях и, главное, отцом большого семейства, то пути к этому, помимо ревностного соблюдения заповедей Господних и прилежного изучения Его закона, следует искать в «мужских прожектах». К этим «мужским прожектам» относил он все, связанное с точным и трезвым расчетом. Вот, например, вечный календарь или безостановочные часы, или, скажем, неисчерпаемый колодец, сам очищающий нечистоты и превращающий их в чистейшую воду, куда лучшую, чем дождевая – это именно те прожекты, которые должны основываться на мужской логике и верном вычислении. Нет, увы, не на том вычислении, на которое он был сегодня способен… Однако в будущем, когда-нибудь, с развитием всего того, что так успешно развивается… Но теперь даже и подобные этим прожекты казались ему рискованными. Нет, лучше уж быть благодарным Всевышнему за то, что у него есть, и вместо опасных прожектов углубиться, насколько возможно, в постижение древней мудрости Мишны и Гемарры. Иначе можно просто сойти с ума. Мир слишком хаотичен! А мужской рассудок требует порядка, которого его постоянно лишает женское вмешательство…

Иное дело жена его, Двойра. Даже перенеся короткую и бурную болезнь, она не потеряла голову и не утратила решимости действовать. Оставшиеся после трагической субботы ягоды мандрагоры были уже через день вручены ею миссис Годсон с большой пользой для семейства Вильденштейн. Американская писательница пришла от этого проявления неземной благости и щедрости в неменьший восторг, чем от самих «священных библейских плодов», и тут же, не желая слушать никаких возражений, вручила «дорогой

Дэб» десять самых настоящих американских долларов одной купюрой.

Купюра эта вызвала в душе Двойры сложное чувство. Прежде ей никогда не приходилось держать в руках бумажные деньги, но на почте ей несколько раз доводилось видеть не только турецкие бумажки в пятьдесят курушей, но даже французские франки чернильного оттенка. Так вот, не говоря уж о курушах, которые неизвестно какой сумасшедший согласился бы взять не звонкой монетой, а бумагой, но и франки явно уступали этим десяти долларам. Благородный и основательный серый цвет полученной «купюры», которую она не переставала рассматривать, множество всяческих номеров, надписей, набранных самыми разнообразными шрифтами, а также оставленных разными важными американскими господами извилистых подписей с росчерками, производят на нее самое благоприятное впечатление. А вот выгравированные справа и слева рисунки нравятся ей гораздо меньше, хоть мастерства художнику и не занимать. Слева, под словом «Ten»[145], изображены два господина в широкополых шляпах, вроде как у выкреста, доктора Файна, а перед ними стоит прямо на земле бутылка, полная не иначе как водки. При этом один из них держит в руках веревку, на которую второй уставился с каким-то непонятным любопытством, видно, не понимая, так же, как не понимала и Двойра, для чего та предназначена. И действительно – для чего? То ли этот старший и более солидный выкрест собирается пригласить своего несчастного напарника попрыгать через скакалочку, то ли задумал повесить несчастного на виднеющейся чуть позади деревянной балке с перекладиной. Ну а справа, под цифрой 10, и вовсе творится нечто невообразимое: девица с бесстыдно распахнутой на всеобщее обозрение грудью и с распущенными волосами, сидит верхом на какой-то огромной птице с разинутым клювом, индюке – не индюке, гусе – не гусе, одной рукою обнимая это пернатое чудище, а другой – грозя кому-то кулаком. И вот Двойра по десять раз на дню вы-

[145] *Ten* – десять (*англ.*).

нимает эту «купюру» из ящика стола, чтобы снова пристально рассмотреть, одновременно и гордясь тем, что является ее обладательницей, и стыдясь собственного легкомыслия. Нет, что ни говори, лучше всего было бы поскорее поменять эту неблагонадежную бумаженцию на что-нибудь ценное и никогда уже не смотреть ни на бесстыдную гойку, ни на гуся, ни на докторов, замышляющих что-то подозрительное. Впрочем, в Америке ей придется каждый день вертеть в руках такие бумажки, которые посыплются на нее, словно из рога изобилия. Но уж тогда она к ним так привыкнет, что и вовсе не станет рассматривать: пусть там эти гравированные идолопоклонники делают что хотят, а ее дело маленькое: сунула в кошелек, вынула из кошелька. На что тут смотреть, когда их, как говорится, видимо-невидимо? К чему приглядываться?

Миссис Годсон не стала скрывать от нее собственный опыт с порошками реб Довида, выразив разделяемое многими учеными людьми мнение, что именно корни мандрагоры обладают теми благими свойствами, которые угодны Господу, повелевшему всему живому плодиться и размножаться, а ягоды могут пригодиться для других, также весьма полезных целей. Вот только кожицу и косточки плодов, во избежание отравления, совершенно необходимо удалять.

– Вы ведь не пытались есть эти ягоды с кожей и косточками, милая?

Нет, в этом-то гордая Двойра не признается никогда и никому.

Тут же, не откладывая дела в долгий ящик, известная писательница велела свой милой подруге засучить рукава и взяться за дело.

– «Библейское» варенье будет нашим первым опытом, дорогая Дэб! Вы приступайте к священнодействию, а я буду записывать.

И вот уже написана одна страница величайшей книги нашей просвещенной эпохи – одновременно и прочное основание сего труда, практического и вместе с тем романтического, и величественное декоративное его навершие.

«Для тебя сберегла я, возлюбленный» (Презервы из мандрагор):

Фунт спелых плодов
Фунт сахару
1 лимон

Тщательно промыть плоды холодной водою, очистить каждый плод от кожицы, разрезать пополам и удалить семена при помощи острого кончика ножа. Поместить подготовленнные таким образом мандрагоры в стеклянный сосуд, засыпать сахаром и оставить плоды напитаться им в течение 2-3 часов, дабы они сохранили свою форму и после варки, ставши мягкими. Поставить на огонь кастрюлю, залить в нее половину чашки воды, чуть нагреть и после того добавить плоды с сахаром. Лимон нарезать кубиками вместе с цедрою и добавить к смеси. Не прекращая помешивать смесь, дабы весь сахар растворился без остатка, довести ее до кипения и продолжать варить, снявши крышку, на слабом огне приблизительно 40 минут, в последние минуты помешивая все более тщательно. Сняв с огня, проверить, довольно ли загустел сироп и мягки ли плоды. Готовое варенье следует поместить в стеклянную посуду с плотно закрывающейся крышкою.

Да, Двойра Вильденштейн, еще не оторвавшись от скудной почвы квартала Бейс Яаков и не ступив даже одной ногою на золотоносную землю Америки, уже обеими руками творит свою новую жизнь. Просто не узнать эту некогда робкую и простодушную Двойру. Теперь перед нами совсем не та Двойра, которая не знала, какое из двух платьев ей выбрать. Нет, новая Двойра умеет каждый свой шаг тщательно взвесить, а потом уж так шагнуть, что земля затрясется от ее шага. И когда разнесся слух о том, что Вильде Хае теперь тоже торгует мандрагорами, зрящая в ко-

рень Двойра, стала рассуждать не хуже любого из наших мудрецов, да будет их память благословенна:

Нет такого средства, которое действовало бы само по себе, так, словно это оно, это средство, а не Пресвятой, благословен Он, творит милость и суд, посылает чудесные избавления и неотвратимые наказания. Если Пресвятой, благословен Он, пожелает, то и табуретка запоет Песнь Ступеней. А если не пожелает, так самый голосистый кантор не сможет и пискнуть перед святым собранием в Судный день, так и будет молча стоять с раскрытым ртом, словно рыба.

Что делает Пресвятой, благословен Он, приводя свои планы в исполнение? Он избирает орудия осуществления своей воли и посланников, применяющих эти орудия. Вот как Он действует, поддерживая порядок в этом мире! Конечно, если нужно вывести целый народ, шестьсот тысяч душ, что ли, из рабства египетского на вечную свободу, Пресвятой, благословен Он, не может доверить исполнение такого нешуточного плана какому-нибудь посланнику. Тут уж ему приходится орудовать самому, как сказано в Пасхальном Предании: «Я сам, а не ангел, Я сам, а не посланник». Мыслимое ли дело – провернуть такой сложный прожект, как истребление всех первенцев в огромной империи, да при этом не задеть ни одного из потомков Яакова! Поди разгляди во тьме египетской, кто мазнул по косяку дома козлиной кровью, а кто нет. Это никакому посланнику не под силу, будь он хоть семи пядей во лбу. В таких исключительных случаях Пресвятой, благословен Он, волей-неволей, вынужден действовать сам, чтобы все не пошло кувырком. Или, например, если потребуется раздвинуть воды морские. Кому Он может доверить такое нарушение природных законов? Говорят, правда, что Йегошуа бин Нун приказал солнцу и луне остановиться в небе, и они, якобы, послушались. Но, если это и вправду так, то, видно, Пресвятой, благословен Он, все равно это чудо сам устроил, а Йегошуа только для вида распоряжался светилами, чтобы на гоев больше страха напустить. Не может смертный такое сотворить – уверена Двойра.

Идем дальше. Есть у Пресвятого, благословен Он, дела менее громкие, но оттого не менее важные. Взять, к примеру, нечестивца Голиафа. Какой он ни был громила, а Пресвятой, благословен Он, не счел нужным самолично им заниматься, метать на его голову огонь с небес, а послал против него своим посланником всего-навсего мальчишку, в руку которого вложил такое простое орудие, как обыкновенный камень. И против гоя-разбойника этого оказалось достаточно. Бац – и повержен великан Голиаф.

А теперь – стоп! Не нужно быть великим мудрецом, чтобы догадаться: вовсе не всякий камень и не любой мальчишка смогли бы нанести этот важный для всего народа Израиля удар по голове. Ребенку понятно, что камень, который угодил поганцу в лоб, был особенный и обладал какими-то специальными свойствами, потребными для наилучшего пробивания медных лбов. И не иначе как мудрецы наши, да будет их память благословенна, уж об этом подумали и высказали несколько разных суждений, а то и поспорили на эту тему, как у них заведено: один сказал одно, другой – другое, а третий припомнил похожий случай из другой книги и провел, как говорят ученые люди, «параллелен». Одно ясно: камень тот, будучи средством Пресвятого, благословен Он, нарочно явился на свет, чтобы размозжить эту паршивую голову, а другие камни, рассыпанные на том же самом пригорке, для этой цели не годились.

То же самое – продолжает рассуждать Двойра – касается и посланника, того самого мальчишки, которого Пресвятой, благословен Он, выбрал для этой святой цели, а потом назначил его царем Довидом над всем народом Израиля. Ясное дело, что этот посланник лучше всех прочих умел метать камни, распоряжаться государственными делами и петь псалмы. Таково было его предназначение, и для этого предназначения Пресвятой, благословен Он, избрал его среди тысяч прочих мальчишек, зная за ним в безграничной мудрости своей такие особые способности.

А теперь представим себе, что этому Довиду нужно было бы не камень швырнуть в голову негодяя, а, скажем, рассудить между двумя матерями, которой из них принадле-

жит младенец. Ой, не завидую я этим матерям! Уж на что великий был царь, какие песни сочинял, а ведь ребенку понятно, что окажись он на месте собственного сына Шлойме, который эту тяжбу разрешил быстро и разумно, ничего бы из этой истории хорошего не вышло. А если бы Шлойме пошел с камнем на того гоя, то, верно, промахнулся бы, да и от пения его, пожалуй, уши вяли. А почему? А потому, что для всякого посланника Пресвятой, благословен Он, приготовил его собственное особое послание и вложил ему в руки особое орудие. Иначе на свете совсем не было бы порядка, а напротив, царил бы сплошной хаос и кавардак.

Имея все это в виду, – продолжает свое рассуждение обстоятельная Двойра – посмотрим теперь на наши мандрагоры. Пресвятому, благословен Он, угодно было наделить это растение чудодейственными свойствами, дарующими плодовитость дщерям Израилевым, и нынче уже все сходятся на том, что это средство верное и надежное, незаменимое для исполнения воли Святого, благословен Он, которую Он ясно выразил в словах «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю», и что там еще. Но всякое самое верное и надежное орудие, как мы видим, должно пройти через руки соответствующего посланника. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что чудодейственные мандрагоры должны, видно, быть извлечены из земли умело, со всякими подобающими словами и церемониями, да не кем попало. И сдается мне, что, если их ягодки ни на грош не помогли мне, то причина тут не в них, а в том, кто их и как собирал, и все такое прочее. Конечно, одно дело вершки, а другое – корешки. Но, если бы я, грешная, не просто сорвала бы их среди ночи, а получила бы из верных рук, кто знает, не носила ли бы уже во чреве своем... Кто знает?

Боже меня упаси – едва не в голос восклицает Двойра в душе своей – чтобы я имела что-нибудь против реб Довида или почитала его мужем недостаточно ученым или недостаточно благочестивым. Боже упаси! Но так и отец с сыном, два величайших царя Израилева, оба были мужами достойнейшими, до которых нам расти и тянуться, как укропу до солнца, и, тем не менее, каждый проявил себя в вели-

ких деяниях, предусмотренных для него одного, а в других, возьмись он за них без послания и благословения Пресвятого, благословен Он, имел бы самый бледный вид.

И кто же, скажите вы мне, – обращается к себе самой богобоязненная Двойра – кто же поручится, что именно реб Довид, при всех его великих достоинствах, послан Пресвятым, благословен Он, не для изготовления цемента и строительства домов в Святом Граде, да будет он отстроен и да восстановится в нем трон Довида, раба Божьего, в скорости, в наши дни, а для того, чтобы даровать дщерям Израилевым плодовитость, без которой чахнет, как говорится, лоза Господня на святой горе Его, или как еще сказать... Вот, посылает Пресвятой, благословен Он, средство верное, орудие милости своей, нашими праотцами и праматерями испытанное и подтвержденное. И вот два человека предлагают принять его из рук своих. Кто же из них более похож на посланника Пресвятого, благословен Он? Вдовец, едва породивший одного-единственного отпрыска, или жена праведная, выносившая столько детей, что всех и не помнит? А?

Если вы спросите меня, – делает Двойра окончательный вывод – дело это скорее женское, чем мужское. Как праматерь наша Лея, так и Хая Малка, видно, знает, что делает. Да и то сказать, когда нужно было особенно резко повернуть ход событий, чего бы это ни стоило, дело в свои руки чаще всего брала женщина. Видно, мужское дело – следовать правилам, а женское – куда более важное – эти правила обходить. Посмотрите на праматерь нашу Ривку, заставившую Яакова нарядиться своим собственным старшим нечестивым братцем, чтобы получить отцовское благословение, или на Тамар, которая, чтобы зачать от праведника Йегуды, пошла даже на то, чтобы притвориться потаскухой! Я-то сама ничего подобного, упаси Боже, не делаю, но какие нужно шаги предприму.

Поднаторевшая в законах логики Двойра, конечно, не одна такая мыслительница во всем городе. Ее соседка, та самая Хана Киршенбаум, с которой они когда-то, в далеком детстве, немало рассуждали в простоте душевной о разных

предметах, та самая Авигайль Бухбиндер, которая теперь считает себя очень ученой, тоже приходит иногда к интересным выводам об особой роли женщины в мировом порядке. Ей-то, этой выскочке, куда легче. Она может со своим носатым мужем обо всем говорить, он ее за любые фантазии только больше хвалить станет, а у Двойры, жены разумной и пытливой, супруг – простофиля, составитель календарей, без особых успехов протирающий штаны в доме учения, и с этим уже ничего не поделаешь, приходится до всего доходить своим умом. Но зато и построения, и выводы двойриной логики куда более основательные, без всех этих гойских выкрутасов, которым научил Хану ее «европейский» муженек. Разве без его дурного воспитания додумалась бы она до таких несуразностей, о которых и говорить-то совестно? А та, кажется, и не стесняется совсем. Однажды, например, говорит, будто кто ее спрашивал:

– Твой Реувен, Двойреле, – великий праведник, раз согласен ехать с тобой на край света. Только великий праведник готов слушать голос жены не только тогда, когда она ему поддакивает.

Ну, хорошо, это, пожалуй, совсем не глупо. Но на этом она не останавливается и добавляет совсем уже неизвестно что:

– Жизнь, – говорит она, – словно состоит из двух противоположностей. Как будто Бог действует в двух лицах: Он сотворил мир, как женщина, а законы в нем установил, как мужчина. Вот мы и пытаемся жить в мире женской природы по законам мужского разумения. И не очень-то хорошо это у нас получается...

Это что же такое в ней говорит, в этой Хане? – спрашивает себя Двойра. – Женская природа, мужская логика или просто бред сумасшедшей?

Но, что там ни говори, если в таком сложном деле, как деторождение, женщина будет во всем полагаться на мужчину и не позовет на помощь другую женщину, имеющую в том неоспоримые познания и немалый опыт... Ох, неизвестно, сдвинется ли это дело с места хоть когда-нибудь.

Одним словом, Двойра решается действовать, и действовать именно сейчас, когда судьба ее на подъеме, нет: на взлете.

Однажды покинув Двор Лилии, Двойра, так же, как и подружка ее детских игр Хана-Авигайль, – теперь редкая в нем гостья, хотя каждый поворот тут знает наизусть и могла бы с закрытыми глазами, не споткнувшись, пройти по всем его ярусам, заходя в каждую дверь.

Этот самостоятельный мирок, казалось, стремится представить себя не просто отдельным городом, но даже отдельной страною, континентом, куда более важным, чем какая-то там Америка, или даже целой планетой. Бейс Яаков и другие новые кварталы лежат где-то за пределами этой планеты, но подчиняются законам ее притяжения, словно луны, магнитами гравитации и иных проявлений научного прогресса удерживаемые в своем вращении вокруг нее. Или же, дав волю воображению, размышляющий об этом дворе волен представить его себе гордым одиноким судном, покачивающимся на суровых каменных волнах безбрежного житейского моря, а новые кварталы – стаями рыб, уловленными в его широко раскинутые сети. И тогда две печатающиеся тут газеты представятся ему вовсе и не газетами, а двумя судовыми журналами, каждый из которых на свой лад ведет один их двух капитанов – ведь на корабле царит двоевластие. Поэтому описываемая в каждом из журналов реальность настолько непохожа на описываемую в другом, что непосвященный может вообразить, будто и море у каждого капитана другое, и ветры над этими морями дуют совсем разные, в совершенно противоположных направлениях, и гады морские водятся в пучине этих каменных вод отнюдь не одинаковые. Один кормчий сообщает в своих записях, что нынче была буря, гремели громы и в черном небе сверкали молнии, спалившие самые светлые наши надежды на будущее; другой же уведомляет, что погоды стояли ясные и на море царил полный штиль, мешавший прогрессу судоходства и предвещавший в скором будущем неизбежную разрушительную бурю, всегда являющуюся результатом общественного застоя. Излишне говорить, что и

маршруты эти капитаны указывают для судна противоположные, и лоции используют противоречивые – у одного страшные мели слева по борту, у другого – смертельный водоворот справа.

Вокруг двух капитанских мостиков, с которых два капитана отдают судну одновременные распоряжения двигаться в двух вовсе несовместимых направлениях, на всех трех палубах и в трюме кипит самостоятельная корабельная жизнь, имеющая к усилиям обоих навигаторов самое отдаленное касательство: варятся черные и белые бобы, рис и чечевица, несутся куры и доится коза, сыплются горькие упреки и расточаются затверженные с детства благословения, шьются фески и кушаки, изучаются прения благословенной памяти наших мудрецов, сходившихся во мнениях не чаще двух несговорчивых флотоводцев. Одним словом, происходит все то, что совершается изо дня в день во всяком дворе.

И все же Двойра, совсем не склонная к мужским или, скажем точнее, писательским, абстрактным размышлениям и к умозрительным фантазиям, а явившаяся сюда по делу, чувствует себя так, словно попала, как говорится, не в свою тарелку, будто заплыла с иного континента или залетела с далекой золотой звезды – этакая Двойра-американка, иначе говоря, Дэб. Грудь у нее, Боже упаси, не открыта на всеобщее обозрение, кулаком она никому не грозит и никогда не станет обнимать за шею какого-то подозрительного индюка-переростка. И, тем не менее, ей, совсем недавно вышедшей из этого самого двора, уже никогда в него вновь не вернуться, как к себе домой. Отродясь не видевшая ни моря, ни кораблей, на которых ей вскоре предстоит отправиться в новую неведомую жизнь, а звезды и прочие небесные тела полагавшая, в полном согласии со словом Божьим, лишь знаками для определения времен и соблюдения правильного распорядка, она, тем не менее, смотрит сейчас на знакомое с младенчества как на какую-то заморскую диковину. Нет, у них в Бейс Яаков все какое-то более понятное, более правильное, более... как это говорится?.. Более про-грес-сивное? А здесь все, кажется, таит какой-то подвох, какой-то скрытый умысел.

Да и сама Вильде Хае видится ей вдруг вовсе не ее свекровью, матерью ее знакомого, как собственные ногти, Рувика, а каким-то странным и даже опасным существом. Что это у нее такие маленькие глазки? У всех дщерей и сынове́й Израиля глаза, с Божьей помощью, большие и полные ясного смысла. А у Вильде Хае они, во-первых, маленькие, колючие, словно сапожные гвозди, а во-вторых, какие-то неуловимые – вроде бы смотрят тебе в лицо, а вроде и не в лицо вовсе, а прямо куда-то внутрь, в живот, как будто проверяют, что ты сегодня ела и не завелся ли там кто-то, да будет на то воля Пресвятого, благословен Он. А сами при этом молчат, ничего не выдают.

Прямо скажем, не самое простое и легкое существо на свете эта Вильде Хае, да продлятся ее дни. Двойра помнит, что больше двадцати лет назад, когда сама она была еще маленькой девочкой, а господин Фрумкин и господин Исроэл Бак вынуждены были объявить о том, что временно прекращают печатать «Лилию», не только весь их двор, но и весь город, а то и весь мир обсуждал страшный скандал, угрожавший самому существованию избранного народа на Святой Земле. И кто же был причиной этого страшного скандала, как не вдова Хая Малка Вильденштейн! В те годы несколько еврейских хозяек тайно приторговывали по домам вином, на которое были падки некоторые мусульмане. Занятие это было весьма рискованное, ибо виноторговля у турок противоречила не только коммерческому закону, но и религиозному, а значит, пойманную с поличным или по доносу еврейку ждала прямая дорога в тюрьму едва ли не до конца жизни. И вот случилось нечто еще более страшное: какой-то египтянин подрался на рынке с местным арабским торговцем, да так жестоко, что в пылу битвы ударил его по голове железной гирей и убил на месте. Представ же перед судьей, этот египтянин, да не ступит нога сына Израилева на его Богом проклятую землю, заявил, что был пьян и оттого не ведал, что творил, а вино достал у еврейки. И указал на дом вдовы Вильденштейн. Египтянину тому, да не будь он помянут, справедливый турецкий судья велел быстренько отрубить голову, что и было сделано с

превеликим умением. А за вдовой послали двух кавасов, которые взяли ее под стражу, оставив в пустом доме десять рыдающих невинных детей. Над всей общиной нависла тогда ужасная грозовая туча, из которой вот-вот должны были посыпаться смертоносные молнии, и только благодаря тому, что по всем дворам собрана была огромная, никем прежде не виданная сумма денег, дело ограничилось громами. Народ Израиля избежал изгнания из Святого Града, вдова вернулась домой целой и невредимой, а раввинский совет вынес единодушное постановление, под страхом отлучения запрещающее продавать в розницу или оптом вино и водку кому бы то ни было, кроме известных членов общины, да и то лишь по пятницам и в течение десяти дней перед Пейсахом, Пуримом и Ханукой. С тех пор многие, не исключая и тех ловких хозяек, что сами совсем недавно снабжали вином сынов Ишмаэля, смотрели на бедную вдову как на личную должницу, с которой никто, конечно, не дай Бог, не станет спрашивать возвращения заведомо прощеного долга, но едва ли не всякий тяжело вздохнет, поцокает языком, закатит глаза, поднимет брови, а то и проронит какое-нибудь крылатое слово. Так уж повелось, что народ наш редко помнит зло, зато еще реже забывает собственное добро, содеянное во имя святой заповеди взаимного поручительства. А Хая Малка, которую и прежде той истории никто бы не назвал наивной, побывав в турецкой тюрьме, словно бы набралась какого-то особого знания о жизни, о тайных ее сторонах, о коротких и верных путях ее, пролегающих во мраке и скрытых от всеобщего обозрения внешним покровом, непроницаемым для простых душ. Впрочем, кто знает, такие ли эти пути короткие и верные, если они упрятаны от привыкшего к солнечному свету доверчивого взгляда? Не петляют ли они бесконечно, словно разветвленные в толще земли корни коварных ядовитых растений? И куда ведут все эти потайные тропинки тайных знаний? Не в пекло ли адское ведут они, не приведи, Господи?

Отважная Двойра решительно отгоняет от себя эту скверную мысль. Во всех своих рассуждениях, предшествовав-

ших этому визиту к свекрови, она не находит ни нравственной, ни логической ошибки. Следовательно, намерения ее не могут не быть угодны Пресвятому, благословен Он.

– Это кого же нам Господь послал! – приветствует Двойру Хая Малка, нарочно изображая изумление, которого вовсе не испытывает. Вдова Вильденштейн повидала на своем веку много всего такого, по сравнению с чем невестка Двойра вызывает у ее не больше удивления и интереса, чем отказывающаяся нестись курица. И чем же она может ее внезапно поразить, каким таким невероятным прожектом? Видно, просить пришла о чем-то. Все они являются, выныривая из небытия, только для того, чтобы чего-то просить, требовать или вымогать. «Они» – это для горькой вдовы человеческий род в целом, но особенно – родственники и свойственники разной степени близости.

– Здоровы ли вы, матушка? – спрашивает Двойра, с огромным усилием преодолевая свою робость.

Подумать только: еще совсем недавно она была совершенно спокойна и не чувствовала ничего, кроме великой радостной уверенности. А вот теперь, при виде этих колючих маленьких глаз, в которые невозможно заглянуть снаружи, молча умоляет Господа не покидать ее на произвол судьбы и не бросать на милость страшной старухи.

– Мне хворать Бог не велит, – отвечает Вильде Хае, буравя невестку въедливым взглядом. – Ангел смерти меня здоровую заберет, так что стыдиться не придется. А сама-то?

– Слава Богу, матушка.

Про родного сына даже не спросит!

– Не затяжелела еще?

Она, как будто, видит Двойру насквозь. От этого жутковатое ощущение усиливается, но, одновременно с ним, укрепляется уверенность в том, что не зря она, Двойра, пришла сюда, что, если уж искать встречи с тайными подземными силами, то именно здесь, у этой хитрой старухи, которая и сама делается с годами все больше похожа на выскочивший из-под земли ветвистый корень.

– А как же... Господь послал свое благословение, – отвечает Двойра и, неожиданно для самой себя, добавляет, – Реувен велел вам кланяться.

Отчего-то, вынужденная вести со свекровью тайную игру, Двойра не может удержаться от того, чтобы не врать уже на каждом слове и без всякой необходимости. Верно, это происходит от страха перед тем, что Вильде Хае читает в ее душе так же легко, как видит сквозь землю скрытые от всех похождения одушевленных корешков. От страха, что хитрая старуха вот-вот поймает ее на какой-нибудь бессмысленной мелочи, стоит их разговору хоть немного еще повертеться вокруг да около, не обратившись к главному, она принимает самый деловой тон и спрашивает:

– А кстати... Говорят, матушка, что вы стали помогать людям разными целебными травками...

– Много чего говорят, – усмехается Вильде Хае. – Говорят, что кур доят.

– А слух по всему городу разошелся, – продолжает настаивать Двойра. – Ведь не бывает же такого, чтобы совсем не было никаких причин для слуха.

Вильде Хае молчит и смотрит на нее своими въедливыми маленькими глазами, мол, ну-ка, послушаем, что за слух такой!

– Рассказывают, что есть у вас такой корешок, который называется «мандрагора». И этот корешок, говорят, чудо как помогает тем, кому Господь детей не дал.

– Вот ведь, оказывается, что говорят! Ну, не зря Пресвятой, да будет Он благословен, дал нашему народу языки. Как на свет уродятся, так все и говорят, и говорят...

– А разве не правду говорят, дорогая матушка?

– Боже меня упаси, чтобы я на кого напраслину возводила, – кривовато усмехается Вильде Хае. – Греха на душу не приму. Если говорят, видать нет дыма без огня. А тебе-то что?

– Я, матушка, поручение имею, – самым невинным голосом заявляет хитрая Двойра. – Поручение к вам от некой иностранной женщины... от одной американки. Детей у нее нет, а годы идут.

– Ох, идут годы, идут! – поддакивает Вильде Хае, не спуская с Двойры своих маленьких, глубоко проникающих и непроницаемых глаз.

– Она меня умолила сторговать у вас, матушка, корешочек мандрагоры. Так уж она, бедная, страдает и мечтает о ребеночке.

– Мечтает?

– Мечтает, матушка. А лет ей уже под сорок.

– Значит, она мечтает? – передразнивает ее свекровь. – Думает, видно, что много ей радости и утешения будет от этого ребеночка. А много ли денег водится у этой иностранной женщины, у этой мечтательной американки?

– Нет, матушка, – хитрит Двойра. – Бедная она совсем. На последние гроши добралась она, с Божьей помощью, до святой Земли, чтобы просить Господа о ребеночке.

Вместо сочувствия, Вильде Хае изображает на своем и без того не слишком приветливом лице верх отвращения.

– Но вы, матушка, назовите вашу цену! – спешит умилостивить ее Двойра. – Ведь она так сильно хочет ребеночка, так искренне хочет, что последнее отдаст.

– А муж ее при ней, что ли? Без мужа корешок не поможет. Его нужно пополам с мужем съесть, пока он свежий из земли.

– Здесь, здесь ее муж! – уверяет ее Двойра. – С нею. Во сне бредит – хочет ребеночка. Пресвятого, благословен Он, молит о потомстве и днем, и ночью...

– Это хорошо. Без искренней молитвы никакие корешки не помогут.

«Болтай, болтай! – думает про себя тертая Вильде Хае. – Перехитрить меня задумала!» Ей даже радостно на душе становится от этой веселой мысли, и день, начинавшийся довольно кисло, приобретает сладковатый оттенок, словно в миске на ее столе, при повторной и более внимательной пробе, вместо подкисающего козьего молока, в которое успела ненароком нагадить курица, обнаружилась сладкая рисовая каша с изюмом. «Американка сыскалась! Я тебя научу со мною хитрить!»

– Ну, раз она американка и муж у ней американец, да оба они, к тому же, неимущие, то за десять долларов мы их уважим. А ты свои комиссионные с них и получишь. Не обессудь, мы ведь по-родственному с тобой.

И вот десятидолларовая купюра, взывавшая у праведной Двойры противоречивые чувства, переходит к Хае Малке, которая, похоже, нимало не смущается изображенными на ней выкрестами, чудовищной птицей и полуголой девкой. Взамен нее Двойра получает чудодейственный корень, помещенный в стеклянную склянку, где он купается в какой-то бесцветной жидкости. Не особенно примечательный корень, который на первый взгляд, пожалуй, не отличишь от заурядной мелкой луковицы, разве что вытянутой чуть более обычного. И вот в таком-то простеньком корешке содержится чудодейственная сила! Поистине, велики и неисповедимы пути Господни!

– Передай американке, пусть Богу сперва помолится, как умеет, хоть по-своему, по-американски. Без Бога ничто не поможет. А потом пусть ест этот корень пополам с мужем, не запивая и не заедая ничем, хоть и жечь будет во рту. А после сразу, с Божьей помощью, идет с мужем в постель.

Легко сказать: пусть делает то, пусть делает это!

Ох, силы небесные... Как же заставить Реувена, совсем недавно пережившего из-за ягод мандрагоры такое страшное потрясение, снова взять в рот что-то незнакомое?

И тут на Двойру словно бы нисходит озарение.

– Знаешь, Рувеле, в этом году, говорят, во всех растениях полезных соков мало.

– А?

– Да, об этом уже давно говорят. Вроде как худосочное все и сил мало дает. А спасение от этой беды одно, слышишь, Рувеле?

– А?

– Говорят, что надо есть много сырого лука. В сыром луке, с Божьей помощью, соки хорошие.

Реувен не находит ни одного подходящего возражения на это заявление. Не то чтобы ему очень хотелось поесть сырого лука, но ведь нельзя же спорить с женой по всякому поводу, вполне достаточно и тех случаев, когда явных причин возразить хоть отбавляй. Вот он и не спорит, чтобы в следующий раз, когда Двойре придет в голову что-нибудь гораздо более неразумное, иметь полное право возразить, не выставляя себя искателем споров и ссор, который перечит и противоречит просто потому, что ему нравится настаивать на своем, о чем бы ни зашла речь. Он только особенно тщательно принюхивается к тому, что жена кладет перед ним на тарелку.

– Это лук, Двойра?

– Конечно, лук! А что еще?

Реувену вдруг приходит в голову пошутить.

Он уже не помнит, когда шутил в последний раз, а помнит только, что вышло это у него не совсем удачно и потому оставило чувство какой-то неловкости, отчего он и не отваживался пошутить еще раз. Но сейчас ему кажется, что шутка должна получиться остроумная и вполне уместная, и Реувен решается:

– А не мандрагора ли это, Двойреле? А?

Он шутливо грозит жене пальцем и, не в силах сдерживаться, разражается громким и отрывистым, словно кашель, хохотом:

– Хха! Хха! Хха! Хха! Хха!

«Смейся! – думает Двойра, жадно вонзая зубы в свою половинку заветного корня. – Так ли мы будем смеяться с тобой, Рувик, когда пара близнецов с оглушительными криками выйдет из моей утробы на свет Божий...»

Как сильно, как яростно благоухает сочный корешок! У нее перехватывает горло.

– Реу...вен, – говорит Двойра, чуть не захлебываясь хлынувшими из глаз слезами. – По...слушай меня, Реувен!

Реувен уже не смеется. Прожженному насквозь, ему не до смеха. А прерывающийся голос жены звучит так серьезно, так торжественно...

– Реувен, я чувствую что-то… Рувик, если ты сейчас подумаешь про Пресвятого, благословен Он, и придешь ко мне… Я знаю, что у нас будет сын… Может быть, два сына…

Реувен смотрит на Двойру, на ее трепещущее, полное какого-то неземного восторга лицо, на слезы, катящиеся из ее глаз по раскрасневшимся щекам и попадающие в широко раскрывающийся при этих словах багровый рот, и сам переполняется восторгом, совершенно не в силах думать о Пресвятом, благословен Он. Лишь на кратчайший миг представляется ему, что Пресвятой, благословен Он, грозным и вместе с тем полным любви взглядом, пронизывающим его насквозь, запрещает ему думать о чем угодно, кроме возлюбленной и желанной жены его, Двойры, манящей его за собою в спальню.

Вот она села на край кровати, чуть приподнимает одну ногу, чтобы снять ботинок…

Ох, что творится с Реувеном! Запутавшись в своих непослушных ногах, он неловко взмахивает руками и падает перед женой лицом вниз, словно перед Ковчегом Завета в Судный День. Что он делает? Плачет от ушиба, смущается своей неловкостью? Ничего подобного! Все его существо переполнено восторгом и неслыханной, горючей жаждой. Не сознавая, что творит, он припадает воспламененными, полными едкого жжения губами к тому месту, к которому наши мудрецы не велели ему притрагиваться.

– Рувик, Руведе! Иди сюда! – умоляет Двойра.

И он приходит. А потом, едва переведя дух, приходит снова, так и не дав Двойре снять ботинки и не сняв свои. И еще раз приходит Реувен, почти потеряв дыхание, обжигая своим багровым корнем воспаленное лоно жены. От неистовой пляски этого корня и от всепроникающего едкого запаха колдовского растения ей становится так пронзительно хорошо, что она впадает в неистовство и, когда задыхающийся и хрипящий муж, из раскрытого рта которого веет резким и жарким ароматом, в третий раз изливает в нее остаток своего кипящего семени, она впервые в жизни кричит что-то нечленораздельное, совершенно недопустимое,

непотребное, животное, иностранное, но не английское, не американское – совсем-совсем иное, словно на языке жителей земли Куш, или земли Году, или земли Зинд. Этот вопль, в котором ни один знаток всех семидесяти языков мира не разобрал бы ни слова, полон для нее огромного смысла. Уносясь на крыльях этого крика в иные миры, далеко-далеко, за горы мрака, в ослепительный свет, о котором наши мудрецы позволяли себе говорить только намеками и обиняками, она успевает понять, что ее мольбы услышаны.

Дудоим носну рейах!

Два приложения

Письмо рабби Довида Фридляндера рабби гаону, реб Шлойме Шварцу, да светит свеча его, в Иерусалим, Святой Град, да отстроится он вскорости, в наши дни

Высокочтимый рабби Шлойме, учитель и наставник мой!

Горе мне! Чем согрешил я против Господа и ближних моих? Слеп я был, не умел прочесть надписи, что огненными буквами горела на стене!

Видимо, учитель мой уже наслышан о трагедии, произошедшей здесь, в Иерусалиме Литовском. И, вероятно, много уже ходит всяких слухов и суждений на мой счет. В Вильне и во многих других общинах Польши, Литвы и Лифляндии также рассказывают про меня страшные вещи. Господь свидетель, что точные предписания мои отнюдь не всегда исполнялись. Некоторые в ненасытности и в безумии своем принимали лекарства и в два, и в три раза больше, чем следовало, а потому вместо полезного действия оного выходили для них одни неприятности. Я же, сверх меры воодушевленный теми удачами, которые были ниспосланы мне Владыкой мира прежде, уделял мало внимания этим тревожным знакам и в легкомыслии своем ограничивался лишь более настойчивыми требованиями ко всем «клиентам» строжайше соблюдать мои указания. Но Господу было угодно, чтобы несчастные супруги, уже немало страдавшие в своей жизни, не имея возможности принести в мир отпрыска чресл своих, утратили свет очей. Это печальное происшествие заставило меня, считавшего себя зрячим, но, на самом деле, бродившего впотьмах, окончательно прозреть. Учителю моему да будет известно, что с мандрагорами и иными «природными средствами» покончено раз и навсегда. Если Господу будет угодно, я вернусь в Иерусалим, город святости нашей, куда ныне стремлюсь всем

сердцем и всей душою, пребывая в надежде и с твердым намерением забыть о них, как забывают страшный сон. Вместо того, чтобы подвергать искушению несдержанный и нетерпеливый народ наш, часто необдуманной поспешностью своею искривляющий прямой путь к исполнению воли Божьей и осуществлению Его плана, стану я вновь строить дома для сынов Завета, которые, с Божьей помощью, прибудут в Святой Град и родят в нем сынов и дочерей, не прибегая ни к каким иным средствам, кроме упования на волю Хранителя Израиля и исполнения с любовью заповедей Его.

С пожеланиями долгих лет жизни и благоденствия, да избавит Господь наставника моего от любых болезней и тягот,

остаюсь преданным вам,
Довид Фридляндер

Писано в Вильне 4 ияра 5645 года

Письмо рабби Довида Фридляндера Гедалье Бухбиндеру в Иерусалим, Святой Град, да отстроится он вскорости, в наши дни

Дорогой реб Гедалья,

Вас, счастливо пребывающих в квартале Бейс Яаков, в Святом Граде Иерусалиме, вероятно, уже достигла печальная весть о трагедии, произошедшей на этих днях в Вильно, которую не перестаю оплакивать, виня себя в том, что явился невольной ее причиной. Господь свидетель, что строгие предписания мои в который уже раз не исполнялись и точные дозы, позволяющие поручиться за полезное действие лекарства и за отсутствие какого-либо вреда здоровью, превышались в два, а то и в три раза. И вот, результат из-

вестен: оба супруга, ни про кого не будь сказано, ослепли. Уповаю на Господа, чтобы слепота их оказалась временной и вскорости, с Божьей помощью, миновала, как это порой случается. (Подобное описано в книге Асафа бен Берехии.) Я же, обвиненный чуть ли не в шарлатанстве, вынужден был срочно бежать из Вильны, как вор или двоеженец, и сейчас остаюсь некоторое время у дочери моей, Ханнеле, Благослови ее Господь, в Двинске.

Горе мне! Горе всем нам, неразумным, поспешным во всем сынам Израиля! Отчего мы всегда и во всем не желаем знать меры?! Евреи всегда, на всем протяжении тяжелой истории своей, превышали и превышают предписанную меру, а потом, в неразумии и дерзости, предъявляют претензии ко Всевышнему, жалуются на гоев, на власти, на злую судьбу! Владыка мира, зачем мы постоянно превышаем меру?! Племя жестоковыйное! Зачем спешим во всем, зачем, не разобравшись в причинах и следствиях, бросаемся переделывать к худшему все то, что так худо сделали прежде? «Сделаем и услышим...» О, как горды сыны Завета этой вечной своей готовностью! Сделаем, не поняв вовсе, что надобно нам делать, не соблюдя меру, не измерив дозу, а потом, когда будет уже поздно, когда дел нагорожено и дров наломано столько, что до страшного суда не разгребешь, потом, конечно, с ужасом и запоздалым раскаянием услышим то, что нам было сказано, «слово в слово». Да, именно: слушать, что нам говорят на самом деле, а не то, что мы поспешно вообразили себе – вот чего мы, увы и увы, вовсе не умеем!

Эти несчастные супруги из Вильны ослепли, но я-то прозрел. Словно пелена спала с глаз моих, словно сняли с меня закопченные очки или повязку, скрывающую дневной свет. Отныне с мандрагорами покончено раз и навсегда. Я спешу вернуться в Иерусалим, чтобы строить дома для сынов Израиля, которые, с Божьей помощью, прибудут в Святой Град и родят в нем сынов и дочерей, спешу, полный желания забыть об этом искушении, перед коим прежде не устоял и я сам, по той же самой жестоковыйности и незнанию меры.

Дорогой друг, иногда я ловлю себя на странной мысли: не подобны ли мандрагорам и мы сами – причудливые корешки в форме человечков, мужчин и женщин, полу-люди, полу-растения, созданные по образу и подобию Его? Одни рассказывают про нас невероятные истории, приписывают нам сверхъестественные свойства и великую силу, другие смеются над нами и считают, что место наше глубоко в земле, в том самом прахе, из коего мы взяты. И в том, и в другом, мнится мне, есть немалая доля правды. Нам не сидится в спокойствии, темноте и прохладе подземного существования, мы рвемся ввысь, выскакиваем на поверхность, издавая громкие крики, полные надежды и отчаяния. Мы боимся быть съеденными заживо и, одновременно с этим, искушаем нетерпеливых, соблазняя их сладкими посулами, которые оборачиваются дурманом, безумными видениями и потерей зрения.

Дай нам всем, Боже, более разумения и терпения!

Приветствие и благословение Вам и почтенной супруге Вашей!

Довид Фридляндер

Писано в Двинске 9 ияра 5644 года

XI

Глава, в которой автор с превеликим трудом избегает кровопролития

Незадолго до праздника Швуес жители квартала Бейс Яаков простились с Реувеном Вильденштейном и женой его Двойрой, уезжавшими в Америку. Прощание обошлось вовсе без слез. Что бы там ни говорили о многострадальном народе нашем иностранные писатели и прочие сочувствующие дамы и господа, попавшие под впечатление Плача Йермиягу и некоторых других классических сочинений, сыны Яакова вовсе не так уж склонны по всякому поводу лить слезы. Особенно – закаленные ежедневной борьбой за выживание жители новых кварталов Иерусалима. Отрыдают они в домах молитвы все то, что положено по закону в специально отведенные для этого дни – и снова сухи их глаза, даже если в сердцах и остается какое-то потаенное место для той самой скорби, о которой уже написано столько, что грех повторять. (И если автор этих строк позволил себе ранее прочувствованный пассаж на тему смеха и слез, то слова его следует понимать метафорически, вовсе не ожидая, что всякая горесть и всякая радость непременно выражаются в потоках соленой воды и в громовых раскатах хохота. Нередко к такому метафорическому приему прибегали и наши блаженной памяти мудрецы, разрешая многие противоречия в Священном Писании.) Что же до отъезда четы Вильденштейнов, то о нем и вовсе грустить не приходится. Эка невидаль: евреи уплывают за океан! Уплывали, уплывают и еще будут уплывать, двигаясь на закат по золотой дорожке и имея в виду тот или иной великий прожект, обязательно требующий сменить одно полушарие на другое. (Такие ученые доктора, как господа Джон Хьюлингс Джексон и Карл Вернике, имели возможность заметить, что и в мозгу человеческом два полу-

шария отнюдь не равнозначны: в одном из них у нас при ударе отбивает память, в другом – речь и, как тут ни верти, иначе быть не может. Вот, верно, и с земными полушариями происходит нечто подобное, раз уж тело человека есть подобие Вселенной.) Ну и ничего достойного скорби в этих дальних плаваниях нет. Пройдут годы, сменится пара-тройка поколений – и потомки прежних прожектеров, движимые иными, не менее захватывающими прожектами, поплывут в обратном направлении. Легко представить себе сцену возвращения внуков или правнуков Рюбена и Дэборы Уилдерстайн на родину предков. Вот они с зычными выражениями восторга вступают в Holy City of Jerusalem[146], несколько наивно, по-дикарски, дивясь его непревзойденным красотам, столь мало заметным ко всему привычным горожанам... Впрочем, оставим картины будущего на какой-нибудь другой раз, поскольку своей очереди дожидается описание возвращений, менее отдаленных во времени и в пространстве, но оттого не менее драматичных.

Прежде, чем вернулся в Иерусалим реб Довид Фридляндер, прибыл туда пресытившийся путешествием по европейскому континенту племянник его, Арье Лейб Гойзман. Прилетел король страусовых перьев, как говорится, на крыльях любви. Спешит в дом дядюшки, мечтает обнять драгоценную свою голубку. В глазах у него стоят слезы. Сквозь дымку этих счастливых слез, горлица его видится ему такой прекрасной, что человеческой речью не передашь.

А много ли вообще дано нам передать человеческой речью?

Как Рашели найти такие слова, чтобы поведать мужу о том, о чем она обязана сообщить, о чем он и сам рано или поздно узнает? Да не по-французски, а простыми еврейскими словами, за которыми не скроешь чего-то не совсем понятного, чего-то двусмысленного или туманного. Где их взять, эти самые простые, эти жестокие слова?

– Люля, – начинает Рашель, стараясь не дать хода бурной радости супруга, чтобы потом не было ему еще боль-

[146] *Holy City of Jerusalem* – Святой Град Иерусалим (*англ.*).

нее падать с пуховых облаков блаженства на острые камни жестокой действительности. – Люля, я должна тебе сказать, что я тут была без тебя не одна.

– Конечно, не одна, голубица моя! Я так рад, что, слава Богу, вокруг тебя были добрые люди, верные, хорошие друзья!

– Я не о том, Люля. Послушай! Я и сейчас не то чтобы совсем одна...

– Конечно! Ведь я вернулся, нежная моя!

– Погоди! Послушай! Дурак ты, Люля. Я все не о том, а ты лезешь со своими глупостями. Просто плакать хочется, Люля, какой ты глупый. Вот что, Люля... Послушай! Я без тебя большую folie[147] сделала. Понимаешь? Ты, между прочим, сам виноват. Кто тебя просил столько времени торчать на этой проклятой Волыни? И теперь я беременна. Тебя рядом не было, и вот теперь я беременна. От того человека.

– Ты...

– Ношу ребенка, Люля. Не от тебя, а от того человека.

– Носишь. От того человека, – все еще ничего не понимая, повторяет за ней Арье Лейб. – Почему беременна?

– Потому что так получилось, Господи!

– Получилось? – Арье Лейб чувствует, что происходит что-то совершенно неправильное, не имеющее никакого отношения ни к его мечтам, ни к его приподнятому настроению, ни к его страстному стремлению, на крыльях которого летел он через моря из Европы в Азию. – От того человека?

– Да! И не строй из себя, пожалуйста... Ты вовсе не такой уж святой! Я не сомневаюсь, что ты в этой чертовой Волыни каждую ночь с новой девкой... И ты ничуть не лучше меня. Ты не имеешь никакого права меня судить! А то, что у тебя от этого в животе страусенок не завелся, так это не твоя заслуга, так уж мир устроен, что мужчине все сходит с рук. А я... Мне совершенно все равно, прощаешь ты меня или нет. У меня вся жизнь кончена. Я, если хочешь знать,

---

[147] *Folie* – глупость (*фр.*).

Люля... Жена твоя, Люля, – страшная злодейка. Я человека жизни лишила.

– Того человека, – как во сне повторяет совершенно сбитый с толку Арье Лейб.

– Нет, не того человека. Совсем другого. Мерзкого, отвратительного гада. И я его уничтожила! Прикончила, как крысу.

– Ха-ха-ха! – Арье Лейба вдруг озаряет: Рашель его просто разыгрывает. – Ха-ха-ха! А что ты еще хорошего сделала? Нет, ты уж мне расскажи! Что ты еще без меня наделала? Сожгла полгорода? Ха-ха-ха!

От души смеясь, господин Гойзман норовит обнять жену, и на сердце у него становится так легко...

– Дурак ты, Люля! – Рашель, отстраняясь, безжалостно прерывает его веселье. – Мне, думаешь, просто все это тебе рассказывать? Думаешь, я знаю, как теперь жить после всего этого? Думаешь, моя жизнь не кончена? Развеселился! Я всегда подозревала, что ты дурак. И оказывается, ты дурак и есть! И совсем тебя, такого дурака, не жалко, раз ты такой дурак!

Арье Лейб чувствует, что голос жены не оставляет ему никакой надежды. Весь этот совершенно неожиданный и лишенный всякой логики ужас не желает превращаться в шутку. Так иногда случается: человек хочет доказать себе, что он может взглянуть на собственную жизнь со стороны, словно зритель в театре, посмеяться и решить, что до третьего акта драматургия и игра актеров заслуживают доверия, а вот в третьем акте происходит какая-то нелепость, которую можно обсмеять и вымарать из пиесы. Как бы не так! Смеется-то весь зал, смеется и Главный Распорядитель этого безобразия, а сам он просто раздавлен. Все теперь безнадежно испорчено, и единственная, горькая и к тому же грубая шутка – это как раз он, дурак Люля. И... Рашель совершенно права: нечего его жалеть, раз он такой дурак.

Перед внутренним взором онемевшего Арье Лейба встает образ маленькой Рохеле, той самой семилетней девочки, которая еще и не думала о том, чтобы стать Рашелью.

– Дурак ты, Люля! – заявляет она, смеясь во весь свой беззубый рот над празднично разряженным Арье.

Ему только что исполнилось тринадцать, и он преисполнен важности перед первым своим вызовом к Тойре. Почему дурак? Вовсе он не дурак. Это она – маленькая дурочка, которая ничего не понимает. А он идет в синагогу, как взрослый мужчина, и в его честь будут произносить специальное благословение. А она ничего этого не понимает. Дурочка.

Боже великий, как он ее любит!

– Так это правда? – едва слышно спрашивает Арье Лейб. – Про того человека? А? И про не того человека тоже? Все правда?

– Все правда, Люля. С обоими теперь покончено… Только ребенок этот остался.

Арье Лейбу делается совсем страшно.

– Не убивай его, Рашель! Прошу тебя! Умоляю! Это будет наш ребенок…

– Что же я, по-твоему, всех подряд убиваю, никому прохода не даю? – горько усмехается Рашель. – Эх, кто бы меня убил! Если ты, Люля, ищешь виноватого, то виновата я. Можешь меня убить. Такой злодейки, как я, свет не видывал. А тот человек… в чем виноват тот человек? В том, что я ему приглянулась? Это, по-твоему, большое преступление? Ты так считаешь?

Справедливости ради надо сказать, что Арье Лейб еще не считает ни так, ни иначе. Он настолько ошарашен и оглушен тем, что услышал, что ему еще очень далеко до того, чтобы составить какое-либо мнение по этому вопросу. Он смотрит на жену абсолютно бессмысленным взором, в котором читается разве что ужас и более ничего. Тем не менее, Рашель полагает необходимым спорить и атаковать обескураженного супруга:

– Смешно, Люля! Вот ты всегда так! Только злоба и месть – вот на что способен настоящий мужчина. А по-моему, это и не мужчина вовсе, а просто петух! Да-да, задиристый петух. Нет уж, оставь его в покое, он и так страдал довольно и продолжает страдать. А если тебе это поможет успокоить-

ся, удовлетворить мужскую гордость, то можешь с позором выгнать меня и получить развод. Alons![148] Давай, не стес-няйся!

– Не говори так! Не говори! – Арье Лейб вскакивает. – Погоди! Подожди меня! Ничего не делай! Умоляю тебя, ничего не делай, подожди! Я сейчас!

Он хватает ее руку, покрывает вырывающиеся пальцы быстрыми отчаянными поцелуями и выскакивает за дверь. Кровь стучит в его голове. Еще минуту назад он и не думал ни о гордости, ни о мести. Он не думал еще ни о чем, до тех пор, пока жена не высказала ему прямо все то, о чем ему следовало подумать. Да, он мужчина! И он не видит в этом явлении ничего ненормального. А мужчина обязан стоять на страже... Додумывать, на страже чего именно пристало стоять мужчине, у господина Гойзмана уже нет досуга и свободных мыслительных средств. Он весь кипит. Уж если кто-то кого-то и убьет, то это будет он, Арье Лейб Гойзман. Убьет, смоет кровью... Что смоет? Все! Позор, мучения невинно страдающей жены и этого прилипшего к нему дурацкого «дурака» тоже смоет.

Сказал «сейчас» – и вот уже два дня, не зная покоя, носится он по городу. Провел ночь на постоялом дворе – и снова мечется по всем кварталам, заводит со всеми странные разговоры о том, о сем, старается что-то выпытать, поймать конец некой ускользающей нити. Какая-то idée fixe[149], какой-то складывающийся на бегу план, одному ему понятный прожект подчинил себе все его помышления и силы. Что за прожект? Что-нибудь очень оригинальное, еще не виданное и не слыханное в наших краях? Именно так. Господин Гойзман, страусовод, красильщик перьев и коммерсант из колонии Петах-Тиква, замыслил предприятие, по сравнению с которым даже танцевальные вечера и конные прогулки покажутся явлениями столь же заурядными, как стирка или заупокойная молитва.

Дуэль!

---

[148] *Alons!* – Вперед! (*фр*.).

[149] *Idée fixe* – навязчивая идея (*фр*.).

Тут он, однако, немедленно сталкивается с трудноразрешимой проблемой. Сказал рабби Гиллель: «Если не я за себя, то кто же за меня?» Что тут можно возразить?! Но ведь отнюдь не во всяком деле может человек целиком полагаться на себя одного, сколь бы зрелым и самостоятельным мужем он ни был. Увы, есть в жизни такие ситуации, которые настоятельно требуют участия дополнительных сторон. И, как назло, смертельный поединок, смывающий кровью позор и осквернение его только еще начинающейся семейной жизни, та самая дуэль, не осуществив которой, Арье Лейб уже не успокоится – это как раз один из таких затруднительных случаев. Для дуэли требуется множество условий: необходимо оружие, секунданты, но самое удручающее во всем этом прожекте то, что непременно нужен соперник. Без соперника дуэлянту вовсе нечего делать. А как его найти, как бросить вызов, как привести к барьеру?

Как бы ни пылал господин Гойзман жаждой мести, как бы ни горел его воспаленный разум, он все же не настолько потерял рассудок, чтобы делать из себя подобие венецианского мавра и в помрачении сознания марать честь любимой жены, в открытую требуя от посторонних людей назвать имя ее любовника. А хождение обиняками ни на шаг не приближает Арье Лейба к достижению цели. Он только топчется на месте, в дополнение ко всему, создавая о себе самое странное представление. И вот уже не один и не два собеседника, пораженные спутанными его речами и дикими взорами, расставаясь с несчастным ревнивцем, делают известное движение пальцем у виска, намекая на досадную утрату здравомыслия столь молодым и статным мужем.

Усталый и вконец заблудившийся в извилистых тропах своего расследования, возвращается Арье Лейб в квартал Бейс Яаков, заходит в дом учения и бессильно опускается на скамью возле склонившихся над Гемаррой Янкеле Боймом и Биньюменом Дрейером. Больше там никого нет, и измученный страусовод чувствует большое облегчение оттого, что вот эти двое целиком погружены в учение, и можно тихо и спокойно посидеть подле них, ни о чем не спрашивая и ни во что не вникая.

– А, Гойзман! – неожиданно отрывается от Гемарры Биньюмен. – Вы из Вильны? – спрашивает он так, словно продолжает разговор, прерванный перед отъездом Арье Лейба. – Что же там на самом деле произошло с мандрагорами реб Довида?

– Трагедия, подлинная трагедия, – бормочет тот, совершенно обескураженный необходимостью отвечать на какие-то расспросы.

– По-моему, все с ума посходили с этими мандрагорами, – решительно заявляет ешиботник. – И тут от них тоже сплошные наваждения. Вы меня простите... Сами-то не злоупотребляете?

– Я? Да что это... отчего?

– Вы меня простите, но супруга ваша, будучи приставлена к делу, то есть, распоряжаясь продажей...

– Да что такое?! К чему вы клоните?

– Да вот Янкел такое рассказывает, что вам, пожалуй, не грех было бы и знать.

Он подталкивает локтем покрасневшего до корней волос товарища.

– Да ничего я не знаю, отстань! – старается отмахнуться от него Бойм.

Но Арье Лейб, вскочив, грозно нависает над смущенным юношей, глаза его мечут молнии и, кажется, он готов вцепиться в него пальцами, скрючившимися, словно орлиные когти.

– Нет уж, извольте! Вы теперь не смеете молчать! Извольте уж! – полушипит-полурычит он.

– Да ничего такого, – Янкел все еще пытается уклониться от ответа. – Глупости ты говоришь, Биньюмен! Просто какой-то дурак!

Услышав это слово, Арье Лейб уже не может держать себя в руках:

– Говори! Говори, мерзавец! – страшным голосом орет он, принимаясь трясти несчастного Бойма за плечи.

Тот вырывается и, бегая по комнате от преследующего его Гойзмана, выкрикивает на ходу:

– Хорошо! Я расскажу! Только сядьте! Успокойтесь! Я ни в чем не виноват! Клянусь!

Арье Лейб тяжело оседает на скамью.

«Что это я, право слово! – спохватывается он. – Что со мной? На людей кидаюсь... Так меня еще, пожалуй, в тюрьму... Похоже, я и вправду становлюсь дураком».

Янкел, видя, что жизни его больше не угрожают, тоже усаживается, на всякий случай, подальше от Арье Лейба, и начинает говорить, с трудом подыскивая слова:

– Я сам только один раз видел. А слухи разные ползут. Разные... Суеверные люди... больше-то всякие испанские и персидские старухи рассказывают, будто бы мандрагоры, которые выкапывал и хранил у себя реб Довид, вышли из-под его власти. Будто бы, когда он уехал, заперев их у себя в шкафы и сундуки и оставив ключи вашей супруге, они, не приведи Господь, вылезли из-под запоров и расползлись по городу... И будто начали они сбивать людей с пути истинного. И, словно многие от них уже пострадали, а дальше, говорят... еще хуже будет. Но сам я, конечно, ни во что это не верю. В то, что докторша-англичанка, как говорят, бесилась, я еще могу поверить, но все прочее... А сам я и не видел ничего такого... Разве что вот реб Шлойме перед Пуримом как-то странно себя вел и не желал слезать с дерева... Ну и, конечно, Альбрехт Вайнтрауб из Мазкерес Мойше... Достоверно известно, что, как наглотался порошка из мандрагор, совсем с ума сошел и такое устраивал... Но ведь он и всегда-то был ненормальный... Ну вот, а супруга ваша сама тоже... словно бы...

– Что?! Что?! Говори!

– Ну, я ничего толком-то не знаю... Но только наблюдал однажды, как она под дождем по городу на коне скакала... сама не своя...

– Он сам видел, – шепчет Биньюмен на ухо Арье Лейбу и многозначительно кивает, прикладывая палец к губам.

– Ну, я и подумал, что она, верно... тоже ненароком мандрагор покушала, раз такое необыкновенное явление...

– Тут у них компания была – все люди известные, сторонники просвещения, – хихикает Дрейер. – Такие у них

моды возникли – совместные танцы танцевать, театральные пиесы разучивать и верхом на конях за город по Яффской дороге ездить. А кто знает, какие они там снадобья принимали? И это при том, что на дороге все время было неспокойно. Завелся между Лифтой и Абу Гошем какой-то разбойник-сорвиголова. Даже сюда не побоялся пожаловать, но едва ноги унес. Мы с Янкеле его так отделали, что долго помнить будет. Ну, это – другая история. А ваша почтенная супруга с этими господами и их дамами тоже верхом скакать пристрастилась, что ни день – на загородной прогулке...

Арье Лейб ничего не отвечает. Не дослушав до конца, не попрощавшись, выбегает он из дома учения, стремительно покидает квартал Бейс Яаков и скоро уже вышагивает по Яффской дороге, все более отдаляясь от города. Тяжелая предвечерняя жара не смущает жаждущего мести, не пугает безлюдная дикая местность, по которой ноги сами несут его навстречу начинающему клониться к закату великому светилу. Туда! Какая-то непреодолимая сила, не дающая ни о чем подумать логически, гонит его в те места, в которых обезумевшая под влиянием отвратительных мандрагор Рашель скакала под дождем в бешеной пляске полоумных сторонников просвещения.

– Увижу все собственными глазами, – вслух повторяет он на ходу.

И уже кажется ему, что и в самом деле, за городской чертой ожидают его те грозные видения, которые не смыть из воспаленного воображения ничем, кроме свежепролитой крови. Словно образ опьяненной мандрагорами Рашели, в экстазе отдающейся «тому человеку», каким-то сверхъестественным путем сохранился там. Мнится Арье Лейбу, что, стоит ему хорошенько всмотреться в эти пыльные и обожженные летним солнцем склоны, в выгоревшую сероватую зелень – и он различит среди множества немых, бессмысленных и бессчетно повторенных в своем однообразии деталей ландшафта и ее, забывшую в порыве навязанной ей мерзким зельем болезненной страсти супружеский долг и истинную взаимную любовь. А рядом увидит и его – того

самого «человека», который бессовестно воспользовался властью, ниспосланною ему мерзкими корешками, врагами рода человеческого. Чем дальше остаются позади крайние дома квартала Бейс Яаков, тем больше растет убежденность Арье Лейба в реальности задуманного.

У автора нет ни малейшего сомнения в том, что любой из его читателей, при виде величественной горной панорамы, разворачивающейся к западу от Святого Града, испытал бы немало благородных чувств. Строгая, царственная природа наших краев не оставила бы равнодушным ни учащегося ешивы, ни прогрессивно мыслящую барышню, ни домохозяйку, ни лавочника, ни мудрого воспитателя молодежи.

Знатоки Торы, живущие образами древнего наследия нашего, вспомнили бы пророка Урию, сына Шемайи из Кирьят-Яарим, ходившего по этим горным тропам, да заодно, словно живых людей, представили бы себе процессию теней давней эпохи, спускающихся к потоку Сорек у Моцы, чтобы нарвать к празднику кущей веток речной ивы. Те же, что всей душою, всеми помыслами обращены в светлое будущее своего народа, возвращающегося в Сион, несомненно, вообразили бы на этих склонах, ныне столь пустынных и диких, многочисленные ряды новых, высоких и просторных домов – в два, а то и в три этажа, а посреди обширных кварталов, покрывших широкие просторы от края и до края – мощные сооружения, повсюду сопровождающие победное шествие мирового прогресса: стройные водонапорные башни и телеграфные вышки. Прожектер, мыслящий с большим коммерческим размахом, узрит в этом лапидарном пейзаже необъятные взору хозяйственные угодья – будущие пашни, ждущие трудолюбивого плуга, и неисчерпаемые залежи бесценных ископаемых, полезных для всякой человеческой надобности. Другой, менее практичный, но склонный к высокому полету души, застынет в восхищении перед столь упоительной манифестацией величия Божия. И всякий истинный последователь Баруха Спинозы найдет в представшем перед ним виде несомненное подтверждение своим пантеистическим воззрениям. При-

лежные школьные ученики и ученицы немедленно захотят опознать здесь каждый минерал, каждое растение и каждую букашку и услышать из уст своего наставника их библейское наименование на святом языке.

Очутись здесь Авигайль Бухбиндер, она не стала бы вовсе ничего воображать, но, всматриваясь в причудливые формы камней и испещренную узорами тысячелетий поверхность горных откосов, принялась бы открывать в них полные тайной жизни человеческие фигуры и лица. Когда-нибудь, когда у нее, наконец, появится фотографический аппарат, она непременно придет с ним и в эти места, чтобы запечатлеть на стеклянных пластинках таящиеся в камне образы и представить их на обозрение всего мира.

Но Арье Лейб Гойзман видит перед собой нечто совсем иное. Мысленный взор его полностью захватило одно-единственное видение, не дающее реальности вторгнуться в помраченное навязчивой идеей сознание. Перед затуманенными глазами ревнивца стоит фигура обнаженной жены. Впрочем, фигура эта, застящая все вокруг, вовсе и не стоит – нет, не стоит она, а разлеглась на каменистой земле и извивается по ней в порыве страсти, словно отдаваясь невидимому обольстителю. Такой голой, такой бесстыдной, такой обольстительной он ее еще никогда не видел. И сейчас, совершенно оторвавшийся от реальности и полностью предавшийся своему распаленному воображению, он жадно всматривается в этот завораживающий образ, испытывая ужас и восторг одновременно. Алчно следит он за каждым движением, за каждым новым поворотом вожделенного тела, по которому так давно исходит душа его.

– Рашель! Голубица моя! – бормочет он, чуть ли не бегом устремляясь навстречу этому соблазнительному миражу. – Рашель! Чистая моя! Царь пленен кудрями! Груди твои! Сосцы твои распустились, как гранаты... ущербного нет среди них! Лоно твое заложили досками кедровыми!

Запас поэтических образов у господина Гойзмана из колонии Петах-Тиква не очень велик. Даже из песни Шломо помнит он лишь какие-то жалкие обрывки. Но он и не нуждается в изобилии метафор и эпитетов. Ему достаточно

перечисления всего того, чего он лишен на протяжении долгих мучительных месяцев:

– Ягодицы твои, ланиты твои, шея твоя, живот твой, зубы твои, лодыжки твои, бедра твои...

Но, как бы отчетливо ни рисовалась его воображению неверная и вожделенная жена его, Рашель, подобие «того человека» вовсе не торопится возникать рядом с нею. Где же он, злой соблазнитель, роковой встречи с которым ищет гневный, воспылавший местью супруг? За каким камнем прячется он, в какой из многочисленных пещер укрылся, под каким кустом затаился, надеясь в укрытии переждать бурю и уйти от справедливого возмездия? Нет его! Пусты горные склоны, над которыми парит одинокий орел.

(Впрочем, возможно, это вовсе и не орел, а, скажем, сокол, гриф, ястреб или просто какой-нибудь канюк. Увы, несмотря на обширные познания и практические навыки в области птицеводства, господин Гойзман не слишком хорошо разбирается в видовых различиях дикой пернатой фауны наших вольных небес. Да и чего можно требовать от скромного страусовода, если даже ведущие натуралисты-библеисты не могут сойтись во мнениях по поводу различных наименований, принятых в эпохи Пятикнижия, ранних и поздних пророков, Мишны и Гемарры!)

Что видит с высот поднебесья зоркий пернатый хищник? Быть может, его пронзительному взору открыт схоронившийся от смертельной опасности враг?

Арье Лейб, надолго приковав взгляд к крошечному птичьему силуэту в небе, вдруг обнаруживает, что совершенно перестал видеть свою голую жену, которая только что извивалась перед ним, как живая. От этого ему делается так горько и досадно, что, разом потеряв весь свой задор, он резко замедляет шаг и вскоре присаживается на большой придорожный камень.

«Боже мой! – думает Арье Лейб. – Я и вправду дурак. Разве можно верить в такие глупости, которые сам же и придумал? Что за безумная идея – искать преступника на месте преступления три-четыре месяца спустя! Вот посижу,

отдохну немного и поверну обратно. Иначе, не дай Бог, застряну тут и не успею засветло вернуться в город».

Если бы господин Гойзман имел возможность расспросить кружащего над Иудейскими горами стервятника, тот бы непременно сообщил ему, что с высоты птичьего полета, кроме него самого, отчетливо видны еще две человеческие фигуры, расположенные на местности в непосредственной близости от того камня, на котором он в этот момент восседает. Одна из этих фигур, вполне внушительная и даже, можно сказать, монументальная, принадлежит давно знакомому читателям доктору Джеймсу Файну. Она находится от Арье Лейба на расстоянии, не превышающем двухсот футов, ниже по склону, и погружена в пристальное изучение каких-то особенно оригинальных колючек. Другая фигура, тщедушная и отчасти даже эфемерная, в которой, хорошенько вглядевшись, наблюдательный читатель опознает полного смелых идей молодого человека, прозванного Альбрехтом, медленно приближается к сидящему Арье Лейбу со спины, еще не видя его, но с каждым шагом сокращая разделяющее их пространство. Кроме того, зоркая птица могла бы также сообщить, что по Яффской дороге едет с запада на восток направляющаяся в Иерусалим карета, которая, при сохранении постоянной скорости движения и отсутствии непредвиденных препятствий, достигнет данного участка пути не позднее, чем через пять-шесть минут. Однако между Арье Лейбом Гойзманом и крылатым дозорным Иудейских гор нет никакой связи, и потому отчаявшийся в прожекте кровавой мести муж продолжает сидеть на придорожном камне и тяжко вздыхать, вовсе не подозревая, насколько стремительно и целенаправленно приближается скорая развязка.

Альбрехт, пережив несколько тяжелых ударов судьбы и в полной мере познав человеческое непонимание, отнюдь не отчаялся и вовсе не склонен к смиренному бездействию. Напротив, понимая, сколь тяжелы муки рождения нового мира, он лишь более прежнего преисполнен веры в справедливость своих теорий и острого чувства причастности великим событиям, выдвигающим его на центральную

роль. Он вконец износил свой старый кафтан, служивший ему верой и правдой с первого дня пребывания в Святой Земле. Поэтому ныне его тщедушное тело прикрывает полосатый халат, из сострадания отданный ему одним из йеменитов, два года назад получившим его из милости от гладильщика фесок Шалома Маймуна, прежде два десятилетия хранившего эту антикварную диковину в память о покойном дедушке. В сочетании с босыми ногами, выцветшей на солнце и приобретшей тускло-рыжий оттенок шляпой-котелком, бурно разросшимися соломенными пейсами и утратившей остатки формы жидкой бороденкой, халат этот придает Альбрехту обличие несколько потустороннее. Так, пожалуй, и следует выглядеть истинному пророку, явившемуся проповедовать не с синагогальной бимы или университетской кафедры, но с тянущейся между диких скал каменистой Яффской дороги.

Теперь он является сюда ежедневно, дожидаясь заката, чтобы еще раз с наибольшей точностью проверить все мельчайшие оптические, акустические и механические детали своих научных расчетов. Сегодня, согласно его последним выкладкам, следует ждать появления красных всадников. Они должны быть здесь с минуты на минуту. Чуть свет покинули они битву Александра Великого при Иссе, пройдя подвалами Старой Мюнхенской Пинакотеки, пересекли под землей с северо-запада на юго-восток половину европейского континента и мощным подводным течением пронеслись по Средиземному морю, обогнув остров Киприды. Вот уже летят они навстречу своему повелителю, ждущему их у въезда в Святой Град Иерусалим.

Их появление в лучах заходящего солнца должно явить миру картину еще невиданной красы. Однако неприятно вытянутый, противоречащий законам гармонии силуэт некоего постороннего существа, подобно погнутой ржавой стрелке, уродующей безупречный золотой диск астролябии, несимметрично делил надвое западную оконечность небесного свода. Все совершенство абсолютной соразмерности внешнего и внутреннего миров, достижение которой стоило Альбрехту столь долгих и тяжких усилий, внезапно,

причем в самый торжественный момент, оказалось под угрозой разрушения. Но Альбрехт не впал в отчаяние. Он не стал рыдать или изрыгать проклятия, как поступил бы на его месте пророк одного из прежних, еще не вкусивших научного прогресса поколений. Вместо этого он тихо и почтительно обращается к сидящему к нему спиною незнакомцу:

– Прошу вашего милостивого прощения, рабби! Не согласитесь ли вы отклонить ваше тело на шесть градусов и одну минуту к северо-востоку, изменив при этом наклон головы всего на полтора градуса к югу?

Гойзман вздрагивает и, резко развернувшись, чем окончательно сводит на нет последнюю попытку восстановления утраченной гармонии, ошалело смотрит на стоящую в метре от него несуразную фигуру.

– Мандрагоры испустили запах, – напевно продолжает конструктор конца времен. – Они приближаются с каждым днем, с каждой минутой. Прекрасна ты, подруга моя, как Иерусалим, как войско со знаменами.

– Что? – услышав ненавистное слово, Арье Лейб делается сам не свой. Прежняя его ажитация мгновенно возвращается и все чувства снова напрягаются до предела.

– Мандрагоры испустили запах. Станем ли мы, рабби, бросать камни преткновения на их пути? Или, произведя подсчеты, примем правильный образ мыслей и действий? Гематрия ***а-дудаим натну рейах*** – семьдесят плюс пятьсот шесть плюс двести восемнадцать – итого семьсот девяносто четыре. Но если мы вычтем из ***натну***, то есть из пятисот шести, ***а-дудаим*** – семьдесят – и ***рейах*** – двести восемнадцать, то получим те же двести восемнадцать, то есть, все тот же запах. Чему это учит нас, рабби?

Арье Лейб не желает слушать всю эту бессмысленную абракадабру. Он пребывает в каком-то мельчайшем шаге от решения жгущей его проблемы, а тут какие-то глупые подсчеты букв!

– Это учит нас тому... тому... что вы... Отвечайте немедленно: кто вы такой? – грозно требует он.

– Пристало бы рабби представиться самому, прежде чем спрашивать верительные грамоты у раба его, – сладким голоском выпевает Альбрехт.

– Фамилия моя Гойзман. Вам она, видимо, многое скажет.

– Истинно так, рабби. Фамилия ваша происходит от ***гойз*** – животного, в Европе именуемого зайцем. О тех же четвероногих сказано в притчах царя Шломо: «народ слабый, но ставят дома свои на скале». А гематрия вашей фамилии...

– Немедленно прекратите эту чепуху! – Арье Лейб не в силах более сдерживаться. – Извольте сообщить и вашу фамилию!

– Вайнтрауб. Йехиэль Вайнтрауб. Сын Давида, внук рабби Авраама Шмуэля.

– Вайнтрауб! Уж не Альбрехт ли? – вскрикивает Арье Лейб, пораженный тем, что его невероятное подозрение оказалось абсолютно точным. – Ага! Да вы, сударь, попались с поличным!

В перегретой голове его все нити, прежде казавшиеся ведущими в разных направлениях, внезапно собираются вместе, свиваясь в единое вервие, крепкое в своей логике и убедительное во внезапном соответствии составляющих его волокон. «Поразительно, – думает он. – Все сходится, все сходится!»

– Значит, Альбрехт!

Голос мужа, ославленного «зайцем», внезапно делается спокойным, но грозным, львиным голосом, который как нельзя более пристал человеку, носящему львиное имя Арье. Он даже сам пугается своего ледяного спокойствия и этого ужасающего голоса.

– Так вот, Альбрехт: вы разрушили мою семью, вы отравили мою жизнь, лишили меня родительского счастья. Но вам это с рук не сойдет. Вам придется ответить за все. И, если в тебе, мерзавец, осталась хоть крупица чести, то вы собственной своею жизнью заплатите за содеянное. Я мог бы просто раздавить тебя, как жалкого слизня, но, чтобы кровью смыть мой позор, я должен предоставить вам шанс

убить меня. Согласны ли вы драться... сукин сын?

– Драться? Коли вы намекаете на то, о чем сказали блаженной памяти наши мудрецы, трактуя стих двадцать шестой двадцать первой главы книги «Шмойс»: «И ежели ударит кто раба своего в глаз или рабыню свою в глаз и повредит его, то должен отпустить его на волю ...»

– Дело идет о чести женщины, негодяй ты этакий! Я вызываю вас на дуэль! Вы понимаете это слово: «дуэль»? Отвечайте: готовы ли вы драться?

– Женщины? Да, следовало предполагать что-то подобное. Ведь сознание большинства все еще находится в плену полярного мировосприятия. Не достигший совершеннолетия разум мечется между плюсом и минусом, северным и южным полюсом, мужским и женским родом. Я вижу, вы, исходя из закона двоичности, склонны обвинить меня в прелюбодеянии...

– Да ты еще, никак, собрался это отрицать?! – взрывается Гойзман.

– А можете ли вы точно указать на то древо, под которым меня видели с прекрасной Шошаной? Нет, не можете? Я так и думал. Старцы, как всегда, неточны в своих донесениях. Впрочем, вам, рабби, как видно, путей прогресса все равно не понять. Вы ведь все еще находитесь в плену устарелых представлений о том, что человек является на свет в результате соития мужчины с женщиной, не так ли?

Арье Лейб, вконец сбитый с толку, не находит ничего лучше, чем упрямо повторять:

– Готовы ли вы драться?

– Значит, вы настаиваете, рабби... Не можете отказаться от треножащего вас дуализма? Видите двух богов на месте единого Бога, – Альбрехт сочувственно покачивает головой. – Что ж, будь по-вашему. Ду-эль так ду-эль[150]. Только уж, если вы изволили вызвать меня на поединок, то потрудитесь быть моим секундантом: следите за соблюдением гигиенических требований, вознесите молитву за скорейшее вознесение моей души. И еще: вы обязаны предоста-

---

[150] *Ду-эль* – двойной бог (*иврит*).

вить мне выбор оружия. И тут нужно все взвесить всерьез и со всей ответственностью. Оружие должно соответствовать требованиям научного развития. Не станем же мы лупить друг друга кулаками или метать камни из пращи! Дайте подумать...

Наматывая пейсы на длинные тощие пальцы обеих рук, Альбрехт обводит скорбным взглядом окружающий их пейзаж. Кругом лишь камни да чахлые кусты, ни одного научного прибора. Тут какая-то новая идея неожиданно радует его, и он разражается веселым смехом.

– Знаю, знаю, рабби! Не угодно ли вам заняться извлечением корней? Вот тут, видите, сколько всяких растений... Предположим, что один из этих пучков травы – куст мандрагоры. Попытавшийся вырвать его с корнем умрет, не сходя с места. Подходит вам, рабби, такое условие: мы поочередно извлекаем из земли по одному корню, пока один из нас не лишится жизни, выпустив на свет Божий посланца несметного войска всепобеждающей любви?

Это звучит более чем странно. Арье Лейбу делается все яснее, что он связался с сумасшедшим. Но ему уже некуда отступать.

– Итак, начинайте, рабби! Первый ход ваш! Скорее, ибо солнце уже клонится к закату!

Ухватив обеими руками низкорослый травянистый кустик, Арье Лейб изо всех сил дергает его вверх и в сторону. Растение легко и почти беззвучно выскакивает из сухой почвы. На конце его располагается тощий, похожий на мышиный хвостик, корешок. Даже самый необразованный в естественных науках человек, видя его, немедленно бы понял, что перед ним отнюдь не мандрагора.

Альбрехт, в свою очередь, вцепляется в пучок сухих серых стеблей у самого края покатого склона и, извиваясь всем телом, пытается вытянуть его из недр. Вниз по откосу скатывается поток земляных комьев и мелких камней, но въедливое растение не поддается. Еще один рывок – и часть волосатого корневища, облепленного ссохшейся землей, показывается на поверхности. Растение смещается, но не покидает свое гнездо окончательно: самая глубокая часть

корня все еще привязывает его к почве. Однако Альбрехт уже потерял точку опоры – не в силах удержаться на крутом откосе, он начинает скользить вниз вместе со слоем оползающего грунта. Ноги его, утратив устойчивость, подгибаются, он теряет равновесие, и в тот момент, когда упрямый куст с отвратительным сухим хлопком наконец вырывается на свет Божий, неудачливый дуэлянт падает, словно сраженный пистолетной пулей, и стремительно катится долу.

«Это конец!» – с ужасом думает Арье Лейб. Его тело, внезапно также потерявшее всякую устойчивость, пронизывает острая боль, словно это он, а вовсе не его противник, сражен на дуэли. Совершенно убитый пережитым шоком, победитель опускается на землю и медленно подползает к краю обрыва. Он страшится смотреть вниз, зная, что окровавленная фигура поверженного соперника, распростертая на острых камнях, навсегда запечатлеется в памяти и станет постоянно преследовать его.

Огромным усилием воли разжав глаза, он видит, что пестрый магрибский халат, из-под которого торчат голые ноги, застрял в кустах совсем неподалеку, в трех-четырех десятках шагов. И еще видит Арье Лейб, что к поверженному в прах телу, как и предписано дуэльным кодексом, уже спешит доктор. Вовсе не такой уж и крутой этот склон, честно говоря, и называть его обрывом было со стороны автора, заинтересованного в создании драматического эффекта, не совсем уместным преувеличением. Во всяком случае, корпулентному доктору Файну не составляет большого труда добраться до громко стонущего пациента.

– Идите сюда! – кричит он, призывно маша Гойзману рукой. – Помогите мне вытащить его на дорогу!

Опираясь на поддерживающих его с двух сторон помощников, Альбрехт сам карабкается наверх. Он потерял свой котелок, продрал в нескольких местах халат и получил множество мелких ушибов и ссадин, однако все кости его, видимо, целы, да и дух не сломлен.

– Доктор, доктор! – радостно бормочет он. – Знайте же, что я сосчитал все обороты моего тела при падении... Их

было ровно семь и три четверти... Между третьим и четвертым оборотами моим глазам открылась картина алого сияния над Иерусалимом. Это было оно, доктор! Между третьим и четвертым, между «гимел» и «далет»... Это верный знак. ***Гад*** – удача, рабби! Сын праотца нашего Яакова от Зилпы, рабыни праматери Леи... Праотца нашего, Яакова восьмой сын, которого благословил он словами: «Гад – отряды будут теснить его, но он оттеснит их по стопам». Это верный, верный знак!

– Он не сможет таким образом добраться до города, – встревожено замечает доктор.

Но, видимо, Альбрехту действительно всегда и во всем, даже в дуэлях, сопутствует удача, ибо уже видна сквозь дорожную пыль карета, следующая из Яффы в Иерусалим.

А когда она останавливается возле трех искателей приключений, чудесным образом сведенных судьбою и авторским замыслом, из-за широко распахнутой дверцы выглядывает знакомое всем троим лицо реб Довида Фридляндера.

Медленно катится к городу перегруженная карета. Альбрехт уснул со счастливой улыбкой на распухших губах, покрытых запекшейся кровью. Арье Лейб, едва поздоровавшись с дядюшкой, молча забился в угол. Реб Довид и доктор Джеймс Файн впервые в жизни разговорились.

– Знаете, господин Фридляндер, меня давно интригует поразительное разнообразие реакций организма на препараты Mandragora officinarum. Вы не находите это необычным? Если позволите, я очень хотел бы подробно поговорить с вами на эту тему.

– Вы, конечно, знаете о...

– Да, да, знаю. Мне все это очень интересно. Известна ли доза, приведшая к потере зрения? Какие еще симптомы наблюдались и при какой дозировке? Словом, меня интересует буквально все.

– А я, признаться, напротив, хотел бы навсегда обо всем этом забыть...

– Вы не имеете права, господин Фридляндер! Вами накоплен столь ценный опыт. Его нельзя просто зарыть в

землю, из которой он, ха-ха, был, так сказать, взят! Подумайте, сколько пользы может принести человечеству это растение, если найти к фармакологии правильный подход!

– Нет, нет... Может быть, позднее... Сейчас я не хочу об этом думать!

– А скажите, согласны ли вы с мнением Антонио Бертолони, разделяющего Mandragora officinarum на две разновидности: Mandragora autumnalis и Mandragora vernalis?

Вот и опустилось за горизонт дневное светило. Святой Град Иерусалим медленно погружается в вечерний мрак. Реб Довид, едва попив с дороги чаю, отправляется спать в дом учения.

В «доме у дерева» сидят за столом супруги Гойзман.

Арье Лейб только что робко попросил у Рашели прощения за свое долгое отсутствие. Где он был все это время и что делал? Действительно, что делал? Он дрался, как лев, за ее честь. Но рассказать обо всем, что произошло, совсем не так легко. В сущности, он и сам еще не вполне понимает, что же, на самом деле, произошло.

– Я дрался на дуэли, – говорит он, сомневаясь в том, что случившееся можно по праву назвать дуэлью.

– Дурак ты, Люля, – говорит она очень просто и без чрезмерных эмоций, но так, что в голосе ее можно уловить нотки сочувствия. – Надеюсь, ты хотя бы никого не убил...

По щеке Арье Лейба стекает слеза. Он бессильно опускается на стул. Руки его, ничем не занятые, заметно дрожат.

– Неужели убил? Люля, ты кого-то убил?

Только вовсе лишенный слуха не различит в ее интонации внезапного интереса к мужу, еще совсем недавно представлявшемуся ей «безнадежным страусятником с усами каваса».

– Люля, ты убил человека! – неожиданно для самой себя, почти вскрикивает она. А про себя думает: «Вот такто: в нашей семье два убийцы – муж и жена. Одна другого стоит».

И снова вслух, стараясь растормошить онемевшего супруга:

– Кого ты убил, Люля? Скажи мне, сумасшедший: кого ты убил? Слышишь? Я требую! Я имею право требовать, Арье! Если ты кого-то убил из-за меня, то я имею право знать. Ты же из-за меня его убил, разве не так? Вот и расскажи мне, потому что это произошло из-за меня, и у меня есть полное право знать!

Ну вот, теперь он уже Арье, иначе говоря – лев, царь звериного мира. Рашель не слишком часто зовет его этим именем. Честно говоря, ему памятны всего два раза: в брачную ночь и еще однажды, когда страус ударил его ногой в бедро и ему пришлось отлеживаться в постели. А так все Люля да Люля, как с детства повелось. Ужасно, когда любимая женщина знает тебя с детства!

– Нет, нет, – смущенно шепчет незадачливый дуэлянт, – не убил, нет, никого не убил... кажется, ранил...

Рашель подходит к страждущему Арье Лейбу и гладит его трепещущие руки.

– Ничего, ничего, Арье! Раз не убил, все будет хорошо...

– Любовь моя! – бормочет он, совсем сомлевший от неожиданного проявления жениных нежных чувств. – Голубица моя, чистая моя...

– Это ничего, Люля, – старается успокоить его Рашель. – Раз не убил, раз будет жить и ты живой, и все живые... Почти все, кроме одной гадкой крысы...

Эх, черт! Опять «Люля»! Все-таки, привычка неискоренима.

– Нежная моя! – захлебывается Арье Лейб, ловя руки любимой жены и покрывая их полными муки поцелуями. Он уже не в силах сохранять вежливую дистанцию и старается притянуть ее к себе поближе.

– Люля! Очень уж меня тошнит, – извиняющимся тоном останавливает его Рашель. – Ты не обижайся... Как-нибудь потом, когда не будет этой ужасной nausée[151]. Мы как-нибудь устроимся, Люля...

Слезы уже градом катятся по щекам и усам Арье Лейба Гойзмана. Потом так потом! Как-нибудь так как-нибудь!

---

[151] *Nausée* – тошнота (*фр.*).

Лишь бы она оставалась с ним, не уходила черт знает к какому «тому человеку» – больше ему сейчас ничего не нужно.

– А кого ты ранил, Люля? С кем ты стрелялся? – спрашивает Рашель, присаживаясь рядом с притихшим супругом.

– Я… это… не стрелялся, – смущенно бормочет смирившийся ревнивец. – Противник выбирал оружие. Он условие такое поставил…

– Вы дрались на шпагах? Интересно! Как ты его ранил? В какое место? Подожди, Люля… С кем ты дрался, безумец? Ты же мне так и не сказал. С кем?

– С этим… С Вайнгартеном, кажется…

– Кажется?! – Рашель вскакивает со стула и от резкого приступа головокружения тут же снова опускается на него. – Ты что же, не совсем уверен? Не разглядел, что ли, хорошенько?

– Нет, я разглядел… Но я не точно помню его фамилию. Кажется, Вайнгартен. Это такой… Его все называют «Альбрехт».

– Знаю такого. Видела, – Рашель мрачнеет. – Вайнтрауб.

Некоторое время супруги сидят молча.

– Ну и почему же ты решил драться с этим Альбрехтом? – наконец сухо интересуется Рашель.

– Мне тут многое рассказали, про танцы, про конные прогулки в Моцу… И вот я его прямо на месте там, на дороге за городом и поймал… А он ничего не отрицал, сразу согласился и принял вину на себя. Только потребовал, что сам будет выбирать оружие.

– Вот, значит, какого ты обо мне мнения, – беззлобно, но с тоской замечает Рашель. – Вот как ты меня высоко ценишь. Тайная любовница городского сумасшедшего…

– Но кто он такой, тот человек, если он не Альбрехт? Рашель, я тоже имею право знать!

– Ах, отстань, Люля! – Отмахивается от него Рашель. – Какая тебе, в конце концов, разница! Кто бы он ни был, а вылупится все равно страусенок.

Она смотрит на своего Арье Лейба, только что чуть не убившего совершенно не причастного ни к чему человека, злополучного дурака… Один дурак чуть не убил другого в отчаянной попытке отстоять свою честь, до которой никому, кроме него, и дела нет – честь мужа, колониста, страусовода, коммерсанта… Как это смешно и грустно!

– Но сначала я подозревал другого. Он как-то странно говорил о тебе… Будто он, вроде бы, как-то смотрел на тебя… и видел… Про мандрагоры разные суеверные слухи распространял. Из здешней ешивы – не помню, как его звать. Но он поклялся, что не виновен, и я ему поверил. А там, на Яффской дороге, этот Вайнгар… Вайнтрауб…

– Знаешь что, Арье, – Рашель берет мужа за руку. – Давай собираться. Хорошо? Это просто счастье, что реб Довид вернулся. Что нам тут делать? Нам с самого начала нечего было тут делать. Давай собираться домой, пока я здесь всех не убила, а ты всех не ранил. Так хочется скорее домой, в нашу Петах-Тикву!

Гойзман с готовностью кивает:

– Домой, домой!

– Знаешь, Арье, я очень соскучилась по нашей колонии, – продолжает Рашель. – Хочется скорее всех увидеть… Даже страусов, Люля. Представь себе: даже страусов!

Супруги тихо смеются.

– Хочется расспросить Довчика обо всем, что у нас происходило, услышать все новости… Ой, Люля! Я с твоими дурачествами чуть совсем не забыла! Стариков Шацев выгнали. Представляешь, совсем выгнали! Только что в «Олене» сообщение было. Представляешь?!

– Как выгнали, Рашель? Быть этого не может! Неужели? Ха-ха-ха! Дай-ка посмотрю!

Арье Лейбу нет никакого дела до стариков Шацев, еще несколько месяцев назад игравших в жизни колониста существенную роль. Но он так рад тому, что все, наконец, налаживается, так счастлив, что Рашель простила его! Из одного удовольствия сделать ей приятное он с готовностью берет в еще трясущиеся от волнения руки газету и вслух,

выпевая каждое слово, словно синагогальный «вестник общества», читает заметку без подписи автора:

Петах-Тиква. Сегодня настал для нас великий и святой день. Мужчины, женщины и дети, стар и млад, пришли к дому Мирьям, престарелой супруги раввина Авраама Шолома Шаца, дабы изгнать ее из колонии с бранью, проклятиями, поношениями, анафемой и поруганием, в связи с тем, что она согласилась позволить мужу своему, раввину Аврааму Шолому, взять за себя замуж вторую жену, дабы он мог завести от нее сыновей, ибо ее чрево затворил Господь, и все годы супружеской жизни, около 30 лет, не было у нее сыновей. И тот, кто не видел зрелища сего, благого и возвышенного, в жизни своей не видел ничего прекрасного. И вот, когда мы избавились от них, она, как и муж ее, владелец мелочной лавки в нашей колонии, отправились отсюда в Яффу; и слава Богу, и в добрый час – ибо таким образом мы избавились заодно и от скопившихся за годы немалых долгов наших этой лавке.

– Знаешь, Арье, почему я не бросила тебя и не ушла с этим... человеком? – неожиданно спрашивает Рашель. – Знаешь почему? Я ведь очень даже близка была к этому. Очень, очень близка. Он умолял меня, стоял на коленях и умолял, угрожал, что покончит с собой. Но знаешь, почему я этого не сделала? Потому что он повадился называть меня «Рохеле». Представляешь, несколько раз так и сказал: «Рохеле моя, Рохеле»! Не раз, не два – несколько раз! Причем так, как будто это самое восхитительное, что он мог мне сказать! «Рохеле»! А ты... я знаю, что ты такой гадости никогда не сделаешь...

– Моя Рашель! – восторженно шепчет Арье Лейб. – Моя Рашель!

– И, кстати, знаешь, я снова все посчитала и пересчитала... И я должна тебе сказать, что я, кажется, могла и ошибаться.

– В чем ошибаться, голубица моя? В чем ошибаться?

– А в том, что я тебе сказала насчет будущего страусенка, Люля. Может быть, это все-таки будет твой страусенок… Совсем твой. После того раза, перед твоим отъездом, помнишь, когда мы принимали эти порошки? Во всяком случае, это вполне может быть. Я не уверена, но… Месяц туда – месяц сюда… Поживем-увидим.

Приложение, в котором приводится описание малой части несчастий и недоразумений, произошедших в последнее время из-за неверного обращения с препаратами мандрагоры

Если из-за неправильного использования Mandragora officinarum и прежде иногда случались различные неприятности, недостаточные все же, чтобы серьезно омрачить радость от десятков благополучных зачатий, то после трагедии в Вильне словно прорвало плотину: жалобы на реб Довида и его снадобье, которое прежде многие готовы были принимать едва ли не по три раза в день – после утренней, послеполуденной и вечерней молитвы – хлынули со всех сторон. Все более и более обнаруживалось тех, кто пал жертвой некстати потревоженных корешков, и то, о чем не писали газеты, передавалось из уст в уста.

Мотл Фишман и его жена Фейга Гитл из Еврейского квартала, пять лет живущие в законном браке и не имеющие детей, после принятия экстракта мандрагорового корня пережили настоящий кошмар. Мотл, по его собственным словам, «видел, словно живых людей наяву», собственных покойных братьев Аарона и Мойше, которых в видении звали Милка и Бейлка, пожирающими его гениталии «с живого тела». Охваченный ужасом и страдающий от резкой боли в соответствующих регионах, он выбил изнутри окно собственного дома и, сильно поранившись осколками стекла, выбрался наружу и начал стучаться во все дома, истошно вопя на три голоса и изблевывая содержимое своего желудка на двери и пороги соседей. Жена же его, Гитл, дома, слава Богу, не покидала, но в бреду изрезала ножницами всю постель. Весь следующий день она мучилась головной болью и рассказывала, что ночью пережила нашествие одеял и подушек, грозивших ее задушить.

Почтенная болисса Канделария Колон из квартала Оэль Моше, мать пятерых детей, чье чрево внезапно затвори-

лось в возрасте тридцати четырех лет, после приема «лекарства» была обнаружена сидящей над открытым общественным колодцем, в который она пыталась мочиться, а при столкновении с пытавшимися ей помешать соседями, вела себя бесстыдно, называла всех самыми неподобающими именами и грозила искусать.

Менуха, двадцатилетняя жена престарелого бакалейщика Шмуэля Янкева Бейлиса из Яффы, со времен вступления в Завет сменившего четырех жен, поскольку ни одна из них не сумела подарить его сыном или дочерью, глотнув экстракта, пришла в неистовство. Приобретши совершенно нечеловеческую силу и впав в ярость, она жестоко избила несчастного мужа руками, ногами и различными предметами, после чего на глазах у множества прохожих волокла его, полуобнаженного, по улице, громогласно призывая всех убедиться в том, что он «не мужчина, а помесь мерина с козой», до тех пор, пока не была арестована городской стражей. В участке долго безутешно рыдала и жаловалась на то, что «все расплывается и вертится».

Супруги Йона и Ципора Волах из колонии Рош Пина в Галилее, приехавшие из Румынии, чтобы возделывать Землю Израиля и растить на ней сынов и дщерей Израиля, но на протяжении двух с половиной лет весьма мало преуспевшие в обоих своих начинаниях, после принятия полученного из Иерусалима средства, по свидетельству соседей-колонистов, «всю ночь ревели нечеловеческими голосами, не давая никому спать». Несмотря на то, что вскоре после этого пугающего происшествия у Ципоры прекратились регулы, и она сообщила счастливому супругу, руководству колонии, а также письменно барону Ротшильду о готовящемся пополнении семейства, на специальном собрании «Приверженцев Сиона» была принята резолюция, запрещающая впредь использование мандрагор.

Хотя во всех этих и подобных им прискорбных случаях пользовавшиеся снадобьем сильно нарушали предписанную дозировку, реноме опасных корешков упало ниже всякого предела, да и сам реб Довид стал объектом неприятнейших толков.

Пересуды эти дошли до того, что некоторые особенно въедливые недоброжелатели вспомнили давно уже умершего Давида Фридлендера из Берлина, того самого, который более полувека назад имел наглость не только перевести молитвенник на немецкий язык, но и говорить от имени сынов Израиля, якобы готовых присоединиться к протестантской церкви. И, вспомнив, надо сказать, вовсе некстати, этого ренегата из воспитанников Мозеса Мендельсона, стали утверждать, что реб Довид, судя по всему, ведет свое происхождение именно от него, а вовсе не от достойнейших и благочестивейших раввинов Польши, Лифляндии и Курляндии. Нечего и говорить, что все те законодатели, которые прежде благосклонно относились к его стараниям на благо плодовитости дщерей Израилевых и даже удостоили мандрагоры своего персонального благословения, теперь требовали их полного запрета.

XII

Глава последняя, в которой злокозненные растения вступают в решительный бой с жителями квартала Бейс Яаков

– Наг, нищ, немощен и неимущ. Беспощадно обчищен и обобран, бессовестно облапошен. Сломлен, раздавлен. Изможден болезнями и лишениями.

На пороге стоит некто, манерой изъясняться отдаленно напоминающий Карла Шперлинга. Но разве это может быть он?

Покрасневшие глаза несчастного глубоко запали между трагически нависшими безбровыми лобными дугами и вспухшими слезными мешками неприятного серо-лилового цвета. Беспомощно висит желтая дряблая кожа пустых щек, за которыми словно нет ни скул, ни зубов. Длинный бесформенный подбородок безнадежно рухнул вниз, теряясь в мятых складках бородавчатой индюшачьей шеи. Нос стал тоненьким и каким-то вялым. Росту в этом жалком существе не более чем в десятилетнем ребенке. Лысина покрыта каким-то липким пухом. Плечи приказали долго жить. И только кисти рук, ставшие непомерно большими на коротких вялых предплечьях, взметаются вверх, отчаянно дергая пальцами с прытью, несовместной с бессилием всех прочих частей.

– На муки адские брошен разбойными руками злостных супостатов. Недоброжелатели подкрались и поставили мне ловушки, притворяясь почитателями и соратниками. Ими же самими освистан и осмеян после перенесенных пыток. О, людское коварство! О, злобный завистливый глаз тайной ненависти! О, хрупкость бренного тела нашего и горькие муки страждущей в аду души!

Жалкое существо на пороге еще раз всплескивает руками и неожиданно падает на колени, уронив на камень

тяжелую голову неоперившегося птенца.

– Явите ангельскую милость! Не прогоните в жестокий хлад враждебной черной ночи! Дозвольте униженному мученику отдохнуть до рассвета хотя бы в хлеву, среди скота вашего!

Потрясенный невероятной переменой, произошедшей в облике того, в ком он уже явственно различал призрак Карла Шперлинга, смотрит Гедалья Бухбиндер на нежданного пришельца. Изумление нимало не ослабляет свойственной ему горьковатой иронии. Мало того, что на дворе вместо «жестокого хлада» царит духота, самое трагикомичное состоит в том, что ради спасения сраженного ударом судьбы придется, в отсутствие хлева, пожертвовать одной из двух собственных комнат. С огромным усилием отрывает он от пола уже окончательно утратившее всякую форму и чуть ли не разложившееся тело Шперлинга и волочит его вглубь дома, навстречу Авигайли, с немым ужасом взирающей на эту картину.

Четверть часа, проведенные на стуле с подоткнутой под спину подушкой, и рюмка водки оказывают на страдальца совершенно исключительное воздействие. Почти вдвое увеличивается он в объеме, лицо округляется, нос облекается плотью, подбородок подбирается и частично втягивается, а глаза, явившиеся из тьмы могильной на свет Божий, постепенно приобретают выражение тихой и не лишенной достоинства, хорошо отрепетированной скорби. Последовавшие же за водкой два стакана чаю с сахаром придают его ранее дряблому голосу особый резонанс, сообщающий всему произносимому оттенок особой доверительности. А трагическая цепь событий, описываемая этим доверительным голосом, в самом деле, рисует картину полного жизненного краха.

Вечер все более приближается к ночи, головы хозяев изрядно утомлены сочувственным киванием, а гость, похоже, не дошел еще и до середины своей скорбной саги:

– И вот, обобранный разбойниками злостно, я на последний шаг решился – на крайнее, заветнейшее средство. Лишившийся всего, больной, среди чужих, я чувствовал

себя ужасно, но знал, что у меня осталось последнее, заветнейшее средство от гибели к спасенью. Один мой друг, известный в Вене банкир, имя которого я не стану упоминать, посоветовал мне перед дальней поездкой обратить значительную часть имевшихся при мне денег в драгоценный камень. Таким образом, я буду иметь под рукою некий депозит, не обременяющий меня в дальних странствиях ни весом, ни размером – нечто такое, что можно постоянно носить завернутым в платок и зашитым за подкладку жилета. И вот я приобрел увесистый смарагд красы необычайной, с коим не расставался и чувствовал себя будто застрахованным от самых страшных бед. Увы!

Карл Шперлинг, еще более округлившийся и подросший за время долгого рассказа, допивает остававшуюся в доме водку, отчего лицо его приобретает багровый оттенок, а сильно выросшие уши начинают гореть против света керосиновой лампы рубиновым огнем.

– Но и тут выяснилось, что я обманут самым бесчеловечным образом. Ювелир, в пещеру которого принес я камень на продажу, предложил мне сумму в десять раз меньшую, чем ранее была уплачена мною за него в Константинополе. Когда ж спросил его я, сарказм свой вовсе не стремясь скрывать, с каких это пор смарагд подобного веса и огранки стал стоить такие гроши, он на смех меня поднял, восклицая: «Смарагд? Смарагд?! Изволите шутить! Перидот, сударь, банальнейший хризолит!»

Вдумчивый читатель, без сомнения, уже догадался, что изумруд тут пришелся лукавому Шперлингу к слову, став заменой незаконно присвоенному им рубину, оказавшемуся при тщательном изучении не чем иным, как красной шпинелью, которую ювелиры так и называют ложным рубином. Мужи, сведущие в минералах, уже, верно, успели объяснить своим любознательным женам и пытливым отпрыскам, что различия между рубином – красной разновидностью корунда, и шпинелью выдает лишь форма кристаллов, так что ограненные камни даже опытные ювелиры способны определить только под микроскопом. Возможно, наши знатоки также добавили, что красную окраску и тем,

и другим камням придает примесь хрома, без которой они оставались бы вовсе бесцветными. А уж самые вдумчивые и склонные из всего извлекать мораль, присовокупили, что вышесказанное являет собой нагляднейший пример того, как второстепенные мелочи, зачастую, определяют то, что человечество наивно почитает самой сутью предмета. Все это сообщил обескураженному Шперлингу и яффский ювелир, в качестве бесплатного приложения присовокупив к ней ныне пришедшиеся кстати сведения о наружном сходстве изумруда и перидота. Иной читатель или читательница, более склонные к притчам, нежели к естественнонаучным фактам, обратит тут внимание на закономерную последовательность обманов, следующих один за другим, подобно нанизанным на безучастную нить жизни негодным бусинам. Этот порочный яхонт впервые возник в нашей истории, когда недобросовестный мусульманский торговец продал его за большие деньги доверчивой американке – вслед за тем, он был неправедно отнят у нее разбойником с большой дороги – – потом, ради бесчестного обольщения, подарен легкомысленной и тщеславной пейзанке, вообразившей себя примадонной – – – далее, он оказался бесцеремонно украден у нее заезжим авантюристом – – – – у которого его приобрел за бесценок пройдоха-ювелир, в своей просветительской лекции благоразумно умолчавший о том, что и красная шпинель, хоть и не может тягаться по ценности с рубином, все же стоит немалых денег. Нам неведома судьба этого камня до его проникновения в нашу повесть и абсолютно неизвестно, куда он, покинув ее, отправится дальше, но у читателя, взращенного на поучениях наших мудрецов, не остается сомнения, что движение лжерубина в обоих направлениях сопряжено с бесконечной чередой мнимостей. Однако автор, искренне любящий всех своих персонажей без исключения и вовсе не склонный открывать себе моральный кредит за счет их мелких проступков, воздерживается от каких бы то ни было нравственных укоров и этических уроков. Даже если бы он захотел вдруг заняться морализаторством, то выпущенный им на

волю бурный сюжет, стремительно летящий к скорому финалу, уже не дал бы ему такой возможности.

– Сраженный горем, на вырученную у кровососа-ювелира мелочь, – продолжает свой рассказ Карл Шперлинг, – снял я комнату на самом дешевом постоялом дворе и слег в холодную влажную постель, к тому же полную врагов рода человеческого. Протянул хладеющую руку к лекарству. И что же? Приобретенные мною в Вене патентованные порошки доктора Игнаца Земмельвайса... Известно ль вам, чем оказалися они?

– Столовой содой, – не задумываясь, отвечает Авигайль.

Гедалья устремляет на нее изумленный взгляд.

– Вот именно, содой столовой! Впрочем, как вы догадались?

– Да я и не догадывалась, – смущается Авигайль. – Сказала первое, что в голову пришло. В газетах как-то писали про то, что мошенники-аптекари вместо лекарств продают клиентам чистую столовую соду. И эта сода даже иногда помогает от тяжелых болезней. Так сказать, силой внушения...

– И попали точно в цель! Пятьдесят талеров за десять пакетиков столовой соды. Только мне она ничуть не помогла – едва я принял один порошок, сразу же почувствовал во всем внутреннем организме какую-то страшную пакость и изблевал скверный восточный обед, приобретенный на последний грош. Обобран, ощипан со всех сторон! Едва живой, понес я порошки на экзаменацию к аптекарю... За всю свою недюжинную жизнь не перенес я столько язвительных и мерзостных насмешек! Патентованное средство!

Уже на следующий день в доме появляется новая мебель. Что за новая мебель? Не следует ли произнести по поводу ее торжественного прибытия специальное благословение? Может быть, речь идет о покойном кресле из санкт-петербургских мастерских мастера Генриха Гамбса и сыновей или о книжном шкафе Холланда? Нет, это всего-навсего старый топчан, обитый замусленной и потерявшей цвет тканью, который по просьбе Шперлинга приносят из дома «марокканца» Йосефа Бен Нафтали в квартале Оэль Моше.

Топчан устанавливают в столовой, и потерпевший крушение в бурных водах моря житейского, по его собственному выражению, «свивает на нем свое недолговечное гнездо». У него нет ни гроша на съем отдельной комнаты, все его достояние ограничено саквояжем с несколькими деталями гардероба и столь необходимыми ему париками, но присутствие в его временном приюте этого топчана вносит в жизнь страдальца «иллюзию защищенности от ужасов разбушевавшейся стихии». Вечерами, сидя на топчане с ногами, подобно мусульманскому торговцу или китайскому богдыхану, Карл Шперлинг проповедует хозяевам дома:

– Море отвратительно! И все, что творится вокруг моря, все, что там происходит – сплошной обман и наваждение. Ничего устойчивого и достойного доверия вы там не найдете: погода меняется каждую минуту, направление ветра – сплошной каприз, человеческому слову нет никакой цены, верить своим глазам – полное безумие. Все на море и у моря течет, превращается в свою противоположность и карикатуру, и поневоле вспомнишь добрым словом солидный, стоящий на крепкой скале Иерусалим с его твердыми устоями. Здесь, если тебя и обманут, то сделают это основательно, без той отвратительной веселой игривости, которая в ходу у каждого приморского жителя.

– Да уж, – усмехается Гедалья, – тут-то вас всегда облапошат весьма основательно. Зато и утешат для вящей солидности какой-нибудь мудрой цитатой во славу Господа.

– Вот именно! Устоев крепость в жизни нам важна, замена простосердию она. И все природой уж предрешено, где течь велит судьба, стоять уж не дано. В море даже самые скалы размываются водой и растекаются, потеряв всякую форму. Поставьте туда хоть гору Мориа – в считанные минуты от нее останется горка мокрого песка...

Итак, Карл Шперлинг, выдающийся театральный деятель из Вены, завязший в зыбучих песках Святой Земли, живет в доме Бухбиндеров. Живет день, живет два дня, три, неделю, вторую неделю. И чем дольше он живет у них, тем с большей тоской и нежностью вспоминается Гедалье и Авигайли их прежняя свободная жизнь. Ежевечерне трагичес-

ский герой произносит полный глубочайшего чувства монолог, в котором решительно заявляет, что с восходом светила, возвещающим явление нового дня, он отправится по некоему важнейшему делу, уже почти полностью решенному в его пользу самым положительным образом. Остается только урегулировать пару мелочей, и тогда в его распоряжении окажется достаточно денег, чтобы расстаться с дорогим ему топчаном и вернуться в Европу.

– И вот, бесценные друзья мои, – из вечера в вечер повторяет он заученную слово в слово реплику, – гостеприимный дом ваш будет избавлен, наконец, от тягостного гнета моего, что вопреки моей свободной воле так омрачает ваше счастье, заливая его грязным потоком чужого и вами незаслуженного горя. Я покину сей многотерпеливый дом, унеся в благодарном сердце своем светлый образ древнего топчана, на коем коротал я скорбные дни свои…

Тем не менее, остается вовсе неведомым, по каким важным делам бродит с утра Карл Шперлинг, палимый безжалостным летним солнцем. А под вечер он возвращается на топчан, и все повторяется сначала.

Однажды случайные прохожие видели его снова входящим в дом госпожи Фортуны Наси, в который зашел он бодрым самоуверенным брюнетом с пышной курчавой шевелюрой, а вышел совершенно лысым, прихрамывая то на правую ногу, то на левую. Этот таинственный визит состоялся после того, как Гедалья как-то изумил его одной фразой из 18 главы «Il Principe»[152] Никколо Макиавелли: «*Я чувствую, что предпочтительнее быть напористым, нежели почтительным, ибо фортуна – женщина, и мужчина, желающий верховодить ею, должен бить и подавлять ее*». Услышав это, Шперлинг весьма убедительно изобразил искреннее возмущение и произнес целую тираду, осуждающую варварство вульгарных италийцев, весьма грубо и аляповато загримированное под философическое глубокомыслие. (Надо заметить, что, пережив жизненный крах, он стал относиться к ранее превозносимому им Макиавелли с нескры-

[152] *«Il Principe»* – «Государь» (*ит.*).

ваемой неприязнью, словно возлагал на злополучного политикана изрядную долю вины за собственное увлечение мандрагорами, а заодно и за овладевшую им пагубную склонность к опасным интригам.) Тем не менее, само упоминание фортуны направило его изрядно спутанные мысли в определенном направлении.

Следует предположить, что женщина, столь невысоко оцененная секретарем второй флорентийской канцелярии, дала господину Шперлингу, простонародно выражаясь, еще один от ворот поворот, а то и пинок под зад. Этого, впрочем, большинство просвещенных читателей и особенно читательниц данного повествования, скорее всего, и ожидало.

Куда более неожиданным оказался следующий ход неугомонного театрального деятеля. Вообразите себе: является он как-то поутру в дом реб Довида Фридляндера и прямо с порога заявляет:

– Родственница ваша, жена лукавая и лишенная совести, меня обманула: продала мне Бог весть что вместо корня мандрагоры.

Реб Довид, на которого теперь всякое упоминание о распроклятом растении, прежде казавшемся ему благословенным, производит тяжелое впечатление, пытается как можно скорее преодолеть возникшее затруднение и вернуться к более благочестивым размышлениям. Не вдаваясь в подробности состоявшейся в его отсутствие сделки, он решительно заявляет:

– Мой господин может не сомневаться: все убытки будут ему возмещены. Какая сумма была уплачена?

– Ха-ха-ха! Все мои убытки не возместить ни вам, милостивый государь, ни самому турецкому султану! – набрасывается на него почувствовавший слабину Шперлинг. – Вред, нанесенный мне, не исправить никакими денежными компенсациями. Даже если вы вернете мне полученный вашей родственницей гонорарий в стократном размере, я не буду удовлетворен. Извольте, однако, предоставить мне тот товар, за которым я обращался.

Ох, как жалеет Реб Довид, что по какому-то малодушию, не доверившись первому искреннему порыву, но поддав-

шись вторым, третьим и вовсе уже отдаленным соображениям, сразу же не уничтожил, как собирался, все свои запасы опасного снадобья. Порошки сжег, а вот настойку вылить не решился. Смутившись душою, он старается отговорить Шперлинга от приобретения опасного средства и даже напоминает ему о тех случаях, когда его применение привело к весьма нежелательным последствиям.

– Не лучше ли супруге моего господина обратиться в Вене к хорошему доктору?

Куда там! Шперлинг, похоже, задумал нечто чрезвычайное, такое важное, что даже деньги его теперь интересуют неизмеримо меньше, чем обладание Mandragora officinarum.

Исчерпав все возможности решить дело по-иному, реб Довид с тяжелым сердцем выдает упорствующему клиенту склянку с настойкой, не преминув несколько раз повторить ему все правила приема лекарства и предостеречь против превышения дозы. Он уже, впрочем, весьма мало верит в то, что к его указаниям отнесутся со всей серьезностью. Мысленным взором он видит, как в далекой Вене несуществующая в действительности госпожа Шперлинг, принимает двадцать капель вместо пяти, а супругу своему наливает и того больше, чтобы затем, потеряв всякое представление о реальности и воображая, что бросается в объятия мужа, ринуться с балкона двухэтажного особняка на мостовую. А порывистый супруг ее, что будет делать в этот момент он сам, ныне жадно засовывающий в жилетный карман заветную склянку? Полезет на люстру? Станет пожирать хрустальные бокалы? Нет, лучше вовсе не думать о таких вещах, а когда за ним закроется дверь, немедленно, не откладывая ни на минуту, покончить с остатками предательского снадобья, чтобы уже никогда, ни при каких обстоятельствах не иметь дела с этими корнями! И если впредь кто-нибудь, когда-нибудь, не дай Бог, спросит его про мандрагоры, он, реб Довид, с легким сердцем и чистой душою ответит, широко улыбаясь и открыто глядя в глаза вопрошающего: «Глубоко сожалею, но я давно не имею к

мандрагорам никакого отношения. А не угодно ли вам заказать цементу, извести или же строительного камня?»

Между тем постой Карла Шперлинга в доме Бухбиндеров продолжается. Хозяев не оставляет ощущение, что Шперлинг ни на минуту не спускает с них глаз и особенно пристально наблюдает за ними тогда, когда они ложатся на любимую супружескую кровать. И, хотя дверь в спальню они никогда не оставляют открытой, воображению их рисуются то ухо, то глаз, прижатые снаружи к замочной скважине. Вставленный изнутри ключ, кажется, решил проблему с недреманным оком. Тем не менее, Гедалья и Авигайль продолжают прятаться под простынею, чего прежде не делали никогда. Раздеваются они украдкой, так, как, верно, снимали с себя кожаные одежды Адам и Хава, еще не привыкшие к новой грешной жизни после изгнания из райского сада. Хотя летняя жара уже в разгаре, они как можно скорее забираются под простыню и, прижимаясь друг к другу напряженными, потеющими от неловкости телами, чувствуют, что все потеряно, все катится в бездну отчаяния. Храп, доносящийся с топчана, иначе чем навязчивым не назовешь, словно посредственный актер несколько переигрывает в своем драматическом рвении, и под этот храп они уже не могут позволить себе забыться, как прежде, перестать следить за каждым своим движением, сдерживать всякий порыв, подавлять любой звук.

К концу второй недели Авигайль позволяет себе высказать вслух опасение, с некоторых пор мучающее их обоих:

– По-моему, он не уедет никогда.

Приближается девятое число месяца ава – роковая для всего нашего народа дата, когда непременно случается что-нибудь дурное и вывихнутая нога или порванные единственные штаны могут считаться очень дешевым выкупом.

– Может быть, сам он и не уедет, – не вполне уверенно отвечает Гедалья, – но вот пройдет девятое ава – и я ему скажу прямо... Меня от него уже начинает подташнивать. Кстати, что это за история с содой? Признайся, ты что-то знаешь!

– Я уже тогда, перед его отъездом, подозревала, что Рашель… Только ты никому не рассказывай! Я почти уверена, что Рашель пыталась его отравить.

– Рашель? Господи! Пищевой содой?!

– Она спрашивала у меня крысиного яду. Но я почувствовала что-то нехорошее и решила, что лучше ей яду не давать.

В погребе под полом, в отдельном сундучке у Авигайли хранится стеклянная склянка с плотно притертой крышкой, наполовину наполненная порошком светло-бурого цвета без запаха – чилибухой или, иначе говоря, стрихнином. Но тогда, когда Рашель спросила ее, слишком явно стараясь изобразить, что вспомнила о том совершенно случайно: «Помнишь, Абѝ, ты мне говорила, что у вас оставался яд против крыс? Можешь мне дать немножко? Я утром такую злую крысу видела!», Авигайль испугалась этой неловкой нарочитости в голосе подруги и, вместо того, чтобы спуститься в погреб, потянулась к кухонной полке и сняла с нее склянку с пищевой содой. «Сейчас насыплю тебе немножечко. Только будь очень осторожна!» Так была спасена яркая, противоречивая и полная неожиданных поворотов жизнь Карла Шперлинга, также известного читателям под именем Калева Бен Дрора.

И что же он сделал, сподобившись столь милостивого продления своей жизни? Сумел ли осуществить свою заветную мечту – поразить жителей Святого Града театральным представлением, равного которому они еще не видели со времен разрушения храма? В некотором смысле, ему это еще удастся, хотя то, что произойдет, не вполне будет соответствовать составленной им программе, да и сам он не сможет лицезреть собственную постановку и раскланиваться перед рукоплещущей его сценическому шедевру публикой.

«Вот пройдет девятое ава» – сказал Гедалья. События, однако, развиваются куда быстрее.

Жизнь в Иерусалиме – и внутри стен Старого города, и за их пределами, подчинена строгому расписанию, подобному упорядоченному ходу небесных тел, и мало в чем из-

менившемуся за тысячи лет годовому природному круговороту. Например, каждую среду поутру йеменитка Тамар забирает у жительниц квартала Бейс Яаков корзины с бельем для стирки и каждую пятницу поутру разносит по домам чистое исподнее, белоснежные простыни, наволочки и скатерти. На исходе каждой среды хозяйки квартала Бейс Яаков месят тесто для субботних хал, чтобы оно успело хорошенько взойти за ночь, каждый четверг поутру плетут из него халы, чтобы после полудня отнести их в общественную пекарню.

С некоторых пор царящая в спальне хозяев настороженная тишина сделалась невыносима для Карла Шперлинга, жаждущего ярких театральных зрелищ. Но ничего! «Хлеба и зрелищ» требовали древние римляне? Что ж, будут, будут захватывающие зрелища вместе с хлебом! Ха-ха-ха! Ночью со среды на четверг, с наступлением пятого числа месяца ава, он подмешивает в тесто, оставленное в квашне госпожой Авигайлью Бухбиндер, тройную дозу полученной от реб Довида Фридляндера настойки Mandragora officinarum.

Поутру, вместо того, чтобы отправиться, как обычно, «урегулировать пару мелочей», загостившийся гость вертится на кухне, подавая бледной от сдерживаемого гнева Авигайли советы касательно наилучшего способа плетения хал. Под это сопровождение руки совсем не желают ее слушаться, так что даже привычные «жгуты» раз за разом выходят у нее разной длины, и все приходится начинать сначала. Она хотела бы, не мелочась, затолкать все тесто в его ни на секунду не закрывающийся рот, заткнуть его навсегда, Господи, прости...

Авигайль бросает умоляющий взгляд на подошедшего выпить кружку воды мужа, и тот, без слов оценив ситуацию, заявляет, что нуждается в срочном совете Шперлинга и решительно уводит его в сторону. При этом Гедалью сопровождает явственное ощущение, что гость, сам ставший каким-то подобием пристающего ко всему теста, не столько оставляет его жену в покое, сколько растягивается этакой вязкой, клеклой тестяной косою, одновременно и уда-

ляясь с ним вместе, и оставаясь бесстыдно липнуть к ее рукам.

– Послушайте, Калев, дружище...

Длинный чувствительный нос Гедальи ощущает нечто крайне необычное, нечто совершенно не вяжущееся с привычным представлением этого самого носа о Карле Шперлинге. До сих пор от того исходил запах слегка разнящейся в пропорции компонентов смеси грязного пота, прогоркшего грима и нездоровых зубов. Теперь же к этим необаятельным составляющим примешивается явственно различимый аромат дамасской розы.

«Час от часу не легче! – думает Гедалья, для полной уверенности сильнее потянув носом. – Этот Пульчинелла ворует у Авигайли розовое масло, Казанлык его возьми!»

Тонкое, ни с чем не сравнимое благоухание струится как будто из странно вздувшегося шперлингова живота.

– Позволите ли спросить у вас совета? Вы ведь бывали во Флоренции?

Пока Шперлинг, не скупясь на пышные эпитеты, заливисто описывает свой последний визит в столицу герцогов Медичи, Гедалья пристально присматривается к нему.

Что за попугай! Этот глупейший светлый парик с хохолком, этот пестрый жилет... Из какой оперетты он все это притащил? И что он так пыжится, словно индюк? Э, да он что-то там прячет под жилетом!

Гедалья решается на резкую меру:

– Осторожно, дружище! У вас таракан ползет по рубашке!

Шперлинг подскакивает на месте и, препротивно взвизгнув, начинает отчаянно трясти все части своего туалета, от ужаса совершенно забыв об осторожности. Гедалья бросается ему на помощь и резким движением выдергивает из-под пестрого жилета нечто белое, эфирное, покрытое кружевами...

Разыгрывающаяся сцена украсила бы самый низкопробный итальянский фарс, из тех, что напыщенно именуются

commedia dell'arte[153], но даже Макиавелли показалась бы излишне простонародной.

Авигайль, по близорукости не разглядевшая издали свои собственные панталоны, спрашивает как можно более участливо:

– Какой ужас! Неужели таракан?

– Хуже, дорогая, гораздо хуже! – грозно отвечает Гедалья, протягивая ей хорошо знакомый им обоим предмет туалета. – Большая мерзкая крыса! Посмотри-ка, что учинил этот капитан Панталоне! Стащил из корзины прежде, чем Тамар забрала белье в стирку! Каков pervert![154]

И, резко обернувшись к осевшему на топчан Шперлингу:

– Убирайтесь немедленно из моего дома! Чтобы ноги вашей здесь не было!

Едва ли не в каждом из нас сокрыто сценическое дарование, терпеливо дожидающееся своего часа, когда позволено ему будет выйти из темноты кулис на ярко освещенную жизненную сцену. Сейчас Гедалья, только что спровоцировавший площадную комедию, с нескрываемым упоением разыгрывает сцену из елизаветинской трагедии. Наконец-то, после двух недель тягостной сдержанности, наступил миг его торжества! О, что это за счастье – выгнать взашей опостылевшего гостя! Разве это не лучший подарок, который можно преподнести возлюбленной накануне субботы?

– Отныне, сударь, – грозно произносит Гедалья, едва не скрежеща зубами, чтобы не расхохотаться, – извольте нюхать свое собственное исподнее!

– И уйду! Не волнуйтесь! – огрызается Шперлинг, начиная приходить в себя и наглея на глазах. – Уйду немедленно. А вы оставайтесь в своей моральной крепости! О, как я в вас ошибался! Я видел в вас людей нового, смелого, сияющего мира. А вы – вы пара жалких буржуа, трясущихся над собственным бельем! Что ж, отныне добродетель-

---

[153] *Commedia dell'arte* – комедия масок (*ит.*).

[154] *Pervert* – извращенец (*англ.*).

ная жизнь ваша будет лишена смысла и блеска – без восхищенной публики, без аплодисментов, без созидания, без дерзновения. Мне жаль вас. Что толку заводить редкостные в здешних краях панталоны, обшивать их кружевом, умащать ароматическими маслами, если все это вы намерены держать под запором, во мраке вашей мещанской спаленки?! Кто будет любоваться вами, кто станет настройщиком ваших фальшивящих инструментов, суфлером вашего стынущего влечения, судьею и рецензентом ваших обреченных на провал жалких потуг казаться молодыми, красивыми, страстными?! Ха-ха-ха! Перед вами вечно будет пустой зал, погасшие огни рампы, холодное и слепое безмолвие. Сколько бы вы ни кривлялись, вы не услышите ни звука одобрения и в восхищенных очах не увидите блеска слез! Кто вы отныне? Драматург без аудитории, писатель без читателя, переводчик скудеющего вожделения без заказчика, способного оценить тонкости вашего потерявшего смысл ремесла! А вы? Красавица без зеркала, дурнеющая с каждым потерянным вне сцены мгновением! О, какими горючими слезами готов я оплакивать вас! Никто, никто в мире уже не узнает о том, как некогда трепетно любили вы, как жаждали утоления знойной жажды, как страдали, как стонали в жгучем стремлении!

Но, как бы ни пыжился Шперлинг, стараясь представить дело таким образом, будто настоящий крах переживает вовсе не он, но гонящие его вон обыватели и филистеры, ему не удается скрыть всей глубины собственного страдания. Что может быть нестерпимее адских мук великого постановщика, которому не дано лицезреть величайшее из его сценических творений – шедевр, к которому он шел всю свою жизнь, представление, столь гениально задуманное и столь умело подготовленное, что у него не было ни малейших сомнений в грандиозном успехе?

– Убирайтесь немедленно! Избавьте нас от ваших бездарных мелодекламаций!

Гедалья хотел бы выкинуть его за дверь сию же минуту, но тот нарочно затягивает возню со своим саквояжем.

– Эта дурочка-колонистка, возомнившая себя бенефицианткой и femme fatale[155], – продолжает выкрикивать он, уже стоя на пороге, – так противно пищала под своим Алибабой – ни дать ни взять, дрянная певичка. Но вы, вы, Авигайль! Как можно зарывать такой талант…

Вот и захлопнулась навсегда перед носом театрального деятеля из Вены тяжелая дверь дома Бухбиндеров в квартале Бейс Яаков. Вместе с нею закрылись перед ним и все входы и выходы нашего близящегося к концу повествования. Больше мы уже не встретим этого мало кому симпатичного персонажа. Вероятно, для автора наступает самый последний момент, позволяющий сказать несколько слов по его поводу.

Совершенно естественным было бы с брезгливой гримасой отмахнуться от Карла Шперлинга. Ведь, право, до чего же извращенное и безнравственное существо этот театральный шарлатан из Вены! Мало того, что он совершенно заврался, что он отъявленный аферист, что уличен в воровстве и в фетишизме, так он еще и вуайерист, то бишь, наибольшим для себя наслаждением почитает заглядывать в чужие постели и наблюдать за совершенно интимными, ни для чьих глаз не предназначенными сценами. Позор ему!

Однако же, справедливости ради надо задаться вопросом: а разве мы с вами, дорогие читатели, не занимаемся тем же самым? Нет, мы, конечно, не дай Боже, не воруем чужого исподнего не только ради всяческих низменных целей, но не стали бы этого делать даже во имя торжества каких угодно возвышенных идеалов и справедливых общественных идей. Даже представить себе невозможно, чтобы сам автор или один из вас позволил себе украсть панталоны очаровательной госпожи Бухбиндер, исходя из модного в наши дни чувства социального протеста: мол, в то время как подавляющее большинство малоимущих еврейских женщин в Святой Земле и слыхом не слыхало о такой роскоши, жена представителя прогрессивной интеллигенции не имеет права носить французские панталоны, тем более,

[155] *Femme fatale* – роковая женщина (*фр.*).

умащать их дорогостоящим розовым маслом! Нет, автор уверен, что никто из нас до этого бы не опустился, а поступил бы иначе – открыто высказал бы все свои возражения вполне заслуживающим доверительного отношения супругам. Впрочем, вряд ли они согласились бы с крайним нигилистическим мнением о порочности ношения дамских панталон с кружевами, если оные заработаны честным интеллектуальным трудом и отнюдь не являются плодом какой-либо эксплоатации.

Так или иначе, автор, говоря о некоем символическом подобии всякого писателя и читателя Карлу Шперлингу, конечно, имеет в виду совсем иное. Ради полнейшей ясности своей позиции он предлагает каждому, кто готов первым бросить камень в жаждущего откровенных зрелищ Карла Шперлинга, немедленно отказаться от чтения спланированной этим оригиналом нескромной сцены. И если кто-то из тех долготерпеливых читателей, которые, несмотря ни на что, сопровождали его героев до этой страницы, захочет именно тут захлопнуть книгу, что ж: автор с пониманием и без малейшей обиды простится с ним. Сам же он, полный решимости до конца продолжать пристальное наблюдение за любимыми своими созданиями, предпочитает не судить даже самое неудачное из них и не наказывать презрением за общую для писательской и читательской братии страсть к соглядатайству.

Две халы, сплетенные в самых неблагоприятных условиях, выглядят несколько ассиметрично. Они лишены той классической чистоты пропорций, к которой обычно стремятся тянущиеся к совершенству еврейские хозяйки, и явственно дающий себя знать элемент барокко придает их традиционной форме отпечаток живой жизни, полной неожиданных смещений.

– Криво, косо, зато красиво, – смеясь, объявляет Авигайль, демонстрируя Гедалье творение рук своих, перед тем как нести его в пекарню. – Все-таки, Гедалька, ты неправильно выбирал себе жену. Недаром сказано: «Не следуйте за сердцами вашими и за очами вашими, кои вводят

вас в заблуждение»! А ты сразу же последовал... Вот теперь и имеешь кособокие халы.

– На хлебах сих почиет дух свободы, – нежно шепчет тот на ухо любимой. – Представь себе, ангел мой: завтра мы будем вкушать от них совсем-совсем одни!

– Просто не верится...

– Обещаю тебе!

– Мне уже начинает казаться, – признается Авигайль, – что непременно что-то случится. Представляешь: только ты собрался благословлять вино, как вдруг – стук в дверь. Это Вильденштейны вернулись из Америки, нищие, оборванные, им, конечно, даже заночевать негде. Ничего не поделать: омыли ручки – и к столу. Ты снова за бокал. Снова стук в дверь: Гойзманы еле ноги унесли от разбойников на дороге, и – прямо к нам...

– Нет, нет, нет! Даже не думай ни о чем подобном! – протестует Гедалья. – Пусть только попробуют сунуться!

И вот наступает субботний вечер.

После обычной молитвы в доме учения, Гедалья, напевая ангелам-хранителям призывную песенку, приходит домой. На письменном столе, по субботней традиции превращенном в символическое подобие храмового алтаря, ярким ровным пламенем горит пара стеариновых свечей. Рядом с ними притаились под чистой салфеткой халы. Когда приходит пора произнести над ними благословение, хозяин дома открывает их наготу, и его глазам предстает видение чего-то вполне благонамеренного, пухленького и хорошо пропеченного. Никому бы в голову не пришло заподозрить их в подвохе, предположить, что белоснежная их мякоть под глянцевитой медовой корочкой напитана сверх всякой меры роковым ядом коварных мандрагор. «Макиавеллиевой отравой» – сказал бы, верно, благополучно отсутствующий при этой сцене Карл Шперлинг.

И наша радующаяся свободе счастливая пара, успевшая сильно проголодаться, ничего не подозревая, уписывает эту приятную нёбу благодать с таким упоением, что скоро одна хала уже вовсе исчезает со стола, а Гедалья, не задумываясь о том, что впереди еще весь день субботний,

уже отламывает изрядный кусок от второй. Может даже показаться, что подмешанная в тесто настойка мандрагоры придает этой сдобной плоти особенно сладостный оттенок, привораживающий доверчивых детей Адама и Хавы. Посредственное вино из виноградника реб Мойше Графа загорается в простом стекле глубоким рубиновым светом, пылает, словно багровый корень мандрагоры на знамени реувеновом, тягучий приторный ток его вяжет язык и небо, обжигает гортань. А тускло освещенная комната начинает все сильнее меркнуть и глохнуть, будто медленно и неуклонно уходит под землю. И вот уже Авигайль, глядя на своего возлюбленного, с ужасом замечает, что его душит отвратительное черное чудовище. В ее отчаянно расширенных зрачках отражается маленький бородатый мальчик с невероятно длинным и все продолжающим расти носом, тщетно старающийся вырваться из мощных объятий монстра. В то же время Гедалья, не сводящий взгляда с бесценного друга, внезапно видит, что Авигайль по самую шею погружена в лиловую, непрестанно колышущуюся пену, которая норовит окончательно поглотить ее.

– Держись! Я здесь! – кричит он срывающимся голосом, устремляясь к ней со своего края стола.

– Я спасу тебя, мой мальчик! – задыхаясь, шепчет Авигайль, бросаясь к нему навстречу.

Гедалья, с невероятным трудом преодолевая сопротивление смертоносной лиловой пены, медленно, пядь за пядью, освобождает возлюбленную, вытягивая из хлюпающей трясины на поверхность ее сияющее тело.

Авигайль отчаянно сражается с черным монстром, расшатывая его мертвую хватку резкими решительными движениями ставших немыслимо сильными рук и, в конце концов, умудряется вырвать своего милого из тугих объятий.

Они горячо обнимаются, неописуемый восторг овладевает ими. Злые силы побеждены их беззаветной любовью, и голым поборникам просвещения, переполненным диким, неистовым весельем, хочется нарочно потешными голосами выкрикивать особенно несуразные благословения и бессмысленные проклятия, ложками черпать из книг разва-

ренную мудрость, бить посуду, уподобившись Творцу Вселенной, разлечься на потолке, как у отца в винограднике, выйти из себя, выпасть из этой сморщенной, скукоженной комнаты, вырваться из этого замкнутого и тщательно охраняемого мира. Свет одержимости струятся из их округлившихся совиных глаз.

– Гедалька! Ты тако-ой смешной! У тебя два-а но-оса, и я не пойму, который из них длиннее!

– А ты еще посмейся, чертовка! Не зря тебя из райского сада выгнали! Heer des Himmels wurde eifersüchtig![156] Слишком ярко сияешь!

– Слышишь музыку, Гедалька? Слышишь? Это звезды поют?

– Это звезды поют! Воинство небесное вальсирует... А мы... Мы ведь с тобой так и не танцевали на балу! – Гедалья падает на одно колено и протягивает руку дрожащей от безудержного смеха подруге. – Окажите мне честь, сударыня! Let me engage you to this cotillon![157]

– Да мы ни разу в жизни не тамцовали и никогда не смо-ожем! Нигде и никогда не такцовали, и ничего и ни... Какой ты смешной! Знаешь, почему? – Она хохочет, запрокинув голову.

– Знаю!

– Знаешь, почему?

– Знаю!

– Ничего ты не знаешь! Потому что мы са-авсем не умеем турцовать! И поэтому я опять падаю! – Авигайль в восторге валится, сбивая стоящего на одном колене Гедалью.

Не замечая ушибов и весело хохоча, они катаются по каменному полу.

– Ну ты танцун, Гедалька! На коленках не держишься!

– Это ты не держишься! А я держусь. Смотри: как штык!

– Ага! Можно и мне подержаться, раз ты такой штык? Меня куда-то уносит, уносит...

---

[156] *Heer des Himmels wurde eifersüchtig* – Хозяин небес позавидует (*нем.*).

[157] *Let me engage you to this cotillon* – Позвольте мне вас пригласить на этот котильон (*англ.*).

– Держитесь крепче, сударыня! Я с вами!

– Ничего себе! Да к этому носу можно весь город привязать, чтобы тихим дуновением не снесло!

– Не хочу город! Пусть улетает ко всем чертям! Хочу тебя! Извольте ваше колечко на мой пальчик... Вот ты посвящаешься мне сим кольцом...

– Ты – ужас какой-то, Гедалька! Ты же видишь, что никогда тебе туда не попасть! Ни-каак-да! Все ведь так хороводит...

Весь дом вертится вокруг них в сумасбродном танце. Стол закрутился, словно волчок, стулья подпрыгивают, сталкиваются спинками, перепутываются ножками. Навстречу Гедалье и Авигайли, раскачиваясь, как судно на волнах, плывет из спальни кровать.

– Корабль подан! – в восторге кричит Гедалья, железной рукою останавливая движение судна. –Мы отплываем в Землю Обетованную, туда, где нет ни дураков, ни мерзавцев, ни соглядатаев, ни американцев, ни землекопов, ни прожектеров, ни...

– Вот завелся! А что там есть, Гедалька? Что там есть в этой Зельме Обинтованной?

– Да ничего там нет, кроме нас с тобой! Нет ни-че-го, и не надо!

Он втаскивает Авигайль к себе на палубу, и некоторое время они балансируют вместе, стоя, обнявшись, на мечущейся по бурным волнам кровати. Но Авигайли сразу же делается скучно. Сколько еще времени плыть до этой самой, прости Господи, про́клятой земли! Отталкиваясь от дрожащей палубы, она высоко взлетает над неистово визжащей кроватью. Вот-вот она вырвется за пределы этой смешной вселенной, улетит навсегда, легко переносясь с одних небес на другие. И Гедалья, остро почувствовав, что теряет ее, обреченный томиться в теснине никчемных скорбей, изо всех сил рвется ввысь, следом за нею, взвивается к набрякшему грозовыми тучами потолку. В этом отчаянном броске, где-то между сводом небесным и пупом земли, прежде чем тяжело обрушиться в стонущие недра, он умудряется на лету поймать возлюбленную, чтобы больше уже

никогда не упускать. Теперь они взлетают и падают, взлетают и падают, взлетают и падают вместе, сцепившись руками и выкрикивая на два голоса: «Благословен ты, Господидал и Господивзял!» Вопль стремительно проваливающейся под их ногами земли вдруг делается нестерпимым. Если вырываемые из недр корешки мандрагор могли своими криками свести с ума неосторожного добытчика, то насколько же невыносимее вой самóй разверзающейся бездны! Это, оповещая о конце света, одновременно разрываются несколько кроватных пружин. Гедалья вязнет в орущей хляби обеими ногами. Авигайль всем телом обрушивается на него сверху. Тяжелая кровать уже не скрежещет, не стонет и не вопиет – рушась и обращаясь в хаос, она оглашает пространство громом, затмевающим рев рождения мира. Утоптанные, смятые и прорванные взбесившимися пружинами перина и подушки спасают влюбленных от кровопролития. Те вовсе не чувствуют никакой боли, но лишь чистый, незамутненный никакими соображениями восторг истребления материального мира.

– И небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как упадает лист с лозы виноградной и как увядший лист со смоковницы! – радостно провозглашает Гедалья, путаясь в рваной перине и кое-как выбираясь на волю из хаотических руин того, что еще миг назад надежно хранило домашний очаг и служило твердой основой миропорядка.

– Ты жиб-здороп-цел-небредим, любимый? – спрашивает Авигайль, давясь смехом и не замечая, что по бедру ее стекает струйка крови.

– Я умер и требую награды! – решительно заявляет Гедалья. – Справедливости, сударыня! Ваша преступная страсть доказана! Приговор обжалованию не подлежит. Извольтека сесть на кол!

– И не подумаю! – хохочет Авигайль. – Раздразню и брошу!

– Ну так я проткну вас этой шпагой, привыкшей кидаться в самое пекло! Не смейте защищаться!

– Не поймаешь, не поймаешь! – почти рыдает от хохота Авигайль, носясь по дому.

У стола она спотыкается и падает на субботнюю скатерть, разметав посуду.

– А-а-а! Вот я и попалась на жертвенник! А ты хорош! Совсем не умеешь танцевать, Гедалька! Надо медленно-медленно...

Она тянет скатерть рукою, и субботние свечи падают одна за другой, словно храмовые столпы Боаз и Яхин. Первая, свалившись на пол, тут же гаснет. Вторая рушится на раскрытый молитвенник. Листки его подхватывают мигнувший и пропавший на краткий миг огонек и начинают легко и нежно потрескивать в охватившем их пламени.

Гедалья видит, как из его старого молитвенника вылетает и взвивается к потолку благословение на вино – алое и переливающееся мягкими рубиновыми гранями, а следом за ним устремляются ввысь, нестройно дребезжа высокими голосами, все восемнадцать благословений молитвы «Амида» и медленно плывут, кружа вдоль стен, тяжелые мягкие слова «И Он милосерд, искупит грех и не погубит».

Медленно впитывает огонь белая льняная скатерть, залитая вином. Жертва всесожжения с изумлением шепчет на ухо своему жрецу:

– Мы горим, любимый...

Огонь, повинуясь собственному капризу и легкому дуновению, прилетевшему из иного мира через раскрытое окно, не желает касаться разметавшихся по скатерти волос непринятой жертвы и перекидывается на быстро чернеющую в его жарких объятиях халу. Кривляются взметнувшиеся до самого потолка огромные тени не то потерявших рассудок людей, не то пламенных ангелов, не то оторвавшихся от земли растений.

– Мы горим? – повторяет Авигайль. – Да нет же, нет! Посмотри-ка: это там, у них, в квартале!

За окном, действительно, пылает настоящий пожар.

Настроение Авигайли вдруг меняется. Она делается очень серьезной, вскакивает со стола и начинает распоряжаться:

– Слушай, Гедалька, неси скорее эти панталоны! Надо

их в жертву мирную... Чтобы тук их горел и был угоден Господу. Они там, в комоде! И там же у меня еще осталось чуть-чуть этого розового масла... Давай, выливай все!

– А теперь побежали смотреть! – зовет Гедалья и тянет подругу за собою, вон из загоревшегося дома.

– Танцевать! Танцевать! – в восторге кричит Авигайль.

Взявшись за руки, они выскакивают на двор.

Господи, как полыхает! В огне не только бывший дом Вильденштейнов, в который новая семья должна была въехать после девятого ава, но и гордость всего квартала – дом учения.

Крики, беготня и суета, грозившие посеять хаос во всем квартале, не сбили с толку реб Довида, и сейчас он хладнокровно и уверенно руководит тушением пожара, распоряжаясь действиями десятка молодых людей и отцов семейств, которых построил в две цепи, идущие в двух направлениях от колодца. Они передают ведра из рук в руки, и самые отважные, те, что находятся на переднем крае, плещут в злящееся и свирепо шипящее пламя водою, не давая огню разрастись. Людям все еще не удается подавить пожар, но и пожару не под силу одержать верх над людьми, полностью захватить поле боя и перекинуться на другие дома, чтобы разделаться со всем кварталом.

Трое ешиботников схватили поджигателя. Тот бережно прижимает к тощей груди под пестрым восточным халатом пропахшую керосином бутыль. Он первым обращает внимание на две нагие фигуры, выскочившие из дома напротив.

– Вот они – плоды земли! Мужчина и женщина, сотворенные из земли! – в восторге кричит Альбрехт, даже не пытающийся вырваться из рук вяжущих его веревкой ешиботников. – Мандрагоры выходят из недр своих! Началось! Говорю вам, бессмысленные вы твари: началось! Мир возвращается к истокам! Четыре элемента: огонь, ветер, вода и, наконец, земля – человек-растение, из нее взятый!

Двое, взявшись за руки, носятся по кварталу в неистовой пляске, дразня онемевших от ужаса жителей.

Но молчание длится недолго.

– Держите их! Они с ума сошли! – первый крик вырывается из цепи тушителей.

– Стыд-то какой! – вторит им женское общество, жмущееся у колодца.

– А чего было еще ждать от парочки апикойресов?!

– Вы смóтрите и ничего не видите, слепые кроты! – кричит Альбрехт, переходя от восторга к ярости. – Вы ослепли от земной красы не родившей вас бесплодной праматери вашей! Идите, излечите зрение ваше! Весь мир уже наблюдает в небесах картину великого конца и начала! В Индии и Бразилии мудрые устремили взоры свои к своду небесному, а вы, жестоковыйные, недостойны, недостойны!

Он все рассчитал точно. Именно сегодня, в последнюю субботу перед днем сожжения обоих храмов, огонь, входящий в прямое соприкосновение с тремя другими элементами, должен очистить инертную материю и, химически преобразив ее в подвижный и осмысленный дух, послать в небеса грандиозную проекцию, о которой он, Йехиэль Вайнтрауб, помазанник, сам себя зачавший и сам себя родивший, мечтал не менее страстно, чем Карл Шперлинг о своем спектакле.

– Эй! Почему никто не танцует? – изумляется Авигайль, проносясь рука в руку с мужем мимо потрясенных ешиботников. – Вы, Альбрехт? Почему вы не танцуете? У нас такая радость! Благословен ты, Господи, Бог наш и Бог отцов наших, сотворивший светила и огнила!

Он бы, конечно, немедленно пустился в пляс вместе с ними, но Янкеле Бойм, убежденный, что все происходящее устроено специально, чтобы покарать его, величайшего из грешников, соблазняющегося вслед за глазами своими, вцепился в Альбрехта мертвой хваткой и уткнулся лицом ему в плечо, чтобы, не дай Бог, не видеть этой бессовестно дразнящей его невыносимой демонической красы.

– Не смотреть! Не смотреть! – доносятся крики со всех сторон.

– Что ты уставился на нее, Аврум?! Тоже мне невидаль! Что она, мезуза, которую нужно проверять?! Бесовка! Тьфу, тьфу, тьфу!!!

Конечно, нет ничего удивительного в предосудительном любопытстве некоторых мужей и юношей, зачарованных открывшимся их взорам необычайного зрелища. Видение этого бесстыдного ликования, этой обезумевшей Авигайли, будет сопровождать нехотя потупившего взгляд Аврума до конца его дней, всплывая пред ним то во сне, то наяву, среди бела дня, да еще и в самые неподходящие моменты: во время послеполуденной молитвы или над страницей трактата «Незикин». И это станет причинять ему массу неудобств, совершенно сбивая с толку. Зато в постели со своей дряблой и иссохшей, как прошлогодняя груша, Ентой, по недомыслию пытающейся сейчас заставить его не смотреть – стоит ему закрыть глаза и вызвать в памяти это всегда готовое к услугам видение – и вот он уж полон нежной страсти, как в давние, казавшиеся забытыми, времена, и Ента, не знавшая за своим отяжелевшим и сонным Аврумом такой резвости, будет благодарить Господа, возрождающего силы в мужах.

Совладать со смутой, посеянной в сердцах этим зрелищем, труднее, чем с огнем – ее не залить водой, не забросать землей, не развеять ветром. Так что, дорогие мои читатели, если вы дорожите своим душевным покоем, то лучше не пытайтесь представить себе происходящее. Умерьте ваше воображение, а автор, ради вашего здоровья, не станет изощряться в описаниях, на которых кто-нибудь другой на его месте мог бы сделать себе, пожалуй, весьма блистательную литературную карьеру. Иначе и вам никогда не отделаться от колдовского образа голой разнузданной Авигайли в отблесках ярящегося пламени. Голый Гедалья, возможно, просто показался бы вам смешон со своим особенно длинным в отсутствие одежды носом и с бесстыдно торчащим членом, всегда придающим обличию голого мужчины характер фарса и карикатуры. (Впрочем, голый мужчина с безжизненно висящим членом едва ли менее комичен, не говоря уже о мужчине одетом или раздетом наполовину. Да и особенно старательно одетый по всем правилам – хасидским ли, или по парижской или венской моде, или по-турецки – всегда представляется смешным и автору

этой повести, и самому Гедалье Бухбиндеру. Эх, видел бы он себя в этот момент!..)

Все происходит так быстро, что внезапно этот бег словно бы прекращается вовсе, все теряет подвижность и перемещающиеся в пространстве тела как будто зависают во времени. Можно подумать, что перед нами редкостный фотографический снимок. А во всяком фотографическом снимке всегда подспудно присутствует нечто выходящее за пределы человеческого. Даже если химики научатся передавать на фотопластинке «естественные цвета», даже если каким-то непонятным нам сегодня образом ученым людям удастся зафиксировать на ней трехмерное пространство, а то и сохранить движение, и тогда ощущение некой «потусторонней» жизни, имеющей к нашей человеческой жизни с ее привычным нам ходом весьма косвенное отношение, останется прежним. Вот и сейчас все «происходит» и «не происходит» практически «одновременно», то есть, «безвременно», и только вовсе бесчувственный наблюдатель не ощутит в захватившем всех видении чего-то нечеловеческого, застывшего на грани иного существования или впечатавшегося в самую толщу стеклянной пластинки, разделяющей миры.

А коли так, то вовсе ли неправ все рассчитавший Альбрехт? Ведь весь этот аппаратус, собравший в фокус лучи самых невероятных обстоятельств, должен был спроектировать, установить и завести некто больший, чем низвергнутый из Рая Карл Шперлинг. А кто научил ни разу в жизни не танцевавших даже вальса или польки Авигайль и Гедалью этому яростному и точному ритму без метра, способному на краткий и беспредельный миг выбросить тело за границы, очерченные послушной земным законам душою? Этого нам знать не дано.

Все так заняты усердным тушением пожара в двух горящих домах и так потрясены нарушающим все человеческие и Божеские законы поведением безумной парочки, что долго не замечают огня, набирающего силу в доме Бухбиндеров. А тем временем жертвенный огонь, разделавшись с книгами и бумагами, уже пожирает сам жертвенник, пере-

бравшись с украшенной по-субботнему столешницы в ящики.

Первым сгорает дотла томик Никколо Макиавелли вместе с корчащимися между его страниц алыми фантомами людей-драконов и подложенными под него листами с неоконченным переводом безнравственной комедии. Плавится солидная обложка Petit larousse illustré издания 1873 года. Словарь Webster корчится в огне, вместе с искрами рассыпая вокруг себя крылатые слова и устойчивые словосочетания. Бювар с газетными вырезками, которые Авигайль старательно собирала в течение восьми лет, обращается в кипу легко шуршащей на ветру мягкой серебристой золы. Если хорошенько прислушаться, можно уловить отдельные шелестящие фразы, которые успевают тихо пропеть фельетоны и корреспонденции, прежде чем навсегда удалиться в мир бесплотных теней:

...школес, школес! Горе нам, школес устроят в городе! – кричали все те, у кого нет детей, и разжигали огонь религиозной ревности...

...не понимают они того вреда, коий приносят зловонные испарения от нечистот, скопившихся в их дворах и домах! Ведь жертв дурного воздуха более, нежели жертв голода. Мы едим и пьем три или пять раз в день, а воздух вдыхаем ежеминутно, каждую минуту – от 12 до 25 раз...

...всяк желающий глубоко изучать науку музыки – да прилепится к нам, и мы совместно, в мире и согласии, трудом и старанием достигнем цели своей; каждый станет радеть за ближнего своего, и каждый брату своему скажет «так держать»; и пришли к ним всяк прокаженный и гонорейный , как большой, так и малый, равно старик и отрок, и создали новое общество, и нарекли ему имя «Бах»...

...и сделал он изображения рук на всех косяках при дверях и окнах в доме своем против дурного глаза, и для вящей надежности взял также связки лука и чеснока и повесил на спинке кровати, в коей спали роженица с младенцем, а также осколки стекла и форму ладони пятернею из теста печеного, и связку фиг...

...кто бы надоумил и обратил внимание городских властей на сооружение на каждом углу дристалища для земледельцев, приезжающих в город, ибо сии, от мужа до жены, приневоленные справлять нужды свои в отсутствие специально предназначенных для того мест, присаживаются во всяком попавшемся им углу и в ус не дуют...

...при сем видении дивном дух весьма возвышенный сотрясет струны души нашей, и сухие кости наши наполнятся радостью, забудем мы весь мир, и воцарится в сердце нашем не горькая жизнь наша, но ликование и милость, и величие духа...

Прощайте, «Лилия», «Олень», «Проповедник», «Кармель», «Иудея и Иерусалим», «Ариэль», «Сирена» и «Врата Сионские»! За этим концом света явится новая жизнь с ее новыми новостями, сплетнями и непримиримой войною идей.

Наконец Авигайль и Гедалью умудряются схватить. Но расцепить крепко обнявшихся любовников никому не удается. Их заворачивают вместе в большое покрывало, вынесенное щедрой госпожой Бубис, то самое, которое украшено чудной картиной, вышитой в незапамятные времена еще ее бабушкой. Если хорошенько приглядеться, то при свете отчаянно сражающихся с водою языков пламени на темном фоне можно различить тонконогую фигуру оленя, возвышающегося над покрытым цветами холмом и широко раскинувшего красные ветвящиеся рога. В перевернутом виде, в том обличье, в котором они предстают перед толпой, извивы эти представляются, однако, вовсе не рогами оленя, но зарослями корней, над которыми восходят на тонких стеблях купы зелени, усеянной лилово-желтыми цветами и огненно-рыжими ягодами.

– Вот они, мандрагоры! – в восторге кричит Альбрехт, указывая обеими связанными руками на закатанное в драгоценное покрывало Бубисов существо о четырех ногах и двух слившихся губами головах. – Началось! Началось! Началось! Чудеса и дива бессчетные! Благословен ты, Господи, избавляющий Израиль!

Эпилог

Если Помазанник и держал путь к вратам Милосердия, то не дошел до них. Впрочем, выйдя из Мазкерес Мойше, двигался он отнюдь не на юго-восток, в сторону городских стен, но на северо-запад, в квартал Бейс Яаков, где и был грубо остановлен и связан по рукам и ногам. К тому же, все как один в Иерусалиме убеждены, что Йехиэль Вайнтрауб, прозванный Альбрехтом – такой же самозванец, как и многие другие «помазанники», приходившие прежде него. А за поджог квартала был он единодушно признан опасным душевнобольным и приговорен к принудительному лечению, на сей раз – в больнице Ротшильда, у доктора Шульца. Лечение это состояло, главным образом, в изможднении болящего клистирами. После того, втайне от раввинов и докторов, соседи из сефардского квартала Оэль Моше подвергли его запрещенному еще до Крымской войны обряду «индулько». Альбрехт был оставлен на двое суток в тщательно выметенной и вымытой пустой комнате, без мезузы. Искушенная во всех тонкостях языческого ритуала старуха читала над ним заклинания, жгла свечи и задабривала бесов, возливая на пол воду то с сахаром, то с солью. Пользу это принесло ничуть не меньшую, чем средневековые клистиры доктора Шульца и современная франклинизация доктора Файна, так что к концу лета молодой человек, которого теперь сочли безобидным, был оставлен в полном покое. К новолетию он получил в австрийском почтовом отделении посылку от родителей из Мюнхена, а в ней – шерстяные носки и новые штиблеты, которые, впрочем, не надевались на его распухшие и загрубевшие от хождения босиком ноги.

16 ава в Лондоне скончался сэр Мозес Монтефиоре, которого оплакивали сыны Израиля во всех общинах рассеяния, но горше всего – в Емин Моше, Оэль Моше, Мазкерес Мойше и других кварталах нового Иерусалима, неуклонно продолжающих строиться, невзирая на многочисленные

трудности. Не составил исключения и пострадавший от пожара Бейс Яаков. Конечно же, и обе славные газеты наши, постоянно держащие руки на пульсе истории и чутко прислушивающиеся к веянию мирового духа, не прошли мимо такого печального события и высказали по поводу кончины великого человека немало прочувствованных слов и верных соображений. Но даже и в дни траура по благодетелю господа Фрумкин и Гиршензон не могли заполнить свои издания одними лишь траурными речами. В том же выпуске «Лилии», в котором господин Яаков Гольдман пел скорбную песнь дарителю печатного станка, некто Ашер Фейглин уведомлял из северных пределов Земли Израиля:

Вот что произошло в колонии Рош Пина: у некой женщины были очень тяжелые роды. И послали за доктором в Цфат, но прежде, чем прибыл доктор, решили связаться «по телеграфу» со Всевышним, дабы услышал Он вопли непосредственно из уст болящей, без всяких преград, дабы голос ее поднялся бы прямиком на небеса – вдруг Господь смилостивится, и женщина родит без вмешательства врача. И вот одна старушка исхитрилась привязать веревку к свитку Торы в синагоге, а другой ея конец вывела через окно, а там присоединила к ней еще одну длинную веревку и провела в дом роженицы, к самой ея постели, и вставила в уста ея, и сказала ей: «Кричи, дочь моя, изо всех сил! Услышит Господь вопль души твоей, и тут же родишь!» И Царь Небесный воистину услышал вопль несчастной, и послал посланца своего, д-ра Вайсбурда, и тот извлек младенца сечениями многими.

А в «Олене», сразу же за статьей господина Бен-Йегуды, отдающей должное великому вкладу покойного в развитие современной «продуктивной» жизни евреев Иерусалима, следовало такое вот сообщение из Яффы:

Всю последнюю неделю только и было разговоров, что о великом происшествии, случившемся в доме весьма почтенного земляка нашего, торгующего саванами для покойников.

Речь идет о тяжком вздохе и крике «ой», каковые издали вареные части рыбы, фаршированной в честь святой субботы, донесшиеся из овального блюда на столе. Домочадцы перепугались и поспешили донести о случившемся членам высшего раввинского суда. А суд наш поднаторел в столь невероятных явлениях, ибо подобное этому происшествие уже случалось два года назад. Посему куски рыбы обернули в подлинный белый саван и захоронили на кладбище с почетом и со священным трепетом.

Мистер Клиффорд Годсон, адвокат и успешный коммерсант из города Ковингтона, штат Кетукки, потратил на поиски мандрагор в Италии несколько месяцев, вступил в сложную и запутанную тяжбу с одним пьемонтским землевладельцем, почти отчаялся, но, потеряв уже надежду, неожиданно обнаружил чудо-корешки в Америке, да не просто в Америке, а прямо в собственном богохранимом штате. Хотя «американская мандрагора», она же «майское яблоко» или «утиная лапка», называемая учеными людьми щитовидным подофиллом (Podophýllum peltátum), не имеет ничего общего с Mandragora officinarum, ее превозносимых индейцами лекарственных свойств оказалось достаточно, чтобы порошок из сушеного корня «Godson's Mandrake»[158] вскоре разошелся по всем восточным и центральным штатам.

Его живущая отдельно супруга, Офелия Грэйс Патриша Годсон, так и не завершила романа о царе Соломоне и царице Савской. Справедливости ради надо сказать, что на этом пути она не продвинулась и до середины, целиком захваченная работой над поваренной книгой «The Taste of the Old Testament», которая увидела свет в феврале 1886 года и принесла ей более славы и дохода, чем все прежние романы и путевые записки вместе взятые.

Имя Дэборы Уайлденстайн, напечатанное на титульном листе книги крупными узорчатыми буквами гарнитуры Cla-

[158] *Godson's Mandrake* – Мандрагора Годсона (*англ.*).

rendon Ornamented сразу же вслед за именем известной писательницы и лишь чуть меньшим кеглем, также не осталось незамеченным. Теперь молодая мать румяных близнецов, приятно отягощенная множеством заказов и носимым под сердцем новым плодом супружеской любви, посланным ей Пресвятым, благословен Он, обдумывает необходимость нанять еще двух помощниц на кухню вдобавок к той, что у нее уже имеется. И, вообразите: с молчаливого одобрения своего мужа Реувена, она теперь носит шляпки – не одну, а целых три: будничную и две субботние.

Хая Малка Вильденштейн снискала поистине мировую славу, хоть и весьма сомнительного свойства, удостоившись фельетона в одесской газете «А-мелиц»:

Сообщение из Иерусалима. Не так давно нашел здесь некий еврей, муж ученый в Торе, схороненные в земле корешки, и объявил повсюду, что сии – не что иное, как библейские «дудаим» – верное средство для исполнения заповеди «плодитесь и размножайтесь», бесценное для исправления любых изъянов в бессильных мужьях и бесплодных женах, ибо строение и вид их подобны образу человеческому, мужчине и женщине.

И толпа трепетала пред тем чудодейственным средством и верила в оное, и человек тот продавал средство сие многим, и платили ему золотом по весу корешков. И многие покупали у него от корешков тех, дабы послать любимым своим за границей.

И вот, совсем недавно, появилась в Святом граде жена хитрая и лукавая, задумавшая перебежать дорогу тому знатоку святой Торы и науки обо всем растущем из земли, именуемой «ботаника». Стала она распространять слухи, будто у нее тоже имеются на продажу те чудодейственные корешки, да только едва не втрое дешевле. И нашлись легковерные, поспешившие купить у нее «проверенное средство». Да только всякому, у кого глаза в голове его и нос, дабы обонять, может сразу же заметить, что не «дудаим» праматери нашей Леи у нее на продажу, и не «запах дудаим» из «Песни песней», но корень луковый. И хитрый трюк ее, сделавшей из кор-

ней луковых образы, подобные мужу и жене, скоро был разоблачен.

Рашель Гойзман благополучно разродилась мальчиком, которому для полного сходства с Арье Лейбом не хватало только черных усов. При вступлении в Завет наречено ему было имя Йосеф. Нужно ли добавлять, что младенец Жозеф сразу же стал любимцем и гордостью всей колонии Петах-Тиква.

Молодой педагог Йоэль Рубин после праздника Суккот решился на отчаянный шаг: он сделал барышне Кондессе Наси предложение руки и сердца, на которое та ответила согласием. Господин Нисим, видя свет радости в глазах обоих, не поскупился на братнее благословение, и вскоре была сыграна свадьба, о которой оповещал «Олень» в только что открытом новом разделе «светской хроники»:

Последним событием в нашем городе была свадьба благородной Кондессы Наси с учителем г-ном Йоэлем Рубиным. И до сего дня только о том и разговаривают. Несмотря на скверную погоду, все пришли на хупу и многие – на праздничную трапезу и на танцы. И поверьте, не было недостатка в прекрасных дамах и в изысканных нарядах! Невеста была весьма мила в белом шелковом платье и с черными локонами своими и, в полном смысле слова, царила над всеми на сем дивном балу. Вечер прошел с приятностию, до восхода танцевали самые новейшие танцы: «Четыре шага», «Испанские шаги» и тому подобные, и ощущался только один недостаток: недостаток барышень против большого числа молодых кавалеров.

Старшая сестра счастливой невесты, госпожа Фортуна, все еще не замужем и продолжает отдавать все свои силы школьному образованию. Не так давно она осуществила в своей школе необычайно смелый прожект, едва ли не граничащий с театральной постановкой. Воспитанницы среднего и старшего отделения продекламировали перед пуб-

ликой разученные ими в течение года диалоги из «Книги мудрости» рабби Йегуды Альхаризи.

Ничто не изменилось в жизни Янкеле Бойма и Биньюмена Дрейера, продолжающих делить на двоих общую комнату и вдумчиво изучать Гемарру под руководством рабби Шлойме Шварца, да светит свеча его.

Миссис Файн, продвинутый возраст которой, казалось бы, позволял ей быть совершенно застрахованной от тревог юности, неожиданно обнаружила себя в самом курьезном положении. По несравненной своей моральной чистоте, особенно изумительной в матери двух взрослых детей, она еще долго не имела бы никакого понятия об этом положении, когда бы с изумлением не сообщил ей о нем ученый супруг ее, доктор Джеймс Файн. По воле всемогущего Бога и вследствие некой аварии, случившейся с казавшимся таким надежным изделием фирмы E. Lambert and Son of Dalston, произошло нечто подобное чуду.

В начале осени солдаты, преследовавшие возле Моцы шайку бедуинов-разбойников, застрелили их вожака, который, сорвавшись со скалы в ущелье, предстал пред всеми изуродованным до неузнаваемости. Тем не менее, исходя из ряда деталей и, в первую очередь, щуплого и приземистого телосложения, светлых волос и наличия на обезображенном лице убитого черной маскировочной повязки, тело сочли принадлежащим дезертировавшему из армии «мустахафизу» Шаулю Альтшулеру. Впрочем, в этом вопросе все же остаются неясности. Ибо, если убитый разбойник, в самом деле, Шауль Альтшулер, то кто же тогда стал год спустя публиковать на жаргоне в выходящем в Варшаве альманахе «Семейный друг» увлекательные «Записки бедуина-бандита», подписанные инициалами ББ?

Памятная читателям ослица Фрау Билам, за всю свою жизнь не бравшая в рот мандрагор – ни ягод их, ни корней, ни стеблей, ни листьев – успешно разродилась здоровым младенцем мужеского пола. Об этом событии «Лилия» сообщала такими словами:

В сии дни один из братьев наших в Святом Граде, да бу-

дет он отстроен и возрожден, удостоился в радости отпраздновать праздник, редкий среди евреев. Одна из редчайших заповедей – заповедь выкупа первенца ослицы. Мало среди наших братьев в Сионе таких, что владеют ослом, купленным за серебро. А если кто купит себе осла, то купит его в то время, когда тот станет пригоден для путешествия. Но только тот, кто исключительно ради исполнения заповеди купит себе ослицу, точно зная, что чрево ея еще не отверзалось, и станет растить, покуда не разродится, и родит она самца – только тот человек отпразднует праздник выкупа, в радости и ликовании и с великим собранием народа. И вот в день первый сей недели, один из братьев наших (из общины марокканской) отпраздновал сие. С утра стали люди собираться у врат дома его, и до полудня собралась большая толпа мужей, жен и детей. Осла-первенца нарядили в золото и жемчуга и принесли его к коэну. Хозяин же, одетый в праздничные одежды, выкупил его у коэна малым козленком и произнес благословения. И весь народ ответил «амен» гласом великим. Были розданы сласти и вино.

Гедалья Бухбиндер и его жена Авигайль, проведшие субботнюю ночь связанными на постели реб Довида, уже на следующее утро вели себя совершенно нормально, здраво рассуждая и прося прощения у хозяина дома и всех соседей за причиненное беспокойство. Они вскоре вернулись в свой заново отштукатуренный дом, испорченные пружины их супружеской кровати были выправлены, а не прошло и трех месяцев, как был приобретен и новый письменный стол. Деревянный Кашпарек, чудесным образом совершенно не пострадавший от огня, и сегодня восседает у двери, на верхушке вешалки для верхней одежды.

Установить причину внезапного помешательства супру-0гов было совсем не трудно. Принимая во внимание всю серьезность произошедших за этот год событий, связанных с мандрагорами, отцы города сочли совершенно недостаточным добровольный отказ реб Довида Фридляндера от сбора вредоносного растения и торговли приготовлен-

ных из его корней препаратов, и единодушно постановили принять самые решительные меры.

Виноградника реб Мойше Графа уже не существует. Сперва решено было тщательнейшим образом выполоть все мандрагоры, чтобы искоренить саму память об этом зловредном сорном растении. Но коварные альрауны оказались такими упорными и неуловимыми, словно бегали под землей, спасаясь от лопат и заступов, и война заняла не год и не два. Разделаются с ними в одном месте, а гадкие кривоногие корешки обнаружатся в другом – и снова выпустят наружу ростки. Весь виноградник оказался настолько заражен этой нечистью, что пришлось реб Мойше уничтожить вместе с мандрагорами и всю лозу, перевернуть, перепотрошить всю землю. Слава Богу, хоть йемениты и обходились в этих боевых действиях без помощи ослов, собак и петухов, никто из работников не умер и не заболел, разве что некоторые слегка побредили о чем-то недоступном нашему рациональному разумению – денек-другой, не более того. Потом был вызван реб Довид Фридляндер с его известью, чтобы обработать ею землю. Начал реб Довид с тяжелым сердцем, да не пройдя и десятой доли участка, разрыдался, как малое дитя, попросил прощения у хозяина и прекратил это дело. А реб Мойше собрал специальный миньян из людей ученых и праведных, молившийся на месте ежеутренне в течение шести дней, и враг, наконец, сдался. Теперь там почти ничего не растет, разве что какой-то особенно неприхотливый род малых наших колючек.

Нет больше виноградника реб Мойше Графа, хоть это место по-прежнему называется Виноградником. Но и нового квартала там отчего-то до сих пор не строят. Уже и для йеменитов построили и разыграли дома поблизости от Мазкерес Мойше и Мишкенойс Исроэль, да еще целое поселение на Кедроне, возле Силуана, вблизи стен. А «Виноградник» реб Мойше Графа так и стоит бесплодным и пустым пустырем, да простит нас Гедалья Бухбиндер за нарочитую тавтологию стиля.

Турецкий дорожный патруль, как-то в зимние сумерки, перед самым наступлением ночи, проезжавший верхами по Яффской дороге, услышал доносившееся из «Виноградника» громкое и немузыкальное пение. Командир велел свернуть с дороги и проверить, в чем дело.

Одинокая фигура, облаченная в пестрый восточный халат, в шерстяных носках, но без сапог, скакала по пустырю, вовсе не в тон выкрикивая глупейшие слова немецкого колониального марша:

– Nach Afrika, nach Kamerun, nach Ki-Ka-Kamerun![159]

Читатель, конечно, сразу же узнал в этой экстравагантной фигуре несчастного Альбрехта, но для турецкого конного патруля личность скачущего оставалась абсолютной загадкой. Лошади испугались. Командир, однако, не смутился и, угадав по сочетанию звуков немецкий язык, велел не стрелять.

Альбрехт остановил свои прыжки и, задрав голову, взирал на всадников. Они виделись ему огромными сибирскими гренадерами-мародерами русской армии, сделавшимися партизанами, в повальном отступлении от принципов критического реализма и беспорядочном бегстве от исторической ответственности. Их занесенные снегом меховые ушанки и оледеневшие шинели напомнили ему о чем-то, виденном не то во снах, не то в видениях конца времен. Драгуны то были или уланы, оседлавшие ко всему привыкших карусельных лошадок? Этого он не мог решить. Но, поскольку император находился в плену, а перевал Смерти был успешно форсирован при помощи железнодорожного состава о паровозе и двух вагонах, Альбрехт радостно улыбнулся и отдал честь батальонному командиру.

Тот же, громким голосом, по-турецки и по-арабски, твердо приказал помешанному взять себя в руки и немедленно идти спать, покуда не закрылись ворота сиротского приюта Шнеллера, и даже пригрозил ему нагайкой...

---

[159] *Nach Afrika, nach Kamerun, nach Ki-ka-kamerun!* – В Африку, в Камерун, в Ки-ка-камерун! (*нем.*).

Заключительное обращение автора к читателям и его благодарности

Высокочтимые дамы и господа, дорогие друзья мои, долготерпеливые мои читатели, гордые потомки Авраама, Ицхака и Яакова, просвещенные сыны и дщери Ноя,

вот и все, что скромный автор этой книги хотел рассказать вам о необычных происшествиях, случившихся в Иерусалиме и за его пределами вокруг лет 5644-5645, по европейскому исчислению 1884-1885.

Рукопись, над которой он работал более двух лет, теперь завершена. Чем более свыкается он с мыслью о том, что написал еще одну книгу, тем больше видит всю суету того занятия, о котором предупреждал нас мудрейший из царей Израилевых. Но жечь рукопись он не станет, ибо – и это суета. К тому же, мысль о сожжении книги, даже и собственного сочинения, то бишь, самой легкомысленной, содержания совершенно никчемного, не способной ничему дельному научить ищущих истину за лесом письменных знаков и утешить ищущих утешения в нашем жестоком мире, вызывает у него неприятное чувство. Вместо этого, пустит он ее, как хлеб, по водам, в надежде по прошествии многих дней выловить из тех же вод уже нечто иное, и пусть те, кому не лень наклониться и не жаль замочить ноги, отщипывают от нее приглянувшиеся им крохи. «В одну реку нельзя войти дважды»,– сказал греческий мудрец Гераклит. Ваш же автор говорит вам: в одну книгу можно войти многократно и с самых разных сторон. Можно безболезненно войти и выйти почти неповрежденным, прихватив на память фразу-другую и воспоминание о каком-нибудь особенном пейзаже, необычной физиономии или неповторимом состоянии духа.

В начале пути все виделось автору иным: он намеревался написать правдивую книгу о необычных жителях города Иерусалима и об их удивительных прожектах спасения человечества, достоверную летопись, сочинение исто-

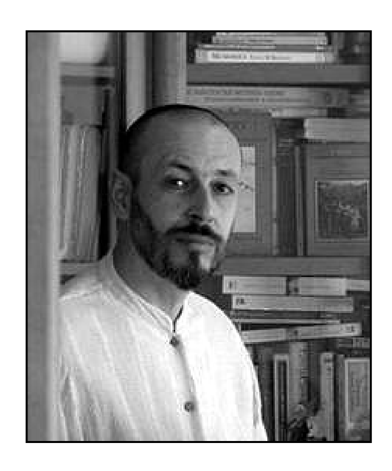
рическое, прямо документальное, снабженное, к тому же, бесценными объективными свидетельствами наших газет и иными архивными материалами. Но получилось нечто совсем другое – какое-то сочинение наподобие русского или европейского романа о любви. Очень, очень обидно...

Впрочем, весьма распространено мнение, что именно о любви, хоть ничего нового о ней давно уже не говорилось, читатель готов читать снова и снова, переживая за героев так, словно бы они были живые люди, а то и вовсе уподобляя себя одному из них или даже всем по очереди. К тому же, за время работы над этой рукописью, автор, признаться, прикипел душою ко всем действующим лицам, да заодно – и к коварным растениям, не дававшим столь многим покоя.

Так что он не станет крушиться ни о потраченном времени, ни о том, что замысел и результат, как всегда, оказались столь далеки один от другого, и, вместо напрасных сожалений, выразит искреннюю благодарность всем своим персонажам за их выдающиеся поступки, мысли и речения, иногда носившие вовсе непредсказуемый характер и часто не укладывавшиеся в привычные рамки. Без них он не сделал бы даже того немногого, что сумел сделать.

Особую благодарность автор хотел бы выразить очаровательной госпоже Авигайли Бухбиндер, чьи неординарные идеи не перестанут воодушевлять его еще долгие годы после того, как он навсегда расстанется с прочими своими героями. Также не изгладятся из его памяти и фотографические снимки, сделанные ею в воображении. Он от всего сердца желает ей в скорейшем будущем стать счастливой обладательницей настоящего фотографического аппарата, чтобы весь мир смог убедиться в том, что покойная миссис Джулия Маргарет Камерон – отнюдь не единственная дама, способная с ним обращаться. Более того, автор пребывает в глубочайшем убеждении, что, возьмись она за перо – и ему самому, и всем прочим нашим борзописцам нашлось бы чему у нее поучиться. Вероятно, так она и поступит в будущем, и все мы еще увидим ее имя в печати.

Об авторе



Некод Зингер родился в 1960 г. Новосибирске. Жил в Ленинграде и в Риге. Учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Последовательно служил юннатом зоопарка, художником театра, мусоропроводчиком и латышским народным умельцем. С 1988 г. живет в Иерусалиме. Кроме литературы, профессионально занимается визуальным искусством. Пишет на русском языке и иврите. Автор романа *Билеты в кассе* (М., 2006), ивр. *Kartisim be-kupa* (Tel-Aviv, 2016), книги *Черновики Иерусалима* (М., 2013), а также многочисленных эссе. Переводчик литературы с иврита – Давид Шахар, *Путешествие в Ур Халдейский* и *Лето на улице Пророков* (М., 2002 и 2004), Давид Гроссман, *С кем бы побегать* (М., 2011) и английского (лауреат премии Норы Галь за перевод книги Дэнниса Силка *Костиган*). Соредактор двуязычного литературного журнала «Двоеточие» (с Гали-Даной Зингер).

https://dvoetochie.wordpress.com/
https://nekudataim.wordpress.com/
http://nekodasinger.blogspot.co.il/